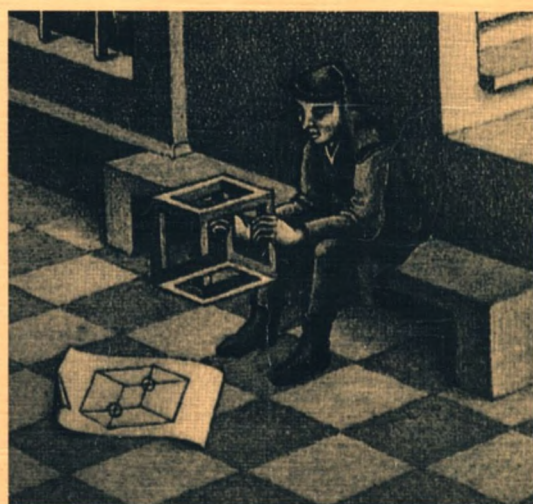


ВРЕМЯ ИСКАТЬ עת לְבַקֵּשׁ



№ 10
2004

ВРЕМЯ ИСКАТЬ

10

עת לְבַקֵּשׁ

2004



ВРЕМЯ ИСКАТЬ №10 עת לבקש

ОКТАБРЬ 2004 ■ ЖУРНАЛ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ■ ИЕРУСАЛИМ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

д-р Марк Амусин

РЕДАКТОР

Абрам Торпусман

РЕДКОЛЛЕГИЯ

д-р Наталья Дараган

проф. Шмуэль Зильберг

д-р Нафтали Прат

д-р Андрей Сигалов

проф. Йонатан Френкель

СОВЕТ ДРУЗЕЙ ЖУРНАЛА

Александр Мелихов,
писатель (Россия)

Амос Оз,
писатель (Израиль)

д-р Леонид Стонов,
социолог (США)

проф. Михаил Членов,
этнолог, президент
российского ВААДа
(Россия)

EDITOR-IN-CHIEF

Dr. Marc Amusin

EDITOR

Abraham Torpusman

EDITORIAL BOARD

Dr. Natalya Daragan

Prof. Jonathan Frenkel

Dr. Naftali Prat

Dr. Andrey Sigalov

Prof. Shmuel Zilberg

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗРАИЛЬ И ЕВРОПА

Мики Эрлих. НОВАЯ СВЕТСКАЯ РЕЛИГИЯ 5

СТРОИМ ГИПОТЕЗЫ

Феликс Фильцер. О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЕВРЕЙСКОГО ОБЫЧАЯ
РАЗДЕЛЕНИЯ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПИЩИ 12

К МИРУ БЕЗ НАСИЛИЯ

Велимир Петрицкий. НРАВСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ИМПЕРАТИВ АЛЬБЕРТА ШВЕЙЦЕРА 24

Элла Сливкина, Леонид Юниверг. АННА ВИЛЬДИКАН —
СПОДВИЖНИЦА АЛЬБЕРТА ШВЕЙУЕРА 29

В ФОКУСЕ

Александр Яacobсон, Амнон Рубинштейн. "ИЛИ ЕВРЕЙСКОЕ,
ИЛИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ"? 41

Михаил Ривкин. "Я ОБЫЧНО ИДУ ПО ЛИНИИ
НАИБОЛЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ" 52

Ольга Ривкина. ПУТИ НЕИСПОВЕДИМЫЕ 62

ПОЛИТИКА / ПОЛЕМИКА

Александр Этерман. СЕКТОР НА БЕРЕГУ МОРЯ 69

Эфраим Лави. ДОРОЖНАЯ КАРТА: ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
ВМЕСТО ПРОТИВОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
НАРРАТИВОВ 80

FRIENDS OF THE JOURNAL

Alexander Melikhov,
writer (Russia)

Amos Oz,
writer (Israel)

Dr. Leonid Stonov,
sociologist (USA)

Prof. Michael Chlenov
Social anthropologist,
President of VAAD (Russia)

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН

Андрей Резницкий

АКТУАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ

Анатолий Кардаш (Аб Мише). ПСИХБОЛЬНИЦА 88

ВЕСТИ ИЗ РОССИИ

Самуил Лурье. ГЛЯДЯ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 111

HUMANITARIA

Марк Амусин. ФЕЙХТВАНГЕР В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 128

**Наталья Дараган. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ СЕРГЕЯ
СЕРГЕЕВИЧА АВЕРИНЦЕВА 143**

ВСЕ ПРОЧЕЕ — ЛИТЕРАТУРА

Денис Соболев. ДЕРЕВО И ПАЛЕСТИНА 151

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Григорий Хатин. СОКРЫТЫЙ СВЕТ 187

Издание осуществляется при поддержке израильского
Министерства культуры, науки и спорта

На первой странице обложки: фрагмент литографии М. Эшера "Бельведер".

На последней странице обложки: Якопо дела Кверча. Грехопадение. (Рельеф. Болонья, XV в.)

Издание культурно-просветительного общества "Теэна"
ул. Кинг Джордж, 6. Иерусалим 94229. Тел.: 02-6249658; факс: 02-6244667
E-mail: club_teena@hotmail.com

Moadon Teena, 6, King George Str. Jerusalem 94229.
Tel.: 02-6249658; fax: 02-6244667

При содействии ассоциации "Мосты Культуры" (Москва, тел. 284-37-51)

Электронный вывод и печать в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6. Заказ № 10865

© 2004 Moadon Teena

ISSN 1565-0081



Computer design and composing by "Alphabet" Publishers
Einayim la Mishpat str., 28. Jerusalem 94313.
Tel./Fax 972-2-6242949. E-mail: andrezn@netvision.net.il

OCR Давид Титиевский, май 2019 г., Хайфа



Мики Эрлих — преподаватель кафедры истории Израиля в университете Бар-Илан. В прошлом занимал должность председателя организации "Эмнести Исраэль".

Мики Эрлих

НОВАЯ СВЕТСКАЯ РЕЛИГИЯ*

Как известно, когда в октябре 1956 года Израиль начал Синайскую кампанию против Египта, его поддерживали Франция и Англия. Спустя 17 лет, после Войны Судного дня, арабские страны объявили нефтяной бойкот Голландии за связи с Израилем. Голландцы стиснули зубы, начали ездить на велосипедах, но не сдались. Это два примера из многих, напоминающих о периоде наибольшего сближения между Израилем и Европой. Сегодня о нем можно вспоминать с ностальгией. Что же произошло в отношениях Израйля с Европой, которые с годами претерпели немало изменений, и в основном к худшему? Может быть, так было суждено и предначертано свыше? Или же это наглядный пример того, к чему приводит безразличие государства в сфере взаимоотношений со странами, имеющими для него первостепенное значение?

В первые годы после создания государства Израиль тень Катастрофы, нависавшая над Европой, была еще густой и ощутимой. Многие из тех, кто во время войны был частью нацистской военной машины, и тех, которые не участвовали, все видели и в лучшем случае молчали, — стали занимать видные посты в обновленной Европе. Но они, так же, как и активисты антифашистского подполья и сопротивления, воздерживались от критики Израйля, создание которого воспринималось среди прочего как исправление зла, причиненного еврейскому народу.

Юное государство Израиль пользовалось этим положением вещей и имело хорошие отношения с Англией и Францией, у которых в конце 50-х и начале 60-х

* Статья опубликована на иврите в журнале 2003 ספטמבר-אוקטובר "ארץ אחרת"

годов покупало оружие. В другой плоскости ему были полезны отношения с Германией. К этому прибавилось резкое изменение представления о евреях: израильтяне, разгромившие арабские армии, которые пытались уничтожить их новообретенную древнюю родину, резко отличались от тех евреев, которых мир знал прежде. В скандинавских странах и Нидерландах отношение к Израилю было самым положительным. А южноевропейские страны, относившиеся к нему отрицательно — Испания, Португалия, Греция, — играли тогда на европейской сцене второстепенную роль. Италия же, в то время самая заметная из стран Южной Европы, относилась к Израилю хоть и сдержанно, но все же лучше, чем три названные страны.

Неблагоприятная тенденция

Изменения в отношениях между Европой и Израилем стали следствием нескольких процессов, развивавшихся параллельно. Хотя Вторая мировая война окончилась победой союзников, цена победы была нестерпимо высокой для многих европейских стран. Потери были тяжелейшими, в том числе и в странах-победительницах. Общественному мнению была отвратительна мысль о том, чтобы приносить новые жертвы ради удержания позиций в местах с труднопроизносимыми названиями, куда очень редко ступает нога англичанина или француза. К тому же экономика европейских стран была очень расшатана войной, и они не выдерживали экономического бремени содержания заморских колоний, предпочитая тратить ресурсы на собственное восстановление, а не вкладывать их в содержание колониальной армии и бюрократии. В результате в течение нескольких послевоенных лет карта мира кардинально изменилась.

Колониальные державы, в первую очередь Англия и Франция, потеряли значительную часть колоний, которые на протяжении поколений принадлежали им. В течение 15 лет получили независимость Индия, Пакистан, страны Юго-Восточной Азии и многие страны Африки. Это оказало влияние на многие международные институты, такие, как ООН. Например, когда в ноябре 1947 года голосование в ООН решилось в пользу провозглашения двух государств на территории подмандатной Палестины, членами ООН на тот момент было меньше 50 государств, из них лишь четыре африканских, и среди этих четырех было только одно мусульманское государство — Египет.

И хотя некоторые из новых африканских и азиатских стран — Кения, Эфиопия, Бирма — установили с Израилем нормальные (или даже более того) отношения, большинство из них стали поддерживать в международных институциях арабские страны. В связи с этим стоит упомянуть создание "Движения неприсоединившихся государств", одним из столпов которого был президент Египта Гамаль Насер. Силой своей личности и авторитетом пан-арабского лидера Насер привел к тому, что многие из новых государств Азии и Африки стали с годами придерживаться антиизраильских позиций на международных форумах. После Войны Судного дня чуть ли не все африканские страны разорвали отношения с Израилем в знак солидарности с арабскими странами. Колониальные державы были склонны считаться с мнением своих бывших колоний, стремясь сохранить

связь с ними, пусть и получившими независимость. Так, например, Франция старалась координировать свою политику с Алжиром, а Бельгия с Конго. Эта тенденция тоже создавала препятствия в отношениях Европы с Израилем.

Первый спад

С другой стороны, после войны в европейском сознании стали развиваться психологические процессы раскаяния в связи с мировой войной вообще и геноцидом евреев в частности. Выяснилось, что церковь, которая должна была бы воплощать на земле мораль и справедливость, сотрудничала с нацистской Германией или, по крайней мере, закрывала глаза на происходившее и молчала. Невозможно было игнорировать и то, что все преступления совершались людьми, воспитанными (как и многие поколения их предков) на христианских доктринах. Одним из результатов морального кризиса стал отход от религии в европейских странах. Другим аспектом раскаяния стал пацифизм, отвращение к войне вообще, очень распространившиеся в Западной Европе. Например, политика канцлера Шредера, который выступил против нынешней войны в Ираке, получила широкое одобрение общественности, в своей массе пацифистской, принципиально протестующей против войны. Когда-то в популярной энциклопедии, которую в 60-е и 70-е годы дарили подросткам на бар-мицву, в статье "Германия" было написано: "Народ, жаждущий битвы". Так вот: теперь это не так.

Во второй половине 60-х годов довольно быстро и резко ухудшились отношения Израиля и Франции. Причин тому было несколько: основную из них следует искать в попытках Франции укрепить связи с арабским миром, особенно после Синайской кампании и ухода Франции из Алжира. После Шестидневной войны Франция, которая до того была главным поставщиком оружия для Израиля, наложила эмбарго на экспорт военных товаров в нашу страну. Тяжелым испытанием для отношений Израиля и Франции стал угон израильянами ракетных катеров из порта Шербур в канун Рождества 1969 года. Эта операция свела на нет решение французского правительства и нанесла ему публичное оскорбление. В то время "Европейский общий рынок" начал набирать обороты, и Франция оказалась главной движущей силой этого процесса. Поэтому ущерб не ограничился одной Францией — изменились к худшему отношения с Европой в целом.

С победой в Шестидневной войне Израиль в один миг превратился из страны, борющейся за выживание, в региональную державу, а также — в глазах мира, и в том числе Европы, — в страну-захватчицу. К этому времени в Европе подросло поколение, родившееся после войны, которое не проливало крови и не видело ужасов. Это сочетание стало катастрофическим для отношений Израиля с Европой. Новое поколение в любом захвате территорий видело проявление ненавистного империализма и гнусного колониализма, поддерживало национально-освободительные движения и стремилось к социалистическому образу жизни. Некоторая часть этих молодых людей отличалась крайним пацифизмом, другие считали, что для достижения своих целей можно прибегать к насильственным средствам. Естественно, что эти группы поддерживали арабов вообще и

палестинцев в частности. Европейские страны изначально возражали против того, чтобы Израиль удерживал захваченные территории. Были, правда, различия между Англией и Францией: Англия не исключала возможность того, что Израиль сохранит за собой часть территорий, Франция же считала, что Израиль должен отступить полностью.

Примерно через год после Шестидневной войны, в мае 1968 года, в Европе начались студенческие бунты. Значительная часть их участников принадлежала к "новым левым", которые мечтали превратить Европу и весь мир в некий социалистический рай. Они считали, что хотя СССР и его сателлиты превратили свои государства в диктаторские, это не значит, что в других условиях социализм не мог бы преуспеть. Герберт Маркузе, идеолог этого движения, полагал, что беда коммунизма — в том, что он пришел к власти в самой отсталой из европейских стран, а не во Франции или Германии.

Когда студенческие бунты утихли и преподаватели вернулись в аудитории, мир — как будто — вернулся к прежнему состоянию. Однако семена, которые упали в европейскую почву весной того года, со временем проросли и привели к серьезным изменениям политического климата в Европе.

От сионизма до расизма

70-е и 80-е годы стали поворотными для связей между Израилем и Европой. В начале этого периода Израиль все еще пользовался уважением европейских стран. Однако можно увидеть, как за эти два десятилетия отношение к Израилю ухудшилось. Несмотря на Войну Судного дня и на жестокие теракты против израильтян в Мюнхене, Маалоте и Энтеббе, палестинцы сумели завоевать значительную часть европейского общественного мнения. Арабскому блоку удалось провести в ООН резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму, в частности, потому, что европейцы были равнодушны к израильским делам. Сам факт, что через 30 лет после Второй мировой войны такая резолюция не вызвала общественной бури, свидетельствует о том, насколько упал статус Израиля в глазах Европы. Невозможно указать на какое-либо отдельное событие, которое привело к столь быстрому падению, но обвал был однозначным и очень заметным. Приход правых к власти в Израиле привел к дальнейшему ухудшению ситуации.

Заклучение мирного договора с Египтом могло бы улучшить отношения с Европой. Этот договор об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке был заключен по классической европейской концепции, которая была сформулирована Францией в резолюции 242, призывавшей к миру в обмен на отступление со всех территорий. Однако роль Европы в достижении этого соглашения была невелика. Начиная с 70-х годов Соединенные Штаты стали основным, если не единственным, посредником в арабо-израильском конфликте. Европейцам вовсе не нравилось, что их оттеснили на обочину процесса, но пока все шло по правилам европейской политики, критика и недовольство замалчивались. Все, разумеется, было совсем иначе в тех случаях, когда политика Израиля не совпадала с европейскими интересами. Например, когда в 1981 году Израиль разбомбил

иракский ядерный реактор, это было воспринято как агрессия против страны, дружественной Европе, как уничтожение реактора, который построила Франция "в мирных целях". Во время Ливанской войны, и в особенности после резни в Сабре и Шатиле, отношения между Израилем и Европой резко ухудшились. Израиль вторгся в суверенную страну, имевшую прочные связи с Францией, и там произошли массовые убийства. Доводы, что Израиль в этой резне прямо не участвовал, никого не убедили; критика в адрес непосредственных убийц была сравнительно слабой. Это событие подтверждало все более распространявшееся в европейских кругах мнение о том, что Израиль — государство, угнетающее оккупированное население, что его политика не свободна от расизма и что оно верит в основном в силовые решения. Кому требовались доказательства, что израильяне — то есть евреи — способны совершать военные преступления не меньше других народов, те их получили. Хотя и накануне Ливанской войны израильско-европейские отношения были не слишком хороши, война их испортила очень сильно.

С падением "железного занавеса" и концом "холодной войны", которые привели к укреплению и расширению европейского сообщества, Европа превратилась в богатый и уверенный в себе блок, ищущий применение своим силам на международной арене. Арабо-израильский конфликт был сочтен подходящей возможностью, а нежелание Израиля посвящать Европу в тайны переговорных процессов (ни тогда, ни сейчас) не помогало и не помогает улучшить отношения между сторонами.

В последние годы многие страны, прежде бывшие дружественными Израилю, начали занимать по отношению к нему критические, чтобы не сказать враждебные, позиции. Так, скандинавские страны и страны Бенилюкса прошли долгий путь от дружбы (требовавшей немало мужества) до открытой критики, а в некоторых случаях и до враждебного отношения. С другой стороны, как раз у католических стран Южной Европы — Испании и прежде всего Италии — отношения с Израилем сильно улучшились.

Путь к центру

В последние годы в Европе пришли к власти многие из тех, кто, будучи студентами, участвовали в беспорядках 1968 года. Эти люди тоже прошли долгий путь по направлению к политическому центру. Партия "зеленых" в сегодняшней Германии, под руководством министра иностранных дел Йошки Фишера, очень далека от того облика, который она имела в 80-е годы. Кому бы пришло в голову, что правительство, в котором "зеленые" являются партнерами, пошлет солдат в Косово и Афганистан? То, что министр иностранных дел Фишер принадлежит к друзьям Израиля в Европе, свидетельствует о существенной эволюции, которую проделали он и его партия. Большинство студентов 1968 года остепенелись и фактически в большой степени усвоили капиталистическое мировоззрение. Но при этом они сохранили верность двум "идеалистическим" позициям: защите прав человека и борьбе за сохранение окружающей среды. Эти проблемы получили высокий общественный статус. Благодаря этому партии типа "зеленых" пе-

рестали восприниматься как революционные и обрели поддержку широких слоев европейского общества.

Израиль сегодня не интересует среднего европейца. В то время как почти по всем вопросам на европейском континенте имеются разногласия, существует консенсус относительно того, как следует вести себя с Израилем. По этому вопросу на европейское общественное мнение оказывают влияние, главным образом, разные организации, отстаивающие права человека. Место, которое уступила церковь (особенно в странах Северной Европы), недолго оставалось пустым. Можно даже заметить, что и церкви включились в борьбу за права человека, гражданские права и окружающую среду. В известном смысле эти ценности стали секулярной религией многих европейцев. Эта религия имеет свои священные тексты в виде международных хартий, таких, как Всеобщая декларация прав человека от 1948 года и Конвенция о политических и гражданских правах; свои священные даты — такие, как Международный день прав человека, День земного шара и т.д.; ее герои — Нельсон Мандела из ЮАР, Унг Сан Сучи из Бирмы, Андрей Сахаров из Советского Союза. У этой религии есть мученики, авторитетные толкователи, а также собственные институты во главе с Международным судом, созданным недавно в Гааге. Важнейшие из этих организаций — “Эмнести интернейшнл”, “Гринпис” и другие — сохраняют имидж аполитичности, профессионализма, моральной чистоты и беспристрастности. При сборе средств они используют очень жесткие критерии, чтобы исключить злословие и возможное влияние интересантов на их деятельность. Поэтому неудивительно, что они пользуются большим доверием со стороны общественного мнения. На местах сила этих организаций весьма велика. В разных городах их члены раздают агитационные листки с уличных лотков; они часто выражают свое мнение в прессе и имеют представителей в разных парламентах Европы, которые “конвертируют” деятельность общественных организаций в твердую “политическую валюту”. Активисты этих организаций часто занимают критические позиции по отношению к Израилю. Таким образом получается, что эти организации решают судьбу Израиля в общественном мнении.

С этой точки зрения, войну за европейское общественное мнение Израиль ведет устаревшими средствами. Это мнение формируют не выступления по телевидению — пусть самые убедительные — того или иного политического деятеля, а сообщения, которые посылаются в прессу разными неполитическими организациями по правам человека. Ситуация настолько тяжела, что в сегодняшней Европе лучше всего относятся к Израилю те консервативные круги, от которых Израиль в прошлом старался держаться как можно дальше, вроде итальянской партии “Национальный альянс”, которую раньше именовали неонацистской, а сегодня считают достойной входить в приличное общество. Лидер этой партии Джанфранко Фини недавно был приглашен в Израиль, чего еще несколько лет назад и представить было невозможно.

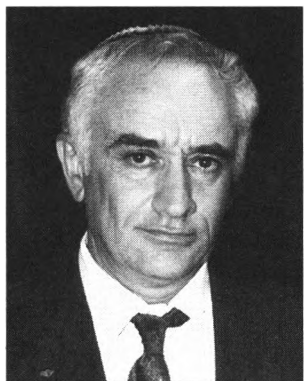
Кроме того, Израиль поддерживают организации, принадлежащие к фундаменталистским церковным кругам, в основном протестантским. Подобные или близкие им по духу организации весьма сильны и влиятельны в Соединенных

Штатах, но в Европе они очень слабы. Вот и получается, что лучшие защитники Израиля в Европе — это те, с которыми прежде никто и не подумал бы сотрудничать.

Израильские правительства долго игнорировали организации, борющиеся за права человека. Часто они объясняли свое равнодушие тем, что это организации антиизраильские или даже антисемитские. Возможно, это мнение возникло не на пустом месте. Нельзя исключить возможность, что ключевые позиции в этих организациях занимают люди, априори поддерживающие палестинцев или считающие, что политика Израиля не помогает решению проблем Ближнего Востока. Однако это серьезные люди, которых можно по крайней мере попробовать переубедить. Если Израиль хочет восстановить отношения с Европой, к этим организациям нужно отнестись серьезно. Нельзя отмахиваться от любой критики, объявив, что критик просто антиизраильски настроен. Не все таковы; а такие проблемы, как права человека на оккупированных Израилем территориях, и в самом деле не дают спокойно спать многим европейцам. Поэтому, сверх того, что нужно тщательно соблюдать права человека, следует также вести открытый диалог с этими организациями. После того, как израильские правительства много раз повторяли, что они заинтересованы в улучшении ситуации на территориях и что нарушения прав человека там являются минимальным неизбежным злом, стоило бы попробовать убедить и других в том, что ситуация именно такова, и вступить в диалог с разными организациями, отстаивающими права человека. От такого диалога мы можем только выиграть, потому что испортить имидж Израиля в глазах борцов за права человека уже едва ли возможно.

Еще одно поле боя, давно покинутое Израилем, — это университеты. Во многих высших учебных заведениях в Европе, а в какой-то степени и в США, Израиль выступает в роли "прокаженного". Израильянину грустно видеть, как студенты из арабских стран ведут в кампусах пропагандистскую работу на темы арабо-израильского конфликта. Израиль почти ничего не делает, чтобы противодействовать этому. Сегодняшние студенты — это дети поколения студентов 1968 года. У них нет никакого чувства вины перед Израилем, и они, вероятно, будут настроены к Израилю еще более критически, чем их родители.

Если Израиль действительно хочет бороться за европейское общественное мнение, он должен "встряхнуться" и начать диалог с теми, кто это мнение формирует. Быть в хороших отношениях с тем или иным религиозным движением — это очень мило, но в свете резкого снижения статуса церкви в Европе, не говоря уже о повышении веса мусульман, было бы безответственным под несущественными предложениями оголять другие участки фронта. Следует определить, кто действительно влияет на европейское общественное мнение, и вести диалог с теми из них, кто готов слушать и думать. Имидж Израиля в европейском общественном мнении настоятельно этого требует. Сегодняшнее равнодушие приведет в будущем к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений. Поэтому нужно взяться за дело немедленно, чтобы постараться исправить ситуацию.



Феликс Фильдер (1931) — выпустил несколько книг по лингвистике и исследованию древних цивилизаций, публиковал статьи в периодической печати. Учился в Московском Станко-инструментальном институте (1949–53), на мехмате Московского Государственного Университета (1965–70), посещал семинары филологического факультета МГУ. Мастер спорта СССР по шахматам и международный мастер. В Израиле с 1990 года. Живет в ишuve Долев.

Феликс Фильдер

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЕВРЕЙСКОГО ОБЫЧАЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПИЩИ

(Статья печатается с сокращениями)

"Не вари козленка в молоке матери его".

Библия

"Смысл этого запрета скрыт даже от тех, кто обладает мудростью".

Ибн-Эзра, 12 век

I

У комментаторов Библии имеются серьезные проблемы с аллегорическим предложением *"не вари козленка в молоке матери его"*, встречающимся в Пятикнижии три раза [Исх. 23, 19 и 34, 26; Втор. 14, 21]. Трудности комментаторов заключались в том, что нужно было понять аллгорию и обосновать, почему *"не вари"* именно козленка, а не саму козу или козла, или другое съедобное животное, почему не следует варить *"в молоке его матери"* (в этом случае запрет относится только к сосунку), а не вообще в молоке, и некоторое другое. В конечном счете принято следующее понимание предложения, отраженное также в Септуагинте (3 в. до н.э.) и в следующих за Септуагинтой христианских переводах.

Согласно комментаторам и традиции словосочетание *לֹא בָשַׁל בְּחֵי מִדְּמֵהוּ* данного предложения при первом его появлении в Библии [Исх. 23, 19] следует понимать как *"не ешь"*; во второй раз [Исх. 34, 26] — *"не подноси"*; в третий раз [Втор. 14, 21] —

"не вари" [Sever 1980: v. 2, p.1032₁]. В конечном счете комментаторы и традиция понимают предложение как запрет употреблять в пищу любое сочетание мясной еды с молочной.

В настоящей статье предложение получает иное истолкование. При этом глагол и все предложение понимаются не по-разному, но единообразно во всех трех случаях, а указанные выше проблемы комментаторов находят решение в другой плоскости. Это понимание стимулировано следующими соображениями.

1. Необычность предложения и его, можно сказать, сюрреалистичность не характерны для библейского языка. В Библии имеются многие сотни различных заповедей, указаний, предписаний, запретов, и они даются в такой форме, что основная идея их понятна любому человеку (мы не говорим о деталях и толкованиях, которые были установлены законодателями позднее). В противоположность им, интерпретация аллегории "*не вари козленка в молоке матери его*" потребовала большой работы комментаторов. Поэтому естественны вопросы: если это предложение относится к питанию, то почему не говорится прямо, подобно тому, как в других предписаниях, "*не ешь мясное с молочным*" (именно так "перевел" эту фразу Онкелос, 2-й век н.э.; см. ниже)? Почему вместо этого говорится так туманно: "*не вари козленка в молоке матери его*"? Почему "*не вари козленка...*", а не "*не вари мясо козленка...*"? Эти и другие подобные вопросы наводят на мысль о том, что в предложении, кроме известного смысла, содержится еще один скрытый переносный смысл, некая аллегория, которая со временем перестала быть понятной.

2. Сравнительно позднее письменное деление библейского текста на стихи и их нумерация произведены в соответствии с устной традицией. В связи с этим возникает вопрос, почему одно из важнейших правил питания (а может быть, даже важнейшее!) не выделено в отдельный стих, а помещено вместе с другими указаниями и только с ними — так, как это читалось при введении нумерации. Причем эти указания носят различный характер: они связаны как с высоким жертвенным служением Богу [Исх. 23, 19 и 34, 26], так и с практическим использованием мертвого животного [Втор. 14, 21]. Это обстоятельство наводит на подозрение, что наше предложение не самостоятельно, но является неким дополнением к другим указаниям, помещенным в тех же стихах.

3. Определить в большом стаде мать взрослого козленка практически невозможно, а у козы, чей козленок взрослый, молока уже нет. Поэтому очевидно, что в нашем предложении речь идет только о козленке-сосунке (то есть "*не вари козленка-сосунка в молоке матери его*"). Из этого заключения вытекают следующие основные пункты.

4. Кулинария высоко ценит молочных животных, в частности, молочных козлят. В противоположность им, взрослый козел значительно менее пригоден для еды, так как его мясо имеет резкий и непривлекательный запах и вкус.

5. Пятое обстоятельство является основным. Без него все предыдущее не имело бы достаточной силы, и это обстоятельство позволяет конкретно сформулировать альтернативную версию. Глагол в предложении "*не вари козленка в мо-*

локе матери его" принято понимать как "варить на огне". Это понимание восходит к самому началу письменного комментирования Библии (Мидрашей Агада; Мишна), и оно имеется в Септуагинте и во всех других переводах Библии. Однако ивритский глагол ל-ש-ב означает не только "варить на огне", но также "поспевать; становиться спелым, зрелым (о плодах растений и о животных)", то есть "вариться без огня".

Последнее значение в наше время кажется вторичным; однако закономерно предположить, что по логике развития человеческой цивилизации, культуры и технологии, а также по логике развития языка от простых понятий к более сложным, именно "спеть, поспевать" должно являться более ранним. Потому что спелостью плодов человек интересовался "изначально", задолго до "приручения" огня, и для обозначения этой "спелости" язык должен был иметь соответствующее слово. Только позднее человек научился неспелые плоды "делая спелыми на огне" (то есть "варить"). На огне эти плоды становились съедобными, "спелыми". И для обозначения нового процесса варки на огне человек использовал уже известное слово "поспевать в природных условиях". С таким пониманием согласуется то, что первое (и древнейшее) употребление в Библии глагола ל-ש-ב связано именно со значением "поспевать (о винограде)" [Быт. 40, 10], а не "варить". Подобного употребления в отношении животных в Библии нет; но ср. у Раши: "Не вынуждайте меня делать зрелыми (ל-ש-ב) козлят приплода в утробах их матерей" [Комментарий к Втор. 14, 22]; соответствующие места имеются в ранних постбиблейских источниках.

Таким образом, предложение, имеющее в Септуагинте и во всех других переводах смысл, связанный только с "варить", в иврите имеет два значения: не только "не вари козленка в молоке матери его", но также "не делай зрелым козленка в молоке матери его".

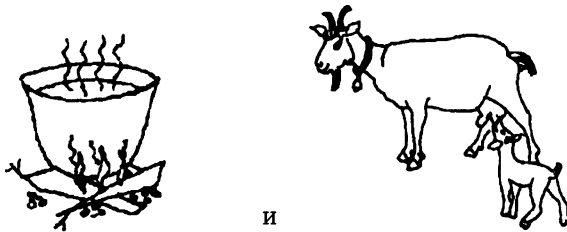


Рис. Ителлы Мастбаум

Оба эти значения являются правильным переводом изолированного (то есть взятого вне контекста) ивритского предложения. Однако в контексте предложение должно иметь единственный смысл. Поэтому закономерен вопрос: какое значение имеет предложение в контексте Библии?

Прочтение "не вари..." является доминирующим в еврейской традиции и единственным в традиции христианской. Второй вариант вкратце встречается у отдельных комментаторов. Младший современник Раши, крупный лингвист Средневековья Ибн-Эзра (12 в.) писал: "ויש אפר שאמר לא לבשל כמו לא לאפר" — "и имеется

некто, который говорил, что слова "לא לבשל" следует понимать как "не запаздывай". [Комментарий к Исх. 23, 19]. То есть не запаздывай с использованием молочного козленка. Еще определеннее выразился в своем комментарии на то же место Бэхор Шор (12 в.): "לפי הפשט, בישול לשון גידול וגמר, כמו הבשילו אשכולות ענבים" — "согласно простому пониманию, בישול означает "рост и созревание" как во фразе "созрели гроздья винограда" [Быт. 40, 10]". Однако понимание нашей фразы пошло не по этому, "простому" пути, а по пути комментариев.

Настоящая статья подробно анализирует в контексте Библии "простое" прочтение, изложенное у Ибн-Эзры и Бэхор Шора. Это прочтение означает: "не позволяй козленку стать зрелым в молоке его матери", или, как будет показано ниже, "не жди слишком долго, а то молоденький молочный козленок, сосущий свою мать, станет ("в молоке своей матери") перезрелым невкусным козлом; используй молочного козленка вовремя".

Далее, характер использования предложения в Библии (в одном стихе вместе с другими повелениями и только после этих повелений) позволяет заключить, что это частное понимание использовалось языком для передачи общего смысла: "если ты намерен или должен что-то сделать, например, принести в Храм первые плоды [Исх. 23, 19; 34, 26], или избавиться от мертвого животного [Втор. 14, 21], то не тяни и делай вовремя, не то будет поздно". "Будет поздно", так как практически невозможно есть перезревшего козленка, ставшего уже козлом. Таким образом, второе прочтение выражения "не делай зрелым козленка в молоке матери его" содержит определенную аллегорию, и потому это выражение является поучением, поговоркой.

Ниже следует обоснование сказанного.

II

Имеются все основания полагать, что деление Библии на стихи является поздним только формально, но фактически оно существовало "изначально", начиная от устного чтения Библии пророками; и это деление, до его письменной фиксации, было донесено устной традицией.

Более раннее существование устной традиции по сравнению с письменной подтверждается следующими цитатами. "И сказал Господь Моисею: запиши себе речи эти, ибо по этим речам заключил Я с тобою завет, и с Израилем" [Исх. 34, 27]. "Когда перейдете через Иордан... поставь себе камни большие и обмажь их известью; и напиши на них все слова закона сего..." [Втор. 27, 2-3]. "Запиши для вас песню эту и научи ей сынов Израиля, и вложи ее в уста их" [Втор. 31, 19]. И др. Более раннее существование устной традиции можно предполагать также в истории Евангелий, Корана и др.

Простой просмотр библейского текста подтверждает почти очевидную вещь, а именно: каждый стих содержит одну тему и, может быть, некоторый ее комментарий, и фактически единство темы является принципом деления текста на короткие стихи. Когда пророки произносили перед народом свои откровения, ораторское искусство пророков делило эти тексты паузами на стихи согласно содержанию; позднее это устное тематическое деление было отражено в пись-

менности (так же поступают современные чтецы и ораторы, делая паузы для интонационного разделения соответствующих тем).

Посмотрим, что наблюдается в нашем случае — соблюдается ли принцип единства темы в стихе.

Предложение *"не вари козленка в молоке матери его"* встречается в Библии трижды.

1. *"Первые плоды земли твоей приноси в Дом Господа, Бога твоего; не вари козленка в молоке матери его"* [Исх. 23, 19].

2. *"Первые плоды земли твоей приноси в Дом Господа, Бога твоего; не вари козленка в молоке матери его"* [Исх. 34, 26]. Несмотря на полное совпадение этого стиха с предыдущим, он толкуется комментаторами иначе.

3. *"Не ешьте никакой падали; пришельцу, который во вратах твоих, отдай ее — пусть он ест; или продай чужому; ибо ты народ святой Господу, Богу твоему; не вари козленка в молоке матери его"* [Втор. 14, 21].

Прежде всего, обращает на себя внимание то, что во всех трех стихах наше предложение не является самостоятельным; оно входит в состав более длинных стихов и всюду стоит в конце.

Далее. В оригинале Библии все три предложения *"не вари козленка в молоке матери его"* совпадают полностью, буква в букву. Это существенный факт, который должен указывать на устойчивость данного словосочетания, тем более, что между написанием двух первых стихов и третьего стиха лежит значительный временной интервал.

На существенность этого факта указывает также сравнение с Септуагинтой. В греческой версии ивритское словосочетание перестало быть устойчивым: предложения совпадают только в первом и третьем случаях, во втором же случае используется другой глагол — *"не подноси, не подавай ягненка в молоке матери его"*. Тем самым, Септуагинта в этом месте предлагает не перевод, а одно из толкований предложения. Следует отметить также, что козленок для Септуагинты не существенен, и она заменяет его ягненком. Однако оригинал Библии использует козленка, и немного ниже мы увидим, что здесь важен именно козленок. Современные христианские переводы Библии (в том числе русский Синодальный перевод) не следуют Септуагинте и во всех трех случаях используют глагол и животное оригинала (иногда только менее точно заменяя *"козленок"* на *"молодой козел"*). В целом, авторы новых переводов Библии понимают, что опасно менять буквальный смысл первоисточника на его комментарий. Потому что комментарий меняется, а текст оригинала остается.

Таким образом, есть все основания полагать, что наше предложение является устойчивым сочетанием.

Далее, в иврите первые два стиха, содержащие наше предложение [Исх. 23, 19 и 34, 26], также совпадают полностью. Это указывает на то, что устойчивым сочетанием в оригинале Библии могло быть не только предложение *"не вари..."*, но также и формула повеления приносить первые плоды в Храм. Таким образом, у нас есть основания полагать, что перед нами два устойчивых сочетания, следующих одно за другим и повторяющихся в двух местах.

Если бы предложение *"не вари козленка в молоке матери его"* являлось пищевым запретом, то во всех трех стихах оригинала Библии мы наблюдали бы резкое отклонение от принципа единства темы в стихе. Одно из важнейших и фундаментальных пищевых правил, каковым является этот запрет, требует для себя отдельного стиха. И, несомненно, древние чтецы Библии (Моисей и его ученики) выделили бы это правило соответствующими интонациями и паузами. Но они этого не сделали. Почему? По нашему мнению, когда читали эти стихи, то подразумевалось следующее.

1, 2. *"Первые плоды земли твоей приноси в Дом Господа, Бога твоего; не делай зрелым (вместо не вари) козленка в молоке матери его"*.

Вторая часть стиха аллегорически означала *"не медли, выполняя повеление вовремя"* (то есть *"ешь молочного козленка вовремя"* — пока он еще молочный).

И действительно, медлить в этом деле было нельзя. Как только появлялись первые, еще незрелые плоды, они помечались (например, обвязывались у основания цветной нитью) и считались посвященными Богу, святыми. Их нужно было сорвать вовремя, пока они не перезрели, а тем более не упали (плоды деревьев и винограда) или не осыпались (зерна колосьев), и отнести в Храм. Поэтому после формулы повеления добавлялась аллегорическая поговорка: *"не делай зрелым козленка в молоке матери его"*. Здесь козленок (имеется в виду молочный козленок) — аллегория незрелого плода; молоко матери его — аллегория соков маточного растения. И прямой, неаллегорический смысл стиха был таков: *"Первые плоды земли твоей приноси в Дом Господа, Бога твоего; не допусти, чтобы плоды перезрели (в соках маточного растения)"*. Перезрелый или упавший плод был подобен козленку, ставшему зрелым (*"в молоке его матери"*) и превратившемуся в козла.

3. *"Не ешьте никакой падали; пришельцу, который во вратах твоих, отдай ее — пусть он ест; или продай чужому; ибо ты народ святой Господу, Богу твоему"*. И далее: *"не делай зрелым козленка в молоке матери его"*. В данном случае это означало *"не медли, избавься от павшего вовремя, не то будет поздно — оно засмердит"*. То же произойдет с козленком, если его передержать *"в молоке матери"*: он тоже будет пахнуть непривлекательно и станет малопригодным для еды.

При таком понимании предложение *"не делай зрелым козленка в молоке матери его"* во всех трех случаях неизменно; оно органически дополняет первую половину стихов, и принцип единства темы в стихе не нарушается. И это происходит несмотря на различие в темах стихов (возвышенное жертвенное служение Богу, с одной стороны, и избавление от падали — с другой).

Как правило питания, предложение могло бы быть помещено в другом месте, например, после перечисления запрещенных к употреблению животных. Однако этого не произошло — не произошло потому, что это предложение не является правилом питания, а имеет к питанию только косвенное отношение.

Таким образом, мы имеем все основания полагать, что предложение, которое в настоящее время понимается как *"не вари козленка в молоке матери его"*, является поговоркой, которая в Библии дополняет первую половину соответствующих стихов.

Почему поговорка *"не делай зрелым козленка в молоке матери его"* использует козленка, а не ягненка или теленка (в Септуагинте *ягненок*)? На этот вопрос отвечает кулинария. Взрослые бык и баран, хотя и уступают по вкусовым качествам соответствующим молодым животным, вполне хороши для приготовления из них еды. Не то взрослый козел. Его мясо обладает резким и неприятным запахом и вкусом и для еды менее пригодно. Поэтому в поговорке присутствует козленок. Необходимо также отметить, что *молодой козел* некоторых современных (не русских) переводов является менее точным значением, чем *козленок*.

III

Можно предложить гипотезу исторической судьбы предложения *"не вари / не делай зрелым козленка в молоке матери его"*.

Это предложение в качестве поговорки, рожденной скотоводческим бытом и, как всякая поговорка, имеющей аллегорический смысл, существовало в разговорном иврите в добиблейские времена. Смысл поговорки был: *"не откладывай выполнение..."*, *"делай вовремя"*, *"торопись"*. К кулинарии эта поговорка отношения не имела.

Поговорка зафиксирована письменно, следовательно, она существовала в языке значительно раньше. Судя по содержанию поговорки, естественно полагать, что она возникла в иврите после того, как евреи начали заниматься скотоводством.

Далее, возможно предположить, в какой именно исторический период исконный смысл *"не делай зрелым козленка в молоке матери его"* стали понимать как *"не вари..."*; и этот смысл затем вошел в Септуагинту (середина 3 века до н.э.) и во все дальнейшие переводы Библии. Забвение первого смысла и замена его вторым могли произойти только в период прекращения устных занятий Библией при отсутствии письменного комментария на это место. Такое могло случиться в 6 веке до н.э. при разгроме еврейского государства войсками Навуходоносора, разрушении Храма в 586 году до н.э. и утоне оставшихся евреев в Вавилон. Этот страшный период еврейской истории, когда значительная часть народа была уничтожена, а небольшой его остаток превращен в рабов, описывается в книге *"Плач Иеремии"*. Можно отметить обстоятельства того времени, способствовавшие изменению понимания древней поговорки, рожденной скотоводческим бытом. Прежде всего, это полное прекращение скотоводства у евреев, а также почти полное забвение разговорного иврита и замена его арамейским языком (можно напомнить при этом и об очень быстрой замене еврейских имен вавилонскими, сохранившимися до нашего времени; в *"Книге Эстер"* это *Мордехай* от вавилонского бога-быка Мардук, *Эстер* от имени языческой богини-звезды Астарты (планета Венера; *"Астарта"* — греческая форма; ближневосточный оригинал *"Иштар"*; ср. также родственное слово — современное английское *star*). Однако

иврит не исчез совсем. Остался письменный язык, но ничего бы не произошло, если бы в иврите, как и в языках переводов, *לֹא תֵבֵן* имело только одно значение. Однако в иврите их было два: *не делай зрелым* и *не вари*. Таким образом, можно предположить, что при переселении в плен и в плену поговорка забылась, а при возобновлении изучения Библии наше предложение стало пониматься во втором, "кулинарном" смысле. В таком понимании оно из Вавилона вошло в обиход комментаторов, а далее в Септуагинту и другие переводы Библии.

Анализ исторической судьбы предложения "*не делай зрелым / не вари козленка в молоке матери его*" дает определенные аргументы для датировки как самого предложения, так и всего Пятикнижия. Это широкий вопрос, и здесь можно сказать только, что выводы настоящей статьи не поддерживают многочисленные и противоречивые предположения библейской критики и, в частности, одну из последних оценок (1998 года): "Сегодня единственный бесспорный *terminus ad quem* для датировки Пятикнижия — появление Септуагинты (самое раннее, 3 в. до н.э.)" [Тищенко 54]. Однако очевидно, что для перевода предложения "*не делай зрелым / не вари козленка в молоке матери его*" Септуагинта пользуется не столько текстом Пятикнижия, сколько существовавшим в 3 в. до н.э. комментарием. Этот комментарий (вероятно, восходящий к началу вавилонского плена 6 в. до н.э.) стал понимать поговорку не как категорическое усиление первой части соответствующих стихов, а как самостоятельный пищевой запрет; следовательно, этот комментарий значительно отстоял по времени от комментируемого текста, то есть от Пятикнижия. Еще дальше (более чем на три столетия) от Пятикнижия отстояла Септуагинта. Таким образом, в данном случае удовлетворительный результат дает только библейская хронология, но его не дает ни одно из противоречивых предположений "библейской критики".

В начале статьи мы говорили о том, что необычность и сюрреалистичность предложения "*не вари козленка в молоке матери его*" наводят на мысль о том, что в нем содержится какой-то иной, скрытый смысл. Сейчас мы можем отметить, что при изложенной версии понимания предложения исчезает его сюрреалистическая загадочность и остается только то, что было понятно скотоводам добиблейских времен. Но этого оставшегося достаточно для восхищения красотой и совершенством формы одной из древнейших поговорок человечества и содержащейся в ней аллегорией. Некоторый эквивалент такой поговорки можно получить, если сказать: "Не откладывай на завтра то, что следует сделать сегодня". Однако этот формальный эквивалент будет сутубо реалистичным и прозаическим.

При изложенной версии понимания выражения "*не вари / не делай зрелым козленка в молоке матери его*" проблемы, имевшиеся в связи с этим выражением у комментаторов Библии, находят простое и естественное объяснение в другой плоскости.

В Пятикнижии имеется еще одно, очень раннее, место, имеющее отношение к употреблению мясной и молочной пищи: "И взял (Авраам) масла и молока, и

теленка, которого приготовил, и поставил перед ними; а сам стоял подле них под деревом. И они ели" [Быт. 18, 8; этому стиху Библии посвящены многочисленные христианские иконы, в том числе икона А. Рублева "Троица"]. Однако это место никогда не используется комментаторами в качестве доказательства существования раздельного питания, и оно свидетельствует, скорее, не о раздельном, а о совместном употреблении в древности мяса и молока. Поэтому требуется специальное исследование, чтобы выяснить, существовали ли еврейские законы разделения мясной и молочной пищи в качестве народного обычая в добиблейскую эпоху, в частности, существовали ли они во время пребывания евреев в Египте, или же они были выведены комментаторами из библейской фразы, которая позднее была переосмыслена как "не вари козленка в молоке матери его".

IV

Если комментаторы переосмыслили глагол рассматриваемой фразы (*не вари вместо не делай зрелым*), то для своей цели они пересмотрели значение и следующего за глаголом слова. Поэтому Раши (11–12 вв.), крупнейший из комментаторов Библии, комментируя предложение "не вари козленка в молоке матери его", пишет о слове גדי, которое в разговорном языке означает козленок:

"В понятие גדי входят также "теленки" и "ягненок", потому что это слово означает не что иное, как детеныш, молодое животное. <Ты приходишь к такому выводу>, находя, что во многих местах в Торе написано גדי, а затем уточняется "из коз", как например: "я пошлю козленка גדי עזים [Быт. 38, 17]; ... Это чтобы показать тебе, что везде, где сказано просто גדי <без уточнения>, можно понимать также "теленки" и "ягненок"" [Раши, Комментарий к Исх. 23, 19; перевод Ф. Гурфинкель].

Комментарий Раши отражает традицию, то есть мнение почти всех комментаторов Библии, и только крупный лингвист Ибн-Эзра (12 век), младший современник Раши, писал по поводу этого комментария:

ואיננו כן כי גדי לא יקרא רק שהוא מהעזים ובלשון ערבי הוא גדי ולא יאמר על מין אחר. רק יש הפרש בין גדי ובין גדי עזים. כי גדי גדול מגדי עזים.

"Это неверно (то есть неверно мнение, поддержанное Раши — Ф.Ф.), так как גדי означает только, что он из коз. И в арабском языке גדי означает козленок, и не говорят об ином. Есть только разница между גדי и גדי עזים (буквально "козленок коз" — Ф.Ф.). Так как подросток גדי из גדי עזים." [Комментарий к Исх. 23, 19]. Однако еще в 19 столетии О.Н. Штейнберг писал в своем словаре: "גדי козленок; чаще גדי עזים". То есть О.Н. Штейнберг не видел здесь разницы [Штейнберг 1878: 82].

Настоящая статья обосновывает и развивает краткое мнение Ибн-Эзры, а также уточняет существенную разницу между גדי и גדי עזים.

Из внимательного рассмотрения мест Библии, на которые ссылается Раши, а также всех других мест, в которых встречается слово גדי, вытекает следующий вывод.

Выражение גדי עזים означает "козленок при козах; козленок в стаде кормящих коз", то есть "молочный козленок". Язык скотоводов обязан иметь термин

“молочный козленок”, и этим термином в Библии является *עֵזוּ קִזְּ*, что буквально означает “козленок коз”.

В подтверждение этого мнения рассмотрим все места с *עֵזוּ קִזְּ*.

1. [Быт. 27, 1 – 27]. Ревекка задумала приготовить своему почти слепому мужу домашнее блюдо, которое Исаак принял бы за тонкое блюдо из дичи, так любимое им. Чем заменить дичь? Наилучшая замена, которую можно найти дома — это молочный козленок. Из немолочных козлят невозможно приготовить блюдо, имитирующее дичь (см. выше), а шкурки таких козлят на руках и шее Иакова своим резким запахом немедленно выдадут обман. И Ревекка посылает своего сына Иакова принести из стада двух “козлят коз”, то есть забрать козлят от коз, от кормилиц. Таким образом, слова Ревекки “принеси мне двух козлят коз” на нашем языке означают “принеси мне двух молочных козлят”. Молочные козлята имеются в виду и в трех других случаях.

2. [Быт. 38, 16 – 20]. “Блудница” (Фамарь — Тамара) спрашивает Иуду, какую она получит плату. Было бы недостойно говорить просто о “козленке” (он стоит немного), и Иуда обещает хорошую плату — “козленка коз”, молочного козленка.

3. [Суд. 6, 17 – 21]. Гедеон получает назначение и благословение от Бога на подвиг и приносит особую жертву всесожжения перед ангелом. Жертва эта должна быть достойной и почетной. Поэтому она не козленок, а “козленок коз”.

4. [Суд. 13, 19]. Аналогична жертва за рождение будущего героя Самсона, мать которого долго была бесплодной.

Таким образом, во всех местах Библии, где встречается выражение “козленок коз”, его наилучшее объяснение не просто “козленок” (то есть “дитя козы”), а “молочный козленок”.

Теперь рассмотрим, чем характерны случаи, в которых встречается не *עֵזוּ קִזְּ*, а просто *קִזְּ*. Можно ли считать, что в них имеется в виду “молодое животное”, а не “козленок”?

1. В предложении “не вари козленка в молоке матери его” используется слово *קִזְּ*, но, согласно предложенному пониманию предложения, а также замечанию Ибн-Эзры в настоящей главе, имеется в виду “молочный козленок”. Однако в данном контексте подчеркивать это обстоятельство словами “козленок коз” было бы излишним — о том, что козленок молочный, ясно, хотя и косвенно, говорится другими словами.

2. “И будет лежать волк с овцой и леопард с козленком” [Исаия 11, 6]. Здесь “молочный козленок” не нужен. С другой стороны, разве мог Пророк сказать: “и будет лежать волк с овцой и леопард с неким молодым травоядным съедобным животным”? Животное, которое лежит рядом с леопардом, не может быть абстрактным — оно обязано быть конкретным. Поэтому у Исаии *קִזְּ* означает “козленок” и только “козленок”. Конкретность необходима и в остальных случаях.

3. Шесть раз в Библии упоминается место Эйн-Геди, связанное с историей царя Давида. Первая половина названия “Эйн-” означает “источник”. Почти на самой вершине горы над Мертвым Морем находится небольшое озерцо, питаемое родником. Место уникальное. И здесь, как у Исаии, невозможно, чтобы не-

кий гидроним назывался не "Источник козленка", а "Источник молодого съедобного животного". Эйн-Геди — название ивритское, и чрезвычайно трудно допустить, что оно возникло не в иврите, а в каком-то другом семитском языке, в котором слово *יָגֵל* имеет однозначный смысл "козленок".

4. [1 Царств 10, 3]. "...и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вефиль; один несет трех козлят, другой несет три хлеба; а третий несет мех с вином". Здесь не имеет значения, молочные козлята или нет. С другой стороны, в таком сообщении нельзя сказать "тебя встретит человек, который несет трех молодых съедобных животных".

Таким образом, всюду, где встречается *יָגֵל*, неприемлемо предположение, что этим словом обозначается не конкретное, а видовое животное.

В принципе, общесемитское слово "козленок" могло в отдельном языке приобрести другое или дополнительное расплывчатое значение "молодое съедобное животное". Однако в данном случае в древнем иврите это было невозможно по указанной выше причине. А именно, развитие определенной области деятельности человека вызывает к жизни возникновение соответствующей терминологии. Носители иврита были скотоводами, специализирующимися на овцах и козах, и в их языке обязан был быть о д н о з н а ч н ы й термин козленок (а также термин молочный козленок). Предположение об отсутствии такого термина в языке скотоводов недопустимо. Этот исконный термин, общий для всех семитских языков, мог исчезнуть или изменить смысл только в случае прекращения носителями языка соответствующих занятий. Но этого, как известно, ко времени начала создания Библии не произошло (ср. также наличие в иврите специальных слов для ягненка, теленка, осленка и др.).

Таким образом, слово *יָגֵל* в иврите, так же как и в других семитских языках, означает "козленок" и только "козленок".

Это заключение подтверждает также астрология. Пятикнижие не раз упоминает о культах звезд и запрещает их, в отличие от позднейших времен полагая их беспочвенными и даже преступными [Втор. 4, 19; 17, 3]. Задолго до написания Библии созвездия обожествлялись и связывались с конкретными образами. Зодиакальное созвездие *Козерога* в ранних постбиблейских источниках именуется *יָגֵל*. Это означало *Козленок* и не могло означать ни "травоядное животное", ни "теленка или ягненка". Тем более, что *Ягненком* называлось другое созвездие (русское *Овен* — "баран").

Следует отметить, что в Библии нет специального термина, обозначающего "молочный теленок". Вероятно, потому, что подросток "немолочный" теленок, а также соответствующее взрослое животное были вполне съедобны. Вместо "молочный теленок" в истории об Аврааме и трех ангелах есть описательное выражение "בֶּן־בָּקָר רֵךְ וטוֹב", что буквально означает "дитя крупного рогатого скота нежное и хорошее" [Быт. 18, 7].

Таким образом, древний иврит, язык скотоводов, имел два близких, но различных термина различного смысла и употребления: библейское *יָגֵל* означает

только "козленок"; библейское *גדי עזים* означает только "молочный козленок". Мнение Раши, поддерживающее мнение почти всех комментаторов, о том, что *גדי* означает не "козленок", а "детеныш, молодое животное", основано на сравнительно новом понимании глагола рассматриваемой фразы как "*не вари*" вместо "*не делай зрелым*". То есть здесь мы имеем тот случай, когда, сказав "А", вынуждены сказать и "Б".

ЛИТЕРАТУРА

- Библия* (на русском языке).
The Torat Chaim Chumash, (in Hebrew; *ספר שמות, תורת חיים חמשה חומשי תורה*). Jerusalem, 1988.
The Bible. New International Version (in English).
The Bible with the Commentary by Rabbi Shlomo Itzhaki (Rashi, 11th c.).
Библия с переводом на арамейский Онкелоса (in Hebrew).
The Bible's Commentators (in Hebrew).
The Old Testament in Greek according to the Septuagint. Cambridge, 1909.
Пятикнижие с толкованием Раши, перевод Ф. Гурфинкель. Иерусалим, 1990.
Пятикнижие и гафтапот. Москва-Иерусалим, 1999.
CD DBS, version 9. Jerusalem.
CD Jewish Classic Library, USA.
Миграшей Araga (на иврите).
Мишна; Комментаторы (на иврите).
Тищенко С.В. Кто написал Тору? К литературной истории Пятикнижия // в сборнике: Библия, литературные и лингвистические исследования; выпуск 1. Москва, 1998.
Штейнберг О.Н. Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета. Вильна, 1878.
Sever M. Collected Aphorisms and Sayings (in Hebrew). Jerusalem, 1980.

В этом номере журнала мы открываем новую рубрику — "К миру без насилия". В ней будут публиковаться материалы, посвященные философско-религиозным аспектам концепции ненасилия, а также практике ненасильственной борьбы.



Петрицкий Велимир (1931) — профессор, доктор философских наук, член Союза журналистов России. Библиофил, сопредседатель Организации российских библиофилов, президент С.-Петербургского общества книголюбов. Автор более 400 работ в области философии, культурологии и библиофильства, в том числе нескольких книг: "Свет в джунглях" (М., 1972; эта книга об А. Швейцере переведена на несколько европейских языков), "Книга и время" (Л., 1980), "Миниатюрная Швейцериана" (Л., 1990) и др. Живет в С.-Петербурге.

Велимир Петрицкий

НРАВСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ АЛЬБЕРТА ШВЕЙЦЕРА

На рубеже столетий перед мировым сообществом неотвратимо встали и требуют неотложного решения проблемы сохранения земной природы и глобального терроризма. Первая чревата неуклонным сползанием к экологическому кризису, сопровождаемому эпидемиями и пандемиями, возрастающим дефицитом пресной воды, хроническим голодом в ряде регионов земного шара. Вторая — если террористы овладеют ядерным оружием — грозит катастрофой, могущей привести к гибели современной цивилизации.

Существуют и дискутируются различные подходы к решению этих проблем. К сожалению, некоторые из них основаны на принципах непременного использования силы; другие не учитывают специфики национального, религиозного, историко-культурного менталитета и даже характерных особенностей природной среды обитания конкретных человеческих общностей. В конструктивном плане небесполезен, думается, экскурс в сокровищницу философско-этического, культурологического и непосредственно практического наследия выдающегося мыслителя-гуманиста XX века Альберта Швейцера (1875 — 1965).

В европейской, да и мировой культуре существенное значение для нравственной оценки и самооценки действий не только исторической личности, но и

любого человека имел категорический императив И. Канта, сформулированный им в "Критике чистого разума" (1788). Кант требовал: "поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству" (Кант И. Соч., т. 4, ч.1. М., 1965, с. 270). Формула Канта характеризовала критерий нравственной оценки и самооценки, приложимый исключительно к взаимоотношениям человека с другими людьми, с обществом и человечеством. В нравственной оценке отношения человека и общества к природе в конце XVIII века неотложной необходимости, очевидно, не существовало. Но в XX столетии, на первую половину которого выпали впервые в истории две мировые войны, жесточайшему испытанию подверглись основополагающие принципы культуры — ценность человеческой жизни и планетарной жизни в целом. Возникла настоятельная потребность в расширении сферы действия морали как регулятора поведения человека и общества не только по отношению к себе подобным, но и к природе.

Философско-этическое учение Альберта Швейцера о благоговении перед жизнью (*die Lanhre der Ehrfurcht vor dem Leben*) предельно расширяло сферу действия морали, включив в нее как отношения между людьми, между человеком и обществом, так и отношение человека и общества ко всему сущему — к растениям и животным, ко всей земной природе, к универсуму. Швейцер убедительно доказал, что только мы, люди, наделенные разумом, способны осознать изначально присутствующую в каждом живом существе волю к жизни. А коль скоро мы наделены способностью сопереживать, Швейцер предлагает каждому из нас осмыслить корреспондирующие друг с другом общие понятия добра и зла, вытекающие из принципа благоговения перед жизнью. Добро означает — сохранять жизнь, содействовать ее развитию; зло — уничтожать жизнь, наносить ей ущерб, препятствовать ее развитию.

Общие дефиниции требуют их конкретизации применительно к сложному и противоречивому процессу реальной — социальной и природной — жизни. Людям, даже придерживающимся в своем поведении принципа благоговения перед жизнью, нередко приходится наносить ущерб ей или препятствовать развитию тех или иных ее форм — уничтожать сорняки на ухоженном поле; принимать лекарства, препятствующие размножению болезнетворных бактерий. Все мы, не задумываясь, уничтожаем кровососущих насекомых, хищных животных, посягающих на нашу жизнь. Мы вынуждены обороняться от преступников, от террористов, защищая себя и окружающих. Учитывая подчас непредвиденную противоречивость обстоятельств реальной жизни, Швейцер ввел два также корреспондирующих одно с другим понятия: ответственность и необходимость. По его мысли, этика — непреходящая ответственность каждого из нас за все, что живет. И вместе с тем: "там, где я наношу вред какой-либо жизни, я должен ясно осознавать, насколько это необходимо" (Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992, с. 223).

Защищать жизнь ребенка, слабого, свою жизнь и жизни окружающих — необходимо. Питаться полноценной растительной и животной пищей — необходи-

мо. Но осознанная необходимость не дает нам права злоупотреблять ею. В статье, посвященной защите животных, Швейцер подчеркивал: "Этика, которая намеревается учить нас благоговению перед всем живым и любви ко всякой жизни, должна одновременно безжалостно открыть нам глаза на то, каким множеством путей мы находим необходимость уничтожить жизнь и вредить ей, и в какие тяжелые конфликтные ситуации мы себя постоянно ставим, когда осмеливаемся не дать себя усыпить необдуманностью" (Schweitzer A. Philosophie und Tierschutzbewegung// Ausgewahetle Werke. B. 5. — Berlin, 1971, S. 141).

Пожалуй, наиглавнейшее в философско-этическом учении Альберта Швейцера — признание нерасторжимой естественной связи между различными формами жизни, между живой и неживой природой. Жизнь имеет глубокие корни в неживом. Поэтому не вредить жизни означает не вредить также абиогенетическим ее основаниям — литосфере, гидросфере, атмосфере и космосфере. Швейцер справедливо, на наш взгляд, задается вопросом: кто знает, какое значение во Вселенной имеет та или иная веточка древа Жизни? В письме к автору этих строк философ, возвращаясь мыслью к естественной цепочке связей: природа — жизнь — человек — общество — Земля — космос, вновь настаивает на том, что предметом морали должны стать "... наши отношения ко всему сущему. Подобная совершенная этика много проще и много глубже обычной. С ее помощью мы достигаем духовной связи со Вселенной" (An Dr. Willy A. Petritzkiy// Albert Schweitzer. Leben, Werk und Denken 1905–1965 mitgeteilt in seinen Briefen. Heidelberg, 1987, S. 307–308).

Основные постулаты философско-этического учения о благоговении перед жизнью Альберт Швейцер воплотил и успешно пытался реализовать в своей конкретной врачебной и общественной деятельности. Еще студентом он принял решение до тридцати лет работать на поприще науки и искусства, а, достигнув этого возраста, посвятить себя непосредственному служению людям. Окончив в 1899 году Страсбургский университет со степенью доктора философии, вскоре он стал и доктором теологии, а в 1911 г. защитил третью докторскую диссертацию по музыковедению. Труды Швейцера "Философия религии Канта" (1899), "От Реймаруса к Вреде. История изучения жизни Иисуса" (1906), "И. С. Бах" (1908) сделали его имя европейски известным. Еще большую известность молодой ученый приобрел концертными выступлениями как блестящий органист-виртуоз, глубокий интерпретатор музыки Баха. Специально для того, чтобы послушать игру Швейцера на старинном органе в одном из небольших храмов Эльзаса, Стефан Цвейг проделал многокилометровый путь. Позже он вспоминал, что при первых же звуках органа он почти потерял осознание реальности, а, очнувшись, ощутил на лице слезы радости и восхищения...

В 1912 г. Швейцер женился на Елене Бреслау, дочери профессора германской истории Гарри Бреслау, немецкого еврея. С приходом Гитлера к власти могила профессора Бреслау была поругана... В конце 30-х гг. И. Геббельс пригласил Швейцера выступить с концертами в Германии. Приглашение завершалось словами "С немецким приветом". Швейцер ответил резким отказом, подписав письмо: "С центральноафриканским приветом". Дело в том, что в 1905 г., как

только Швейцеру исполнилось тридцать лет, он решил поехать врачом в Африку и стал студентом медицинского факультета Сорбонны. В 1913 г. Швейцер защитил четвертую докторскую диссертацию "Психиатрическая оценка Иисуса: характеристика и критика" и стал доктором медицины. В том же году он с женой отплыли во Французскую Экваториальную Африку. Здесь, в небольшом поселке Ламбарене на берегу реки Огове, супруги Швейцер на свои личные средства основали первую в этих гиблых для европейцев местах больницу для африканцев. В Ламбарене Швейцер проработал более полувека, за исключением редких и коротких выездов в Европу и в США и насильственного интернирования в годы первой мировой войны.

В Ламбарене Альберт Швейцер в реальных, очень и очень непростых условиях африканской действительности конкретно попытался приложить на практике основные положения этики благоговения перед жизнью, изложенные в двухтомном труде "Культура и этика" (1923). Ежедневно общаясь с пациентами-африканцами, изучая их быт и нравы, Швейцер пришел к важному и, на наш взгляд, верному выводу — в своих фундаментальных потребностях, воззрениях и верованиях люди едины (Швейцер А. Письма из Ламбарене. Л., 1989, с. 95). Интернациональный коллектив врачей и сестер милосердия, добровольно приехавших на помощь доктору Швейцеру, представлял собой своеобразную миниатюрную модель человеческого сообщества. Немцы, французы, голландцы, японец, литовец, еврейка — все они, исповедующие христианство, иудаизм и буддизм, идеально согласовывали свои действия; с любовью и пониманием относились к страждущим и друг к другу; в кратчайшие сроки адаптировались к местным условиям жизни и обычаям. Уважая полезные обычаи и толерантно принимая вредные, они терпеливо разъясняли их нежелательные последствия. Успешная гуманистическая деятельность сообщества людей, смоделированного Швейцером в Ламбарене, подтверждает вывод современных ученых-генетиков о том, что в ходе эволюции в человека закладывалась потребность в стремлении к согласию и единству с другими людьми, которая при определенных условиях может позитивно реализоваться (Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики. СПб., 1995).

Естествоиспытатель и гуманитарий в одном лице, Альберт Швейцер одним из первых выступил с научно и нравственно обоснованным протестом против испытаний атомного оружия на поверхности Земли, в атмосфере и под водой. Голландский ученый Бенедикт Виннубст приводит впечатляющий перечень трудов физиков-атомщиков и биологов-генетиков, изученных Швейцером до того, как он обратился к главам держав, обладающих атомным оружием, с призывом прекратить эти испытания в трех сферах (Winnubst B. Das Friedens Denken Albert Schweitzers. Amsterdam, 1974, S. 47–53). Швейцер согласовывал свои усилия и действия с давним другом, еще с 20-х гг., Альбертом Эйнштейном. В 1953 г. Швейцеру была присуждена Нобелевская премия мира за 1952 год. Немалую роль в мирном завершении "Карибского кризиса" 1962 г. сыграл авторитет Альберта Швейцера, его обращения к конфликтующим сторонам (Cousins N. Albert Schweitzers Mission. Healing and Peace. New-York — London,

1985). В 1963 г. многолетняя борьба Швейцера за прекращение испытаний атомного оружия на поверхности Земли, в воздушном пространстве и под водой завершилась успехом — в августе, по инициативе Н. С. Хрущева и Д. Кеннеди, был подписан исторический Московский договор о запрещении испытаний атомного оружия в трех сферах. 6 августа 1963 г. Альберт Швейцер направил идентичные послания Д. Кеннеди и Н. Хрущеву, выразив надежду на то, что "война между Западом и Востоком с применением атомного оружия исключена" (Albert Schweitzer. *Leben, Werk und Denken...* Heidelberg, 1987, S. 327).

В 1957 г. скончалась Елена Швейцер-Бреслау. Прах ее покоится в Ламбарене. В январе 1965 г. весь мир отметил 90-летие со дня рождения Альберта Швейцера, который как ни в чем ни бывало продолжал врачебную практику в больнице и осуществлял неустанную деятельность в защиту мира. 4 сентября 1965 г. он спешил на пристань, чтобы отправить с уходящим в Европу пароходом письмо с протестом против войны во Вьетнаме своему последователю в США профессору Лайнусу Полингу, дважды лауреату Нобелевской премии. На обратном пути Швейцер почувствовал невероятную слабость. Вернувшись, прилег отдохнуть, попросил поставить на проигрыватель пластинку с музыкой И.С. Баха и уснул навсегда. Прах Альберта Швейцера захоронен рядом с могилой жены.

Больница в Ламбарене продолжает принимать пациентов. На ее основе создан первый в независимом государстве Габон экологический центр. Он носит имя Альберта Швейцера. Во многих странах мира образованы Швейцеровские общества, продолжают и сегодня выходить разнообразные издания этих обществ. Еще в 1956 г. в Японии вышло 20-томное собрание сочинений Швейцера. В Германии дважды издавался пятитомник его избранных произведений.

Сама жизнь Альберта Швейцера стала аргументом правоты его философско-этического учения. Достоинство уважения всеобщее признание редчайшего в наше время факта: слово мыслителя-гуманиста никогда не расходилось с делом.



Сливкина Элла — педагог, редактор, один из инициаторов издания Краткой еврейской энциклопедии (КЕЭ). С 1941 по 1963 гг. как "социально опасный элемент" дважды высылалась из Риги в Сибирь. Четыре го-

да училась в Латвийском гос. университете на филфаке, а завершила образование в Томском педагогическом институте. Репатрировалась из Риги в 1966 г. С 1972 по 2002 гг. заведовала редакцией КЕЭ, выходящей в Иерусалиме под эгидой Общества по исследованию еврейских общин в диаспоре. Одновременно с 1976 по 1986 гг. была редактором серии книг изд-ва "Библиотека-Алия". Автор ряда публикаций в местной печати. Живет в Иерусалиме.



Юниверг Леонид (1945) — книговед, библиограф, кандидат исторических наук. Опубликовал около 400 работ по истории книги и книжного де-

ла в специальных и научно-популярных изданиях СССР, Израиля и др. стран. Автор монографии "Издательский мир Иосифа Кнебея" (Иерусалим, 1997).

В Израиле — с 1990 г. С 1994 по 2003 гг. работал художественным редактором "Краткой еврейской энциклопедии" (на рус. яз.). С 1997 г. — основатель и директор издательства "Филобиблон". Живет в Иерусалиме.

Элла Сливкина, Леонид Юниверг

АННА ВИЛЬДИКАН — СПОДВИЖНИЦА АЛЬБЕРТА ШВЕЙЦЕРА

Мысленно я всегда представляю Вас в Ламбарене, в Адалинанонго, "которая возвышается над всем сущим" (так определял это место роль племени Галло)...

А. Вильдикан. Из письма к А. Швейцеру в связи с его 80-летием. 1955 г.

Оживить образ д-ра медицины Анны Вильдикан (1901 — 1987) для ее соотечественников в Латвии и Израиле, а также восстановить пройденный ею путь оказалось совсем не просто, хотя она прожила в Израиле с 1949 г. по 1987 г., вначале в Иерусалиме, а последние годы — в Хайфе, где и похоронена.

Долгая жизнь, насыщенная незаурядными событиями и незабываемыми встречами, выпала на долю Анны Вильдикан. И, безусловно, главным событием в ее жизни была 11-летняя совместная работа с великим гуманистом XX века Альбертом Швейцером. Врач-подвижник, ставшая со временем близким другом и соавтором "Великого Доктора", Анна Вильдикан пронесла эту дружбу через всю свою жизнь. Не случайно последнее письмо от 90-летнего Швейцера она получила за месяц до его смерти...

Впервые об Анне Вильдикан авторы статьи узнали из очерка петербуржца проф. В.А. Петрицкого "Она помогла взлететь пеликану", присланного в редак-



Латвийский заграничный паспорт Анны Вильдикан. Выдан 24 авг. 1939 г. в Риге.

цию альманаха "Иерусалимский библиофил" и увидевшего свет в марте 2003 года во 2-м выпуске альманаха. Автор очерка — известный российский философ и библиофил, крупный швейцеровед, опубликовавший немало книг и статей, посвященных "Великому Доктору". Именно этот очерк подвигнул авторов данной статьи на поиск материалов, связанных с Анной Вильдикан, а также людей, ее знавших.

Подводя итоги этих поисков, отметим, что в ивритоязычной и англоязычной прессе Израиля 50 — 70-х гг. было немало интересных публикаций (главным образом в жанре интервью), связанных с героиней этой статьи, но только в 1998 г. в израильском журнале "А-Рефуа" ("Медицина")¹, в разделе "Знаменитые люди", впервые появилась небольшая статья биографического характера об Анне Вильдикан, написанная ее родственниками-врачами, у которых оказался сосредоточен весь ее архив: документы, письма, книги, многочисленные фотографии, сделанные ею... Материалы архива, запечатлевшие жизненный путь Анны Вильдикан, — на пяти языках: немецком, французском, английском, русском и иврите. Они помогли нам зримо представить удивительного человека, который в первой половине своей жизни принял участие в не имевшем себе равных медицинском и общественном предприятии, а во второй половине, опираясь на свой многолетний европейский и африканский опыт, — посвятил себя становлению израильской детской ортопедии. Некоторые из материалов этого архива впервые приводятся в данной статье².

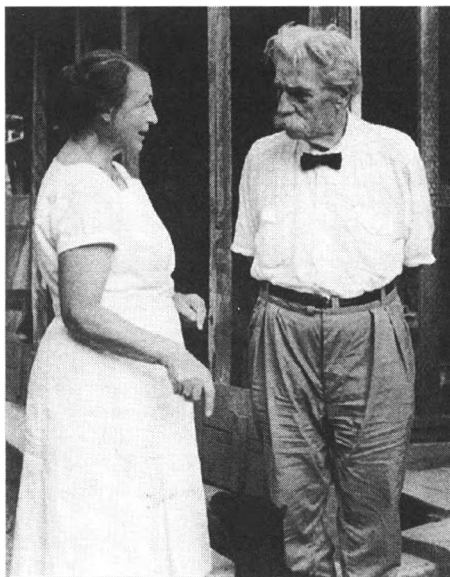
Анна Вильдикан родилась в Елгаве (по другим сведениям — в Дубултах, Россия, затем Латвия) 22 августа 1901 года. Ее отец — Исаак Вильдикан — из семьи литовских евреев, был учителем иврита, просвещенцем, известным литератором. Примером его взглядов может служить написанная им на иврите и изданная в Риге в 1925 году книга "Вечный спор между еврейством и христианством", где он критикует некоторые догматы христианства, опираясь на библейские источники. Мать — Ревекка (урожденная Левенсон) — из семьи врачей, была аку-

шеркой, а во время Первой мировой войны помогала фронту в качестве сестры милосердия. Анна, что вполне естественно, продолжила семейную традицию. Вначале она училась в русской Ломоносовской женской гимназии. С 1917 по 1920 год — в высшей школе для девочек, а затем в немецкой школе Лютера в Риге, которую закончила в 1921 году, получив аттестат зрелости. Зимой 1921–22 гг. Анна училась на медицинских курсах при Врачебном обществе в Риге, а осенью 1922 г. поступила на медицинский факультет Тюрингского университета в Йене — одного из немногих учебных заведений в Германии, принимавших иностранцев и евреев.

В 1925 г. Анна сдала предварительный врачебный экзамен. В последующие годы она несколько раз прерывала учебу из-за материальных трудностей, работая в это время учительницей и воспитательницей. Ее интересовали ортопедия и детские заболевания, а потому по завершении учебы темой своей магистерской диссертации она выбрала исследование болезни Пертеса. После сдачи экзаменов в 1930 г. на звание *Doctor rigorosum* она проходила специализацию в Гейдельбергском университете, где впервые встретила с доктором Альбертом Швейцером на одной из его лекций.

С 1 сентября 1931 г. по 25 апреля 1933 г. Анна Вильдикан работала врачом в Ортопедической клинике Гейдельбергского университета. Вследствие изменившейся политической обстановки в Германии Анна должна была прекратить эту деятельность. Благодаря помощи тогдашнего главврача клиники профессора Ханса фон Байера в июне 1933 г. она получила работу в частной клинике "Дом Итаки" в Веймаре в качестве домашнего врача. Но и эту работу она вынуждена была оставить в октябре 1933 г. под давлением тогдашнего нацистского ведомства по здравоохранению из-за своего еврейского происхождения. Анна в том же месяце вернулась в Ригу, где стала работать ассистенткой в отделении ортопедии и хирургии еврейского госпиталя. После годичного пребывания в родном городе она переехала осенью 1934 г. в Англию, в Лондон, где вторично встретила со Швейцером и приняла приглашение его жены, Елены Швейцер (дочери известного историка, профессора Берлинского ун-та Г. Бреслау; еврейки, принявшей лютеранство), присоединиться к коллективу врачей, работавших в госпитале Ламбарене (Габон, Французская Экваториальная Африка).

К тому времени д-р Альберт Швейцер (1875 — 1965) уже получил всемирное признание благодаря своей филантропической врачебной работе в Африке. Вдо-



Альберт Швейцер и Анна Вильдикан в Ламбарене. 1963 г.



Альберт Швейцер на строительстве нового здания близ госпиталя в Ламбарене. 1945 г. Фото А. Вильдикан.

бавок к этому он обладал большими познаниями в области философии, теологии и музыки (так, широко известна его монография о творчестве И.С. Баха, которая до сих пор является едва ли не лучшей книгой о композиторе). К началу 30-х гг. среди друзей Швейцера были многие виднейшие деятели науки и культуры, по достоинству оценившие его высокий гуманизм, в том числе Ромен Роллан, Стефан Цвейг, Альберт Эйнштейн... Последний, к примеру, так отзывался о своем давнем друге: "Я не знаю, есть ли другой человек, в котором так же идеально сочетались бы доброта и стремление к прекрасному, как у Альберта Швейцера". А Стефан Цвейг называл Швейцера "гением человечности". (Заметим попутно, что позже Швейцера обвиняли в избытке

влажности в отношениях со своими коллегами в госпитале. Но следует помнить, что он был в первую очередь человеком действия, и что не будучи в высшей степени уверенным в себе, не обладая силой воли и способностью руководить людьми, он не смог бы даже приступить к той задаче, которую поставил перед собой.)

Когда Альберт Швейцер прибыл в Габон (в 1913 г.), выяснилось, что африканцы были не готовы принять условия и дисциплину, введенные в госпиталях европейского типа. Поэтому Швейцер решил максимально приблизить жизнь в госпитале к жизни в африканской деревне. Он разрешил пациентам приводить с собой свои семьи и даже животных. Если сегодня африканцы более готовы доверять современным врачам и их методам лечения, то это, в немалой степени, благодаря творческому подходу д-ра Швейцера.

Итак, в апреле 1935 г. А. Вильдикан отплыла на корабле в Африку, где она проработала в качестве врача-волонтера — ассистента д-ра Швейцера — до января 1946 г. с двумя перерывами на отпуск. За это время вся ее семья в Риге погибла от рук нацистов. Послевоенная политическая обстановка в Латвии также повлияла на то, что ее родина оказалась для нее потерянной навсегда...

Работа Анны Вильдикан под руководством Швейцера охватывала многие области медицины, начиная с травматологии и ортопедии и кончая удалением зубов. Особое место тут занимала борьба с проказой и сонной болезнью, распространенными в странах Африки, и с другими тропическими болезнями. Приходилось бороться и с инфекциями, такими, как желтуха и некоторые другие, которые приводили к высокой смертности детей, лишенных прививок против этих "европейских" заболеваний.

Лечение прокаженных в Ламбарене стало событием в истории медицины. Основанный Швейцером госпиталь, в котором использовались новые методы лечения проказы, был единственным в этом огромном районе Африки, и пациенты прибывали туда из самых дальних мест, находившихся в сотнях километров от него.

Жизнь группы врачей, работавших в госпитале Швейцера, по необходимости проходила в условиях строгого контроля из-за сложных местных условий, требовавших постоянно носить головные уборы и принимать хинные таблетки против малярии. Сотрудники госпиталя обедали в общей столовой, как в кибуцах, и не получали зарплаты, за исключением покрытия необходимых расходов.

Европейцы, жившие и работавшие в бассейне реки Огове, в том числе в Ламбарене, где была открыта больница Швейцера, с большим трудом переносили жаркий и влажный климат тамошних мест. Вот что писал Швейцер в "Письмах из Ламбарене" по поводу самочувствия европейца, жившего в долине Огове: "Уже по прошествии года начинает сказываться переутомление и развивается малокровие. Спустя два-три года он уже неспособен к регулярной работе и старается вернуться по меньшей мере на восемь месяцев в Европу, для того чтобы поправить здоровье"³. Тем более удивляет подвиг самого "Великого Доктора", прожившего в Ламбарене более полувека, да и Анны Вильдикан, продержавшейся в таком климате дольше многих других врачей и медсестер-волонтеров! Ее выносливость и энергия поражали окружающих. В своем "Африканском дневнике" Швейцер, в частности, отметил, что доктор Анна Вильдикан занимается, главным образом, лечением большого числа больных, страдающих от кишечных паразитов⁴, а позже, после отъезда в отпуск главврача больницы Ладислава Гольдшмидта из Венгрии, он записал: "...доктор Анна Вильдикан... отвечала за всю больницу и положила на это много сил..."⁵

Все свое свободное время д-р Анна Вильдикан посвящала фотосъемкам с помощью своего аппарата "Лейка". За годы, проведенные в Африке, она сумела сделать тысячи фотографий интересных людей, красивых пейзажей и экзотических животных. Часть из них была использована в качестве иллюстраций к двум книгам Швейцера: "Дом в Джунглях" (Берн, 1948) и "Пеликан рассказывает о своей жизни" (в англий-



Albert Schweitzer Anna Wildikann
EIN PELIKAN
erzählt aus seinem Leben

Суперобложка первого издания книги А. Швейцера и А. Вильдикан "Пеликан рассказывает о своей жизни" (Гамбург: Изд-во Ричарда Мейнера, 1950)

ском переводе — "История моего пеликана"). В первую из них вошло 32 снимка, а во вторую — 48. Все они весьма точно и художественно документировали жизнь персонала и пациентов госпиталя в Ламбарене под руководством "Беликого Доктора", постоянным спутником которого был его любимый пеликан. Впервые книга о пеликане вышла на немецком языке в 1950 г., а затем была переведена на многие языки и широко разошлась в разных странах⁶. Несмотря на то, что текст книги был написан Швейцером, в своем уведомлении от 20 февраля 1955 г. он назвал А. Вильдикан главным автором книги, передав ей авторские права на издание и переиздание этой книги на разных языках.

Швейцер заслужил полное доверие Пеликана — главного персонажа книги. Доктор никогда не забывал, что птиц, как и людей, нельзя лишать свободы, и он делал все возможное, чтобы вернуть пеликана к природным жизненным условиям. Европейская пресса называла эту книгу "классической историей животных, написанной в юмористическом стиле, пронизательно, порой сурово".

Приведем фрагмент из этой книги, относящийся непосредственно к Анне Вильдикан, фигурирующей в рассказе Пеликана под именем "фройляйн Доктор":

...Своеобразные отношения установились у меня с фройляйн Доктор. На самом деле она меня недолюбливает, но находит интересным. Я же, со своей стороны, отношусь более терпимо к ее вниманию, чем к назойливости других людей. Я долго не понимал, почему она все время следует за мной со своим черным ящичком. Но она сама себя выдала. Когда она как-то в очередной раз нагоядала мне таким вот образом, она сказала сопровождавшему ее белому: "Я сделала с него прелестные снимки". И мне стало ясно: она со своим черным ящичком сделала со мной то же самое, что с мальчиком Гома, который потом жаловался, что она украла его лицо. Я был для нее просто интересной моделью! Я почти что порвал с ней. Ог-нажды, вскоре после этого, я услышал, как она сказала одному белому: "Он любит, когда его снимают в интересных позах. Поэтому он и сидит, не двигаясь, этот тщеславный малый". Эти слова обидели меня до глубины души. Я не потому сидел не двигаясь и допускал ее подойти ко мне близко, что мне были интересны ее проделки с черным ящичком, а просто из вежливости — ведь она тоже принадлежит к числу близких Доктора.

[...] Я относился к ней с пониманием. Может быть, и она в конце концов научилась ценить меня больше? Кто знает, может быть она уже раскаивается в своих необдуманных словах и испытывает ко мне более теплые чувства?

Несомненно, она будет скучать по мне, когда уедет отсюда, и тогда она станет искать утешения в фотографиях. И мне будет не хватать ее, следующей за мной со своим черным ящичком⁷.

В 1938 г., после нескольких лет работы в госпитале, Анна Вильдикан вернулась в Ригу, к своим родным. Однако в конце следующего года она снова от-

кликнулась на приглашение д-ра Швейцера, предвидевшего грядущую Катастрофу. Так Анне Вильдикан удалось выехать из Европы и вернуться в Ламбарене, где она провела всю Вторую мировую войну, будучи в постоянной переписке с друзьями и коллегами, находившимися в разных уголках Европы: Амстердаме, Базеле, Бордо, Женеве, Риге, Стокгольме, Цюрихе и т. д. Письма писались на разных языках: французском, немецком, английском, русском. Они передают общую атмосферу времени и поднимают мучительные, особенно для еврейских адресатов, вопросы. Куда ехать — или оставаться на месте? Как выжить? Приведем фрагменты некоторых из них.

Вот выдержки из писем Ильзы, давней рижской подруги Анны, живущей в Амстердаме:

30 ноября 1939 г.

Милая Анна! Твоя открытка из Берлина действительно меня удивила. Но, с другой стороны, я очень рада, что тебе наконец-то удалось выехать из Риги и ты уже скоро доберешься до цели — Ламбарене. На этот раз прощание с Европой, наверное, будет для тебя нетрудным?!

[...] Как будут развиваться политические события — это большой вопрос. Впрочем, нет смысла жалеть о прошлом и изводить себя, занимаясь пророчествами насчет будущего. Что должно быть — будет, даже и без нашего участия, а Европе наверняка предстоят большие потрясения. Единственное, что остается — это "сносить неизбежное с достоинством". Ты во всяком случае можешь радоваться тому, что на некоторое время оставишь Европу за спиной [...]

7 мая 1940 г.⁸

[...] Что происходит в мире, ты знаешь. Одно разочарование за другим. Чем все это кончится? Я думаю, что на своей личной жизни можно поставить крест, нечего надеяться, что удастся построить ее так, как хотелось бы. Вихрь, наверное, подхватит и нас, и нужно будет радоваться, если мы останемся в живых. Со всякими развлечениями, как, например, поездками в отпуск в красивые места и прочими приятными вещами придется распрощаться. Быть может, мы все же доживем до более нормальных времен, когда будем старыми и седыми. Впрочем, у меня уже сейчас во множестве появляются седые волосы [...]

Сохранилась в архиве Анны Вильдикан и копия ее письма к сестре Наиме, остававшейся в Риге и вскоре погибшей...

10 февраля 1940 г.

Ламбарене,

Дорогая Наима, я не знаю, получишь ли ты это письмо. Я намеренно пишу тебе сегодня по-русски, чтобы узнать, пропускают ли такие письма. Все наши сестры в Швейцарии из Красного креста пишут письма на

немецком яз. и уверяют, что их пропускают. Конечно, поскольку Швейцария ближе к Франции, их прямо посылают воздушной почтой, в то время как письма, адресованные в Латвию, доставляются через Швецию и т.п. Позавчера я получила твою открытку на франц. языке. Большое спасибо! Это была первая весточка с тех пор, как я уехала из Риги. Получила ли ты мои открытки из Базеля, а также несколько открыток из Бордо? Это безумное положение в Европе сказывается не только на регулярности доставки почты. Здесь у нас не хватает сливочного масла и картофеля, это главные импортные продукты, очень мало бензина для (нрзб.), которые здесь как бы заменяют железные дороги. Иначе приходится перемещаться на "каноях" (= пирогах) туземцев. В настоящее время речной транспорт гораздо менее значителен, чем прежде, в связи с тем, что приходится экономить медикаменты, подвоз стал производиться довольно редко, не как это было раньше! И с деньгами! Потому что не видно, как продолжится эта несчастная война [...]

[...] Кроме того, я оставила у тебя (нрзб.) корзину-чемодан, где находятся пленки моих африканских фотографий. Сохрани их потому, что без них я не могу их напечатать, а в Базеле мне сделали очень интересное предложение с целью опубликовать мои снимки, и я хочу это сделать в будущем. Итак, я желаю тебе счастья. Пиши еще и поставь меня в известность о получении этого письма, которое я посылаю тебе через Швейцарию.

Целую тебя, привет! Аня.

В конце 1943 года, когда Анна почувствовала себя не вполне здоровой, она обратилась с письмом к губернатору Французской Экваториальной Африки г-ну Байарделю:

12 декабря 1943 г.

Господин Губернатор,
имею честь изложить Вам следующие факты.

Заболев весной текущего года, после более трех лет непрерывной службы в Габоне, я приехала в Браззавиль для проведения рентгеновского обследования. В результате произведенного рентгеновского обследования г-р Мустаргье предписал мне трехмесячный отдых в высокогорной местности до начала лечения, о чем свидетельствует прилагаемая справка. Он считает такое пребывание совершенно необходимым для восстановления моего здоровья.

Поскольку мне известно о материальных трудностях больницы Швейцера, фонды которой находятся в Европе, мне представляется невозможным просить его взять на себя расходы, связанные с таким отпуском. В то же время мое положение врача-добровольца, к сожалению, не позволяет мне взять эти расходы на себя. По этой причине я позволяю себе об-

ратиться к Вам с вопросом, возможно ли добиться, чтобы оплату этой поездки взяла на себя администрация.

... Напоминаю Вам, что я работаю врачом в Ламбарене с 1935 года и что мой последний отпуск, проведенный в Европе, состоялся в 1938–39 годах.

Примите заверения, Господин Губернатор, в моем глубоком уважении.

Д-р Анна Вильдикан

В 1944 г. Анна приехала в Палестину. В больнице "Хадасса" в Иерусалиме она перенесла тяжелую операцию. Она хотела остаться в Палестине, но британские власти ей этого не разрешили, и она вернулась в Ламбарене.

В 1946 г., по состоянию здоровья, Анне пришлось прекратить работу в госпитале д-ра Швейцера, и на сей раз ей удалось репатриироваться в Эрец-Исраэль по сертификату, полученному при посредничестве родственников-старожилов.

Переехав в Эрец-Исраэль, Анна Вильдикан вначале работала добровольцем с детьми-инвалидами в лагере нелегальных репатриантов в Атлите. Там ей удалось найти своих родственников, переживших Катастрофу, и воссоединить их с членами семьи, находившимися в стране. Затем она работала в Доме для детей-инвалидов в Иерусалиме. Таким образом, она вновь вернулась к своей прежней специальности врача-ортопеда. Однако для того, чтобы в будущем обосноваться и работать в Иерусалиме в этом качестве, Анне Вильдикан потребовалось пройти серьезную стажировку в Европе, для чего она выехала в Цюрих и предложила свои услуги поликлинике Балгрист.

Приводимая ниже справка из ортопедического отделения этой поликлиники как нельзя лучше характеризует отношение Анны к работе и отношение к ней ее коллег по службе и пациентов:

Цюрих, 31 мая 1949 г.

Д-р медицины Анна Вильдикан работала практиканткой в отделении Балгрист с 1 мая 1947 г. по 31 мая 1949 г. За это время она несколько раз замещала ассистентов нашей клиники на короткий или более длительный срок. В этой деятельности г-р Вильдикан проявила в полной мере свои, в высшей степени превосходные, знания по общей медицине и в области ортопедии. Пользуясь случаем, мы выражаем ей сердечную благодарность за ее готовность прийти на помощь как в мелких, так и в крупных делах.

Цельностью личности и тактичностью г-р Вильдикан завоевала всеобщую симпатию врачей, сестер, а также других членов персонала и, в первую очередь, — пациентов.

Мы желаем г-ру Вильдикан всего наилучшего в ее будущей деятельности.

Проф., г-р (подпись неразборчива)

С 1951 г. д-р Вильдикан работала в ортопедическом отделении больницы "Хадасса", курируя иерусалимские школы. Живя в Иерусалиме, она обошла едва ли

не каждый его уголок и окрестности, познакомилась с разнообразным населением "Вечного города". Потеряв всю семью в Катастрофе, Анна Вильдикан дорожила общением с местными родственниками, с которыми была близка до конца своих дней. Она поддерживала также постоянную связь с Альбертом Швейцером, причем не только через переписку, а и наезжая в Европу в то время, когда он бывал там по своим делам. В 1954 г., во время очередной такой встречи, совпавшей с церемонией вручения Швейцеру Нобелевской премии мира⁹, Анна Вильдикан, по инициативе "Великого Доктора", была официально приглашена организаторами церемонии участвовать в этом торжественном событии, сопровождая нобелевского лауреата. А вскоре, к его 80-летию, она послала ему из Иерусалима большое письмо в форме страничек воспоминаний о совместно прожитых в Ламбарене годах. "...Куда бы я ни обращала мои наилучшие пожелания Вам, — отмечает д-р Вильдикан, — мысленно я всегда представляю Вас в Ламбарене, в Адалинанонго, "которая возвышается над всем сущим" (так определял это место король племени Галоа)". В конце того же письма, благодаря Швейцера за переданный им многогранный опыт общения с местным населением, Анна Вильдикан пишет: "Так мы учились благоговейно относиться к жизни. Это помогло нам выстоять, будучи отрезанными от мира в годы войны".

Позже, в 1963 г., по приглашению Швейцера, она приехала в Ламбарене на празднование 50-летия со дня основания госпиталя. Последнее письмо с его фотографией Анна получила от него в августе 1965 г., вскоре после того как Швейцеру исполнилось 90 лет. Под фотографией подпись: "Докторессе Анне Вильдикан. Так я выгляжу в 90 лет. Сердечный привет! Альберт Швейцер". Это было за месяц до его смерти... Многие годы она продолжала переписку с людьми, хранившими, как и она, память о нем.

13 декабря 1965 г. в здании YMCA (Young Men Christian Association) в Иерусалиме состоялось торжественное заседание памяти д-ра Альберта Швейцера, в организации которого Анна Вильдикан приняла самое активное участие.

Приведем фрагмент из ее выступления на этом вечере:

"Дамы и господа! Мне выпала привилегия работать с доктором Альбертом Швейцером на протяжении многих лет. Я смогла посетить его снова в Ламбарене, к сожалению, в последний раз, по его личному приглашению два года назад, в связи с 50-летием создания его госпиталя в джунглях Африки. Наша переписка с ним продолжалась до последних недель его жизни, что также было для меня большой честью и счастьем.

Я должна признаться, что жизнь рядом с ним, работа под его руководством помогли мне приобрести необычайно драгоценный опыт. Он был удивительным, выдающимся человеком.

В последние несколько лет стало модным критиковать его, хотя на протяжении всех предшествующих лет им восхищался весь мир. Интересно отметить, что, несмотря на такую отдаленность его работы в африканских джунглях, вклад д-ра Альберта Швейцера в благополучие человечества, как в делах его, так и в его мыслях, был признан еще при его

жизни, и он был назван одним из великих людей нашего времени. Но местное население Габона узнало его гораздо раньше. Для них он был "Великий Доктор" или "Папа для нас".

Да, так это было...

Когда 52 года назад этот человек, который был так талантлив в науке и в музыке, имея все возможности сделать блистательную карьеру, покинул все и отправился в Габон — в те далекие уже времена было невозможно открывать для мира такие неразвитые страны. Но его глубокое чувство и страсть к облегчению человеческих страданий направили его в эту страну, где свирепствовали жестокие болезни и не было врачей.

[...] В Ламбарене он смог применить свои теории в реальной жизни и к конкретным случаям [...]"

И д-р Вильдикан продолжала рассказывать историю Швейцера с момента его прибытия в Ламбарене до его кончины...

Помимо нее, выступили с докладами музыковед Шабтай Петрушка и философ д-р Джеймс Росс. И конечно, вся церемония прощания с великим гуманистом, философом, врачом и музыкантом сопровождалась исполнением на органе его любимых произведений: "Трех хоральных прелюдий", "Partita in C Minor" и "Fantasia in C Major" Баха...

До конца жизни Анна Вильдикан поддерживала переписку с бывшими сослуживцами по больнице в Ламбарене, а во время своих частых поездок в Европу непременно старалась навестить их. Все они — бывшие соратники "Великого Доктора" — считали себя членами одной большой семьи и старались не порывать связей и после его кончины.

Наряду с профессиональной деятельностью в области медицины, д-р Вильдикан участвовала в культурной и научной жизни израильского общества, была известна в академических кругах, знакома с целым рядом руководителей государства. Она получала частые приглашения выступить с докладами о своей врачебной деятельности и впечатлениях, полученных во время ее работы в госпитале в Ламбарене. Ее выступления всегда сопровождались показом множества диапозитивов и фотографий. Статьи Анны Вильдикан часто публиковались в журнале "А-Рефуа" ("Медицина"). И конечно, ее не обходили вниманием журналисты, благодаря которым в ивритоязычной и англоязычной израильской прессе 1950 — 80-х гг. появилось немало публикаций о ней, в центре которых всегда был "Великий Доктор"... Так, в очерке Шломо Грабера "С Альбертом Швейцером в Ламбарене" приводится удивительный по лаконичности и точности ответ Анны Вильдикан на вопрос о личности Швейцера: "Прекрасный человек. Таких больше нет!"¹⁰

Думается, что и Швейцер высоко ценил "докторессу Вильдикан" (как он любил шутливо называть ее) не только за ее медицинские познания и готовность, вслед за ним, к самопожертвованию, но и за ее высокий интеллект и общую эрудицию. По словам людей, хорошо знавших и много общавшихся с Анной, она была необычайно интересным собеседником, с которым можно было гово-

рять на самые разные темы, включая насущные злободневные вопросы местной израильской жизни. А ее познания в области музыки давали ей возможность прокомментировать любой услышанный фрагмент музыкального произведения. В глазах друзей и знакомых она была "живым мостом", связующим прошлое с настоящим. В ее доме хранилось множество предметов искусства и разных африканских сувениров, тома книг на разных европейских языках заполняли книжные полки. У нее даже был свой собственный экслибрис, на котором художник изобразил мальчика-негритенка в окружении растений девственного леса Экваториальной Африки. А на письменном столе в ее скромной иерусалимской квартире всегда стоял сделанный ею фотопортрет Альберта Швейцера, играющего на органе, а рядом, в вазе — выращенные ею живые цветы...

Примечания

¹ Эйдельман Ш., Эйдельман А. Д-р Анна Вильдикан // А-Рефуа: Журнал Медицинской ассоциации Израиля. — 1998. — № 7-8 (Вып. 135). — С. 322 — 323. — (На иврите).

² Приносим благодарность переводчикам ряда документов с нем. яз. (И. Рубиной) и с фр. яз. (Л. Жданко), а также сотрудникам музея "Евреи Латвии" (Рига).

³ Швейцер А. Письма из Ламбарене. — М., 1978. — С. 11 — 12.

⁴ Швейцер А. Письма из Ламбарене. — Л., 1989. — 2-е изд., доп. и испр. — С. 326.

⁵ Там же. — С. 330.

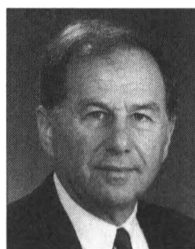
⁶ Подробнее об истории издания этой книги см.: Петрицкий В. "Она помогла взлететь пеликану" // Иерусалимский библиофил. Вып. 2. — Иерусалим, 2003. С. 48 — 56.

⁷ Перевод с немецкого Инны Рубиной. Полный текст книги в переводе И. Рубиной готовится к публикации в иерусалимском издательстве "Филобиблон".

⁸ Нападение Германии на Голландию началось 10 мая 1940 г. (примеч. переводчика).

⁹ Церемония вручения А. Швейцеру Нобелевской премии мира 1953 г. была перенесена на следующий год по его просьбе, т.к. он не мог покинуть Ламбарене из-за завершения очередного строительного проекта, связанного с местным госпиталем.

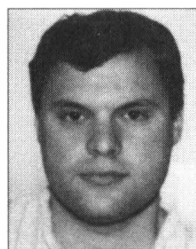
¹⁰ "Ха-Арец", 1957. 26 апр.



Амнон Рубинштейн (1931) — израильский ученый-правовед, политический и государственный деятель. Родился в семье выходцев из Польши. Докторскую степень получил в Лондонском университете

(1960). С 1968 г. — профессор юридического факультета Тель-Авивского университета.

В 1976 г. создал и возглавил движение Шинуй. Был членом правительства в 1984—87 гг. и в 1992—96 гг. Автор ряда книг по проблемам права и законодательства. Живет в Тель-Авиве.



Александр Якобсон (1959) — преподаватель древней истории на кафедре истории в Еврейском университете Иерусалима. Приехал с семьей в Израиль в 1973 г. Учился

в Еврейском университете. Первая степень — по истории и политологии, вторая и третья степень — по античной истории. Занимал должность политического советника министра просвещения Амнона Рубинштейна. Живет в Иерусалиме.

Александр Якобсон, Амнон Рубинштейн

“ИЛИ ЕВРЕЙСКОЕ, ИЛИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ”?

Еврейское и демократическое государство — есть ли здесь противоречие?

“Еврейское и демократическое [государство] — такого не бывает. Или оно “еврейское”, или демократическое. Это попытка обойти законы либеральной демократии с помощью избитого присловья: Израиль — случай особый. Израиль можно назвать демократической страной, большинство граждан которой в какой-то мере чувствует и осознает свою связь с еврейством, но любое иное толкование отрицает права арабского меньшинства”¹.

Эти слова Хаима Барама как нельзя лучше выражают суть упреков, которые в последние годы вызывает определение Израиля как еврейского государства — якобы абсолютно неправомерное с точки зрения демократии. Подобное определение, как утверждают, существенным образом противоречит “законам либеральной демократии”, универсальным законам, которые нельзя нарушать под предлогом того, что “случай Израиля исключителен”. Обратите внимание: именно либеральная “единица измерения” используется как критерий, согласно которому о еврейском государстве судят люди, чье отношение к западному либерализму и особенно к его склонности приписывать своим ценностям статус универсальности, как правило, весьма критическое. Слово “либерал” в устах этих людей в определенных обстоятельствах может звучать как презрительная клич-

¹ Главы из книги: 2003. שוקן, הרצאת “ישראל ומשפחת העמים”. אלכסנדר יעקובסון, אמנון רובינשטיין.

ка, но они готовы амнистировать либеральную демократию западного образца, если им кажется, что ею можно воспользоваться, чтобы "лягнуть" еврейское государство.

Но почему же все-таки еврейское государство противоречит принципам либеральной демократии? В самом ли деле универсальные демократические принципы требуют отрицания прав еврейского народа на самоопределение? Что универсального и демократического в точке зрения, согласно которой палестинский народ имеет право на собственное государство, а еврейский народ не имеет? Как подобная точка зрения уживается с лозунгом "два государства для двух народов"? Как можно требовать от Израиля соблюдения международных норм и в то же время отвергать понятие, которым пользовалось мировое сообщество, вынося решение о разделе, благодаря которому стало возможно создание Государства Израиль?

Отрицание правомочности определения Израиля как еврейского государства характерно не только для левых радикалов или представителей арабского меньшинства в Израиле. Значительная часть интеллигенции Израиля приняла эту точку зрения и выражает ее в своих публикациях в Израиле и за границей. Теория о принципиальном и неразрешимом противоречии между демократическими ценностями и определением Израиля в качестве еврейского государства в последние годы утверждается и поддерживается интеллектуалами в разных областях — социологии и обществоведении, юриспруденции и философии, географии и истории. В понятие "еврейское государство" вкладывается отрицательный смысл с далеко идущими выводами. Например, Дани Рабинович пишет:

*"Настоящая опасность [для Израиля] вытекает именно из приверженности Израиля к его национально-этническому самоопределению в качестве "еврейского государства". Эта одержимость увлекает общество и государство вниз по крутому склону, у подножия которого — дальнейшее угнетение на этнической почве, мрачный агрессивный синдром, уже названный "темной стороной демократии"*².

Итак, мать всех пороков, как считает автор статьи, — это определение Израиля в качестве "еврейского государства", а вовсе не та или иная политика, которую можно и нужно критиковать. Дани Рабинович призывает превратить "территориально-этнический проект" еврейского государства во "всеобъемлющую либеральную демократию". В той же статье он упоминает "естественную, само собой разумеющуюся солидарность с палестинским народом и его национально-освободительной борьбой" со стороны арабов — граждан Израиля. Отрадно сознавать, что хотя бы у одного из двух народов, проживающих на этой земле, есть, по мнению Д. Рабиновича, право на национальную независимость, — и он не против "территориально-этнического проекта" этого народа, даже если нет уверенности в том, что арабское палестинское государство будет являть собой идеальную либеральную демократию.

По мнению Шломо Занда, *"В самом определении государства как "еврейского" заключен элемент неравенства. Сомнительно, может ли нормальная либе-*

ральная демократия уживаться с ним в течение достаточно долгого времени. Конечно, в тех исторических условиях, что царили в 1948 году, три года спустя после Катастрофы, можно понять, почему Декларация независимости была сформулирована как декларация еврейского народа. Однако следует признать, что теперь, пятьдесят два года спустя, упрямая еврейская суть государства превратилась в анахронизм и представляет собой постоянную и опасную аномалию. Согласно этому определению, государство сегодня в большей степени принадлежит раввину-антисионисту из Нью-Йорка, нежели арабскому члену Кнессета, и даже больше, чем тому солдату-друзу, который погиб ... возле гробницы Иосифа"³.

Последнее утверждение направлено против выражения "государство еврейского народа", которое должно означать, что государство принадлежит всем евреям мира, даже если они не являются его гражданами, но не гражданам-неевреям. Но есть ли необходимость или потребность толковать таким образом выражения, цель которых — указать на то, что Израиль осуществляет право еврейского народа на собственное государство? Составители отчета UNSCOP (Специальной комиссии ООН по делам Палестины), выступавшие за раздел страны и создание еврейского государства, постановившие, что государство должно зиждиться на демократических принципах и гарантировать равные права арабскому меньшинству, предвидевшие рост еврейской иммиграции в эту страну, были бы, наверное, весьма удивлены, узнав, что понятие "еврейское государство" толкуется в таком антидемократическом смысле. Занда, правда, находит оправдание тому, что Израиль был создан как еврейское государство, но он объясняет это историческими причинами и упоминает в этой связи Катастрофу европейского еврейства. Как мы видели, некоторые из тех, кто поддерживал раздел страны на сессии ООН в 1947 году, действительно считали Катастрофу одной из важнейших причин, по которым евреи нуждались в собственном государстве (даже ценой раздела страны вопреки желанию большинства его граждан). Но составители отчета UNSCOP не приняли этого аргумента. По их мнению, оправдание создания еврейского государства (и арабского государства рядом с ним) содержалось в самом факте существования в подмандатной Палестине двух народов с ярко выраженными национальными характерами и противоположными национальными устремлениями. Оба народа, считали члены Комиссии, не смогут сотрудничать в рамках одного двунационального государства — в первую очередь, из-за разногласий по вопросу о дальнейшей иммиграции евреев в страну. Составители отчета, правда, учитывали бедственное положение евреев, переживших Катастрофу, в европейских лагерях перемещенных лиц и даже рекомендовали разрешить многим из них немедленный въезд в страну, еще до создания еврейского государства. Но они не ограничивали еврейскую иммиграцию только теми, кто пережил Катастрофу. Они считали иммиграцию закономерным национальным стремлением еврейского народа.

По мнению Занда, после того, как было создано государство, Израилу следовало бы постараться заменить еврейскую национальную идентификацию израильской, которая "могла бы включить в себя всех граждан, проживающих в пре-

делах страны". Израиль, согласно этому взгляду, должен был превратиться в государство для нового израильского народа, а не для еврейского народа. Такая точка зрения имеет право на существование, но следует сказать, что стремление израильских евреев сохранить свою национальную принадлежность и свою тесную связь с еврейством диаспоры не менее правомерно. В любом обществе можно вести спор об определении его национальной принадлежности, но можно ли сомневаться в наличии еврейской национальной принадлежности в Израиле? И Занд, хотя он предпочел бы, чтобы в Израиле возникла иная национальность, не может отрицать, что еврейская национальность в Израиле действительно существует. Но если она существует, значит, она легитимна: согласно современным принципам демократии, легитимность национальной самоидентификации вытекает из самого факта ее существования, и нет такого демократического принципа, который обязывал бы какое-либо общество изменить свою самоидентификацию. Поэтому не может быть также никакого демократического запрета на то, чтобы Израиль продолжал быть национальным государством народа, для осуществления права которого на независимость оно было создано. И еще: для того, чтобы возникла новая национальная принадлежность, общая для еврейского большинства и арабского меньшинства в стране, необходимо, чтобы арабы — а не только евреи — приняли новую национальную самоидентификацию как свою. Признаков такой готовности со стороны арабской общественности Израиля пока не наблюдается. С большой степенью вероятности можно предположить, что иная политика по отношению к арабским гражданам со стороны израильского истеблишмента могла бы привести к большей степени "израилизации" в их среде. Иные политические условия в этом регионе также могли бы этому способствовать. Но под "израилизацией" подразумевается усиление связи граждан со своей страной, а не отказ от собственной национальной сущности.

Ури Рам в журнале "Теория и критика", являющемся главной трибуной, с которой провозглашается данная точка зрения, излагает основные идеологические тенденции в израильском обществе с начала восьмидесятых годов:

*"Основной процесс, о котором идет речь, — это угасание центрального течения в израильской национальной культуре, классического сионизма, и усиление влияния двух иных течений, диаметрально противоположных друг другу, — этноцентрического неосионизма и космополитического постсионизма. Этот процесс можно уподобить развилке, где главная дорога расходится направо и налево, и, чтобы продолжать движение, необходимо выбрать одно из направлений. "Главная дорога" — это путь Рабочего движения, который в Декларации независимости нашел отражение в формуле "еврейского и демократического" государства. До восьмидесятых годов это принципиальное противоречие удавалось скрывать с помощью прагматического подхода, пропускавшего два параграфа, за который часть общества заплатила высокую цену. С начала восьмидесятых годов усиливаются трения, обязывающие к выбору между еврейским и демократическим государством. Суть неосионизма заключается в том, что он предпочитает еврейское государство, а постсионизма — в том, что он предпочитает государство демократическое"*⁴.

Точная формулировка — "еврейское демократическое государство" — в Декларации независимости отсутствует, официально она появилась впервые в Основных законах, которые были приняты в 1992 году. Но Ури Рам не ошибается, относя именно к Декларации независимости попытку сочетания "Израиля как еврейского государства" с "ценностями демократии". Здесь, по его утверждению, зарыто "принципиальное противоречие", с которым больше невозможно жить; необходимо сделать недвусмысленный выбор: либо еврейское, либо демократическое государство, потому что между двумя этими понятиями, по мнению Ури Рама, существует острый конфликт. Важно подчеркнуть, что в системе представлений тех, кто отрицает демократическую легитимность Израиля как еврейского государства, речь идет именно о существенном, неразрешимом противоречии с либеральными демократическими ценностями; а не просто о напряжении, которое зачастую существует между разными, но одинаково достойными понятиями.

Следует помнить, что противоречия между ценностями сами по себе не являются таким уж редким явлением и не свидетельствуют о том, что от одной из этих ценностей следует отказаться. Политическая жизнь в мире современной демократии в значительной степени проходит под сенью противоречия между свободой и равенством. Любому свободному обществу приходится выбирать между правами личности и общественной безопасностью. В области образования постоянно приходится выбирать между стремлением к равенству и установкой на эффективность обучения. Необходимость экономического развития также вступает в противоречие с необходимостью охраны окружающей среды, и это тоже один из характерных признаков современного общества. И между ценностями мультикультурализма и многими из ценностей современной либеральной демократии (как, например, равенство полов) порой есть немалое противоречие. В каждом из этих случаев, о которых мы говорим, возникают непростые дилеммы и вполне естественные споры между представителями различных точек зрения, каждая из которых делает акцент на разных ценностях. Но, несмотря на разногласия между, например, социалистами и либералами, спорящими о противоречиях между правами человека и общественным равенством, речь не идет о том, что кто-то не имеет права верить и в права человека, и в общественное равноправие, и что он должен выбирать одно из двух. Точно так же современный человек не должен "решать" или "выбирать" между многокультурностью и либеральной демократией. От него требуется лишь попытаться совместить две эти ценности и разрешить вытекающие отсюда проблемы.

С тем же основанием можно сказать, что между еврейским и демократическим характерами государства естественным образом возникают трения, порождающие дилеммы в практической жизни, но это не означает, что нужно выбирать либо отменять одно из двух. При этом следует помнить, как подчеркивает Рут Габизон, что *"еврейский характер Израиля отнюдь не предполагает отрицание или критику демократии. В существенном смысле он является естественным результатом того факта, что Израиль основан на демократических принципах"*⁵, поскольку характер и образ демократического государства обязательно отражают волю большинства. Те, кто во имя демократии категорически

отрицает легитимность Израиля как еврейского государства, не видят в праве еврейского народа на самоопределение ценности, важной и достойной быть поставленной в один ряд с другими ценностями, и не уважают демократическую волю большинства в стране. Правда, иногда права большинства в демократической стране следует ограничивать в целях защиты прав меньшинства. Но в данном случае речь идет, в сущности, не о защите прав меньшинства, согласно принятым в демократическом мире нормам, а об отрицании права еврейского народа на национальную независимость. Это отрицание само по себе ущемляет принцип равенства (а также принцип принятия решения демократическим большинством). Можно сказать, что между еврейским характером государства Израиль и демократическим принципом равенства нет коренных противоречий, хоть и существуют трения. В то время как между отрицанием легитимности Израиля как еврейского государства (то есть отрицанием права еврейского народа на свое государство) и демократическими принципами равенства существенные противоречия имеются.

Ури Рам отождествляет отрицание определения Израиля в качестве еврейского государства с постсионизмом. Можно предположить, что многие из тех, кто считают себя постсионистами, разделяют эту точку зрения⁶, но не все. Под вывеской постсионизма прячутся разные направления — все подчеркнуто критически относятся к израильской действительности и к истории сионизма, но не все изначально отрицают справедливость требований сионизма о создании государства для еврейского народа и не все отрицают легитимность еврейского государства. Так, например, Том Сегев пишет:

*"Вера в то, что можно объединить принципы демократии с еврейским характером государства Израиль, не подрывает основ. Но даже если возможно сохранить Израиль как государство "еврейское и демократическое", гораздо труднее сохранить его как государство "сионистское и демократическое". Это — ярко выраженная "постсионистская" проблема"*⁷.

Тут следовало бы напомнить, что целью сионизма было создание еврейского государства, а не сионистского; государство еврейское и демократическое — вот воплощение сионистской мечты. Слова Сегева были произнесены в связи с обсуждением приговора Кадану ("Дело Кадира"). В этом прецедентном приговоре Верховный суд не разрешил государству обойти запрет на дискриминацию граждан страны путем перевода земель в Керен Кайемер ле-Исраэль, которая является еврейско-сионистской организацией. Этот приговор доказывает, что нет никакого существенного противоречия между сионистской идеей, еврейским государством и демократическими принципами. Очевидно, Сегев отождествляет "сионистское государство" с государством, присваивающим статус, близкий к государственному, учреждениям сионистского движения, если он предполагает, что этот статус находится в противоречии с демократическими принципами. На самом деле, сомнительно, является ли вопрос статуса учреждения таким уж важным для еврейского характера страны, в соответствии с сионистской идеей. Но с точки зрения демократических завоеваний этот статус легитимен, если он призван отразить связь между страной и евреями диаспоры —

как многие демократические страны официально поддерживают связь со своей диаспорой, — и при условии, что государство не использует эти учреждения для дискриминации граждан.

Еврейское государство или государство всех граждан?

Барух Кимерлинг утверждает, что, несмотря на некоторые признаки многокультурности, развившиеся в израильском обществе в последние годы, подлинная многокультурность в Израиле невозможна, поскольку:

"Необходимое — хотя и недостаточное — условие возникновения мультикультурной идеологии и метакультуры, — это наличие либеральной демократии, а в Израиле по концептуальным причинам такой строй невозможен, пока государство обозначается как еврейское (причем иудаизм означает как национальность, так и религию, и государство не определяется как гражданское)"⁸.

Противоречие между еврейским государством и государством демократическим, по мнению Кимерлинга, является глубоким и неразрешимым. Нет сомнений, что в еврейской истории существует серьезная и прочная связь между религией и национальностью. Но это не обязательно означает, что современное национальное государство еврейского народа должно присваивать официальный статус еврейским религиозным учреждениям — эта тема вызывает острые разногласия среди еврейской общественности в Израиле. Более того, как уже говорилось, официальный статус религиозных учреждений сам по себе не противоречит принципам либеральной демократии западного образца, если равенство в религиозных вопросах гарантируется всем гражданам государства. В самой проблематичной с точки зрения прав человека области — взаимоотношений религии и государства в Израиле, — где существует монополия религиозных судов на решения о гражданском статусе (область, в которой состояние законодательства в стране явно противоречит общепринятым демократическим принципам) — официально признаются учреждения всех религий, и государство не дает никаких преимуществ именно еврейской религии⁹.

Что же касается утверждения Кимерлинга, будто Израиль "не определяется как гражданское государство", — эти слова часто произносятся теми, кто противопоставляет "еврейское государство" "государству всех граждан"¹⁰. Но чем, в сущности, оправдано подобное утверждение? Само выражение "государство всех граждан" не значит ни в одном официальном определении Государства Израиль, то же самое верно в отношении большинства других демократических стран. Но Основной закон и Законы о партиях определяют Израиль как "еврейское и демократическое государство". А что такое демократическое государство, если не государство всех его граждан? Ведь именно те, кто размахивают этой формулировкой — "государство всех граждан", — справедливо подчеркивают, что именно она выражает суть демократии. "Демократия" означает "власть народа", а данном случае "народ" означает общество граждан в целом, вне всякой связи с национальностью и происхождением. В Израиле власть действительно принадлежит гражданам страны, в том числе и арабскому меньшинству, она действует посредством учреждений, которые были избраны этими гражданами,

и только ими. Властелин страны — тот самый народ, который мы имеем в виду, когда говорим, что "Кнессет избран народом путем демократических выборов". Как подчеркивает канадский исследователь национального вопроса Уилл Кимлика, даже если граждане какой-либо страны считают себя не представителями одного народа с точки зрения национальной принадлежности, а людьми разных национальностей, "для определенных целей они могут считаться одним народом — народом в политическом и гражданском смысле"¹¹.

Выражение "государство еврейского народа", как мы видим, не означает, что представители еврейского народа, не являющиеся гражданами Израиля, участвуют в управлении страной — ни теоретически, ни практически. Определение Израиля как еврейского государства выражает демократическую волю еврейского большинства в сообществе граждан, а его моральное обоснование — право еврейского народа на самоопределение. Поэтому утверждение, будто официальное определение характера государства как еврейского противоречит демократическим принципам государства гражданского, не имеет оснований.

Понятно, что настоящая демократия не удовлетворяется наличием основных условий — таких, как всеобщее избирательное право, свободные выборы и политический суверенитет гражданского общества. Качество демократического строя зависит от длинного перечня дополнительных факторов. Высший Суд Справедливости постановил, что "ресурсы страны, будь то земли или денежные средства, а также другие богатства, принадлежат всем гражданам, и все граждане имеют право пользоваться ими по принципу равенства, без дискриминации по религиозным, расовым, национальным либо иным причинам". Относительно выражения "государство всех граждан" Суд постановил, что оно не противоречит тому, что Израиль является еврейским государством, поскольку "любое демократическое государство является, в существенном смысле, государством всех граждан"¹². Главенство принципа равенства в современном израильском суде ясно сформулировано Высшим Судом Справедливости:

*"Принцип равенства ... — душа демократии. Не только принцип "один человек — один голос" во время выборов, но равенство для всех в любое время. Истинный показатель принципа равенства заключается в отношении к меньшинству: религиозному, национальному, любому другому. Если у меньшинства нет равенства, у большинства нет демократии."*¹³

Если существуют — а они существуют, — недостатки в израильской демократии, с точки зрения воплощения принципа равенства в жизнь (явление, отнюдь не редкое при демократическом строе), можно сказать, что существуют недостатки и в реализации принципа "государство всех граждан".

Поскольку выражение "государство всех граждан" зачастую используется для оспаривания правомерности определения Израиля как государства, воплощающего право еврейского народа на самоопределение, попробуем поразмыслить над тем, что означает это выражение в стране, которая использовала его — редкий случай — в своем законодательстве. Мы имеем в виду Словению — демократическое государство, самое мирное и спокойное из тех, что прежде составляли Югославию, самое близкое из них по своим традициям к Западной Ев-

ропе. Присоединение этой страны к Европейскому Союзу подтверждает ее соответствие европейским демократическим стандартам; подписание ею Европейской Декларации прав человека подчинило ее юрисдикции европейского законодательства о правах человека. В 1992 году Особая проверочная комиссия Европейского Союза постановила, что Словения отвечает установленным Евросоюзом критериям дипломатического признания суверенитета бывшей Югославии, и в их числе — демократический режим и защита прав меньшинств¹⁴. Конституция Словении была принята в 1991 году. Третий параграф Конституции ("Самоопределение и суверенитет") гласит, что "Словения — государство всех ее граждан и зиждется на неотъемлемом праве словенского народа на самоопределение. Верховная власть в Словении принадлежит народу и граждане реализуют ее посредством референдумов и выборов".

Смысл определения — "словенский народ, имеющий право на самоопределение", — разъясняется следующим образом: вступительная статья к Конституции провозглашает, что "мы, словенцы, сформировали нашу национальную идентичность и пришли к независимости, основанной на защите прав и свобод человека, на коренном и незыблемом праве словенского народа на самоопределение и на результатах исторической борьбы, длившейся сотни лет, за свободу нашего народа". Пятый параграф Конституции ("Цели государства") гарантирует права граждан и нацменьшинств в Словении и подтверждает официальную связь со словенской диаспорой (главным образом в Италии, Австрии и Венгрии, а также в бывших югославских республиках):

*"На своей территории Словения будет защищать права граждан и основные свободы. Она гарантирует права итальянских и венгерских этнических общин. Она будет заботиться о благосостоянии словенских меньшинств в соседних странах, а также эмигрантов и словенских работников, поддерживать их связь с родиной... Словенцы, не имеющие словенского гражданства, получают особые права и привилегии в Словении. Характер и объем этих прав и привилегий будут определены законом"*¹⁵.

Разумеется, словенская национальность и словенское гражданство не тождественны. Политическая власть в республике принадлежит всем ее гражданам, без различия национальности, — их можно определить как "словенский народ". В то же время право на самоопределение, на котором зиждется (и ради которого создано) государство, — это право "словенского народа", у которого есть своя национальность, язык (параграф 11 гласит, что государственным языком является словенский, и только в местах, где проживают этнические меньшинства, итальянский и венгерский языки тоже считаются государственными), совместное историческое прошлое и борьба за независимость. У словенского народа есть национально-этническая диаспора, с которой государство Словения считает себя связанным и даже дает ее представителям особые права на своей территории, хотя они и не являются его гражданами. Однако более 10% населения страны принадлежат к различным меньшинствам, и параграф 61 гарантирует каждому гражданину право свободно идентифицировать себя со своей "национальной группой"¹⁶.

Связи со словенцами в других странах, о которых говорится в параграфе 5, осуществляются на практике: специальный правительственный департамент занимается делами "словенцев за рубежом", поддерживает связи со словенскими общинами и организациями в соседних странах и во всем мире, обеспечивает им материальную поддержку¹⁷. Закон Словении облегчает "иностранцам гражданам словенского происхождения" условия получения вида на жительство в стране и статуса "постоянного жителя" (параграфы 37 и 41 "Закона об иностранцах", принятого в 1999 году), хотя и не предоставляет им гражданства автоматически.

Та или иная степень разграничения между национальной принадлежностью и гражданством существует в любой стране, где есть официально признанные национальные меньшинства. Это разграничение становится более заметным, если имеется диаспора, с которой страна считает себя связанной. Такие случаи нередки. Сходным образом, власть в Израиле находится в руках всех граждан — "израильского народа"; и это при том, что государство было создано как выражение прав "народа Израиля" (то есть еврейского народа) на самоопределение и считает себя связанным с еврейской диаспорой во всем мире. Можно было, конечно, назвать государство Иудеей, а не Израилем (некоторые даже предлагали это в 1948 году) или наоборот, назвать еврейскую диаспору Израилем — ведь это, в конце концов, одно из исторических наименований еврейского народа¹⁸. В этом случае название государства, наименование национального большинства в стране и название национальной диаспоры оказались бы одинаковыми, как это принято в мире в подобных случаях; но суть дела от этого не изменилась бы. Израиль не отличается от иных государств, официально поддерживающих связи со своими соплеменниками за рубежом. Во всяком случае, пример Словении ясно показывает, что понятие "государство всех граждан" не противоречит наличию демократического национального государства, в котором существуют национальное большинство и национальное меньшинство, причем наименование государства, государственный язык и символика отражают национальную принадлежность большинства; при этом государство тесно связано с представителями нацбольшинства за границей. Такой порядок соответствует сегодняшним европейским стандартам демократии, прав человека и защиты прав нацменьшинств. Поскольку термин "государство всех граждан" в израильской политике последних лет отождествляется с попыткой отрицания статуса Израиля как реализации права еврейского народа на собственное государство, сомнительно, существует ли сегодня практическая возможность воспользоваться им для какого-либо официального определения характера государства. Но в принципе нет ничего порочного в "словенском варианте" или в подобной формулировке, подчеркивающей важность конституционного принципа равенства всех граждан.

Перевела с иврита Ирина Верник

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Х. Барам // Коль ха-Ир, 25.4.2001. Нечто похожее говорит член Кнессета Ахмед Тиби: "Наша формулировка такова: следует упразднить еврейский характер Государства Израиль [...] Невозможно произнести слова "демократическое государство" и "еврейское государство" на одном дыхании. Это либо еврейское государство, либо демократическое. Я готов удовлетвориться демократическим государством" (П. Кобдала. "Я соль земли" // Аль ха-Шарон, 9.4.1999, с. 57 – 59).

² Д. Рабинович. "Позовите нас, когда изменитесь" // Ха-Арец, 22.10.2001

³ Ш. Занд. "Кому принадлежит государство" // Ха-Арец, 10.10.2000.

⁴ У. Рам. "Память и самоидентификация: социология "дискуссии историков" в Израиле" // Теория и критика (Теория ве-Бикорет), 8, 1996, с. 9 – 32; цитата со с. 26.

⁵ Г.Р. Габизон. "Израиль как еврейское и демократическое государство..." Институт Ван Лир / А-Кибуц а-Меухад. 1999, с. 84.

⁶ Сочувственный обзор различных аспектов постсионизма — большинство голосов отрицают определение Израиля как еврейского государства и Закон о возвращении — см. в: L.J. Silberstein. The Postzionism Debates. Knowledge and Power in Israeli Culture. Routledge, New York and London, 1999.

⁷ Т. Сегев. "Новые сионисты" // Кетер, Иерусалим, 2001, с. 65.

⁸ Б. Кимерлинг, "Новые израильтяне: множество культур, но не многокультурность" // Альпайм, 16 (1998), с. 306.

⁹ Действительно, не вызывает сомнения, что политическая сила религиозных еврейских партий создает существующее положение в области определения гражданского статуса в Израиле. Но при этом нельзя не отметить, что значительная часть арабских членов Кнессета постоянно протестует — по своим религиозным и, возможно, национальным причинам — против предложений сократить полномочия религиозных судебных инстанций.

¹⁰ См., например, Сами Самоха "Режим в Государстве Израиль: гражданская демократия, не-демократия или этническая демократия?" // Израильская социология, т. 2, 2000, с. 570: "Израиль провозглашает себя, да и на деле является государством еврейского народа, а не государством для всех граждан".

¹¹ W. Kymlicka. "Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights". Clarendon Press, Oxford, 1995, p. 13.

¹² БАГАЦ, 1113/99, Юридический центр по правам арабского меньшинства в Израиле против Министерства религии, ת"פ (2) 164, с. 170, 172; Протоколы заседаний Кнессета, 6, с. 2035.

¹³ БАГАЦ, 6924/98, с. 10.

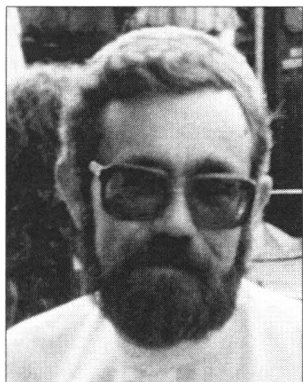
¹⁴ См. M. Danforth. "The Macedonian Conflict: Ethnic Nationalism in a Transnational World". Princeton University Press, Princeton, 1995, p. 149.

¹⁵ По сути дела, этнические меньшинства, чьи права признаются законом, представляют собой лишь небольшую часть всех граждан несловенского происхождения, большинство которых принадлежит к другим группам (главным образом, выходцам из других республик бывшей Югославии). Последние, согласно Конституции, тоже имеют право на равенство и на частичное участие в управлении государством, но не на признание их национальной идентичности (включая язык).

¹⁶ Государство Словения официально признает различные "национальные группы", но оставляет вопрос принадлежности к той или иной группе на усмотрение каждой отдельной личности. Нам представляется, что это похвальная норма демократии.

¹⁷ Что касается словенцев за рубежом, о которых говорится в параграфе 5, определение "словенские эмигранты и работники" в принципе может распространяться на граждан несловенского происхождения, которые эмигрировали или собираются эмигрировать из страны. Но "словенские меньшинства в соседних странах" явно означают общины этнических словенцев, большинство из которых оказалось за нынешними пределами страны вследствие изменения границ в двадцатом веке.

¹⁸ В Декларации независимости Израиля обычно используется выражение "еврейский народ", но там же упоминается "стремление поколений к возрождению Израиля".



Михаил Ривкин (1954) — раввин Консервативного движения. В Израиле с 1989 г. До репатриации — участник молодежных диссидентских групп в Москве, один из авторов и распространителей нелегальных журналов "Левый поворот" и "Перекресток", альманаха "Варианты". В 1982 г. арестован, осужден на 7 лет лагерей с последующей ссылкой. В лагере стал верующим иудеем. Религиозное образование получил в Израиле.

Член правления объединения "Свободный израильтянин". Член Всеизраильской лиги прав человека. Живет в Иерусалиме.

"Я ОБЫЧНО ИДУ ПО ЛИНИИ НАИБОЛЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ"

Интервью с раввином Михаилом Ривкиным

В 2004 году исполнилось 50 лет одному из отцов-основателей общества "Тез-на", бывшему узнику совести в СССР, израильскому общественному деятелю, раввину Консервативного движения Михаилу Ривкину. Редактор журнала Абрам Торпусман обратился к юбиляру с рядом вопросов.

А.Т. Михаил, мы знакомы и дружим уже немало лет. Не скрою, из всех моих знакомых Вы являетесь наиболее ярким образцом той человеческой породы, которую именуют (не убоюсь банальности) "людьми чести и долга". Полагаю, в связи с юбилеем Вы гдумали о своей жизни, удачах и потерях. Как бы Вы сформулировали свое жизненное кредо?

И еще — каждый из нас формируется сам по себе, но многое зависит и от межличностных контактов, от встреч, общения с людьми, мнение которых становится для нас важным, иногда — определяющим. Расскажите о людях, которые стали Вашей "референтной группой".

М.Р. Это верно, что я обычно иду по линии наибольшего сопротивления. По первому образованию я инженер. Так вот, в горном деле есть термин "линия наибольшего сопротивления". Берешься пройти породу — следуй строго по самой твердой и жесткой ее части. На практике это означает, что, следуя принципам, я выбираю тот путь, который наилучшим образом служит избранному делу, но для меня лично создает большие трудности. Таким образом я поступил, когда зимой 1982—1983 года в Московской прокуратуре отказался давать показания на бывших единомышленников, из организации которых я к тому времени уже вышел (взгляды пересмотрел). Следователь сказал: пойдешь под суд. Это означало (я знал) лагерь, а потом ссылку. Но у меня никаких сомнений не было. Возвращаясь мысленно к прошлому, убежден: с моей стороны все было правильно.

Что же касается встреч и "референтной группы", то состав ее менялся. Я и сегодня, случается, мысленно советуюсь с теми превосходными, высокой пробы людьми, которых не встретил бы, если бы не оказался в Барашевском лагере (Мордовия), а потом — в Чистопольской тюрьме (Татарстан). В январе 1984 г. в письме к маме и бабушке я писал: "Чем ближе знакомлюсь с новыми друзьями, тем яснее осознаю, насколько необходим был для меня визит в "места, не столь отдаленные". Без здешних знакомств я навсегда сохранил бы об окружающем мире ... неверное и одностороннее представление". Но жизнь дает не только встречи, но и расставания. Почти все, кого я назову, сегодня не со мной...

Первый, кто приходит на ум, — конечно, Виктор Александрович Некипелов. Он поэт, романтик в самом точном смысле слова. Глядя на него, я понял: физическая сила — не главное в человеке. Некипелов сидел в лагере второй срок, был хрупок и слаб. А к диссидентству пришел — благодаря своей тонкой, поэтической натуре. Романтическое отношение к жизни не изменяло ему никогда. Был рыцарски верен добру, компромиссов не признавал. Мы гуляли с ним по прогулочному дворику Чистопольской тюрьмы, и он читал свои стихи — изысканные, наполненные изощренной образностью и глубоким чувством. Но привлекала к нему не столько сила таланта, сколько искренность — полное соответствие жизни поэтическому идеалу. Вероятно, как и всем людям, ему было не чуждо чувство страха, но внешне это не проявлялось никак. Реакция Виктора Александровича на внешнее давление была всегда предсказуема, она была исполнена достоинства и благородства.

А.Т. Вы говорите о Вашем знакомом в прошедшем времени...

М.Р. К глубочайшему сожалению. Когда в 1987 году я встретил в Москве вернувшегося из лагеря Виктора Александровича, он меня не узнал — был тяжело болен. Не стану гадать, использовали ли против него психотропные средства, или просто годы тяжелых испытаний дали себя знать — прожил Виктор Александрович после освобождения недолго. Но те, кому посчастливилось быть рядом с ним, даже недолго, — навсегда сохраняют его образ как нравственный ориентир.

Еще одно имя — Вадим Анатольевич Янков. В отличие от провинциала (с Украины) Некипелова, Янков — человек столичный и университетский. В диссидентство его привели не столько чувства, сколько интеллектуальный поиск. Он преподавал математику в педагогическом институте. Меня поразила фантастическая эрудиция Вадима Анатольевича в гуманитарной сфере. Нет такой философской школы, которую он бы не проработал глубоко и основательно. Цитировал (наизусть, разумеется) не только Евангелие, но и "Бхагават-Гиту" — индийский трактат. Педагог гениальный. Если ему задают вопрос, отвечает серией встречных вопросов, и тот, кто начал обсуждение, сам потом формулирует ответ на свой вопрос. (Платон то же рассказывал о методе Сократа.) Кто оказывается в окружении Янкова, быстро приходит к выводу: только прямой и самостоятельный контакт с текстами позволяет войти в гуманитарные дисциплины.

В отличие от Некипелова, Вадим Анатольевич не шел на конфликт с властями, зато всегда помогал гонимым. В диссидентских крутах он оказался в 1956-м.



Слева направо: жена Вагима Янкова, Михаил Ривкин, Алексей Зеркальцев, Вагим Янков.

По мере того, как режим ужесточался, Янков перемещался с периферии движения в центр; в 1982-м был арестован...

Сегодня Янков пишет серию книг по истории философских идей. Для него философия — единая книга, объединенная целостностью содержания. Этим содержанием, убежден Вадим Анатольевич, является Божественное откровение, которое знает подьемы и спады....

Продолжая разговор о "моральных авторитетах", не могу не упомянуть и Евгения Михайловича Анцупова. Он был истинный диссидент, широкая натура. Как-то меня поместили в его камеру после голодовки, очень слабого. В течение нескольких дней Евгений Михайлович большую часть своих скуднейших паек отдавал мне. Помог выжить. Физически он очень крепок. Держался стойко, по принципу "На миру и смерть красна". Но — не чужд позы, был глубоко убежден в собственном величии, в своей миссии, то есть воплощал не только лучшие качества диссидентского движения, но и теньевую его сторону.

Глубокое впечатление произвела на меня — узника ГУЛАГА — и личность еврейского правозащитника Иосифа Бегуна, с которым я дружу донныне.

А.Т. Тут мы плавно перейдем к еврейской составляющей Вашего заключения, да и всей Вашей жизни. Насколько я знаю, до ареста Вы были настолько ассимилированы, что о еврействе знали всего ничего, а Ваше диссидентство носило абсолютно космополитический характер.

М.Р. Совершенно справедливо. Посадили меня за "еврокоммунизм". Мы обсуждали постсоветское развитие России, полагая, что советский режим в прин-

ципе обречен. Сроков мы не определяли, но для меня столь скорое падение империи стало неожиданностью — очень приятной. Однако в целом члены группы оказались правы. А ретроспективно я вижу, что были мы зачастую правы и в деталях, когда призывали сохранить некоторые позитивные стороны системы — бесплатное образование, здравоохранение, например. А вот о "еврейском вопросе" мы не думали вообще.

А.Т. А когда задумались?

М.Р. Как только я прибыл в лагерь Барашево (Мордовия, декабрь 1983-го), заключенные спросили: "Ты еврей, что ли?" Я ответил "Да", и меня тут же отправили в "землячество". Политические заключенные СССР, начиная с 40-х гг., делятся на национальные группы, где ведется самостоятельная культурная работа и оказывается взаимопомощь. В нашу группу входили Яша Нефедьев, Гриша Фельдман, Вадим Аренберг. Сионистом был только Аренберг. Ему довелось сидеть с Иосифом Менделевичем, и тот обучал Вадима основам иврита и иудаизма. Некоторое время Вадим сидел в Чистопольской тюрьме, встречался с Натаном Щаранским. Вадим посадил всех учить еврейскую азбуку, мы стали на субботу делать киддуш. Были у Вадима и пакетик с мацой (от Щаранского), а также листок с текстом и нотами "А-Тиквы". Яша по нотам воспроизвел мелодию, научил петь и нас. Мы пели, и весь лагерь слушал. Сшили себе кипы, стали их носить. К сентябрю 84-го это превратилось в систему. В Йом-Кипур того года я не вышел на работу и стал постоянно носить кипу. Тогда же перестал есть мясо, чтобы не нарушать кашрут. Ограничивался хлебом и кашей, что на голодном рационе чувствительно. Не выходил работать в субботу. С этого времени я еврей. Статус ухудшился — начались посадки в карцер, лишение свиданий, ларька и так далее. Потом устроили заседание суда, наказали — перевели в Чистопольскую тюрьму. Это было в феврале 1985-го.

Там суровей, чем в лагере, но субботу соблюдать стало легче — работали в камере, и можно было исхитриться сделать норму в другие дни, а в субботу только имитировать деятельность. Самое главное — в тюрьме я познакомился с Иосифом Бегуном, и это определило многое из того, что произошло потом. Бегуна доставили в Чистополь в начале сентября (это был его третий арест), он оказался в камере (сажали двоих в камеру) с азербайджанцем Алиевым, который считал себя жертвой политического преследования. Алиев сказал: "Здесь сидят еврей вроде тебя". Иосиф спросил, что это значит. Ответ: "Свинину не ест, читает листки с крючочками". Когда Иосифа перевели в другую камеру, он оставил у Алиева для меня еврейский молитвенник, правильно "вычислив", что к Алиеву переведут из карцера меня. Подарок невероятно меня обрадовал и согрел. Молитвенник отпечатали (до революции) с параллельным русским переводом, и я смог самообучаться ивриту. Прямого общения с Иосифом не было и не могло быть, но как-то, очутившись ненадолго в сопредельных камерах, мы полчаса "перестукивались" по трубе. Потом у нас была согласованная голодовка. С начала августа 1986-го года голодали Бегун и известный диссидент Анатолий Трифонович Марченко (который умер 10 декабря в результате этой голодовки),

а с середины августа — Анцупов и я. После 15 суток камеры в сентябре меня перевели в карцер (было уже холодно, а в карцере сидят в тоненьких рубашках, без бушлата и одеяла). 20 сентября я голодовку снял, меня привели в новую камеру, и я понял, что это камера Бегуна. Прежде всего я заметил, что к моему бушлату пришита петля, оторванная несколько месяцев (или лет?) назад. Потом в углах тумбочек для одежды нашлись записки, адресованные мне. Они очень подняли мой дух. Иосиф сообщал, что требует, чтобы нас поселили в одной камере. Самого Бегуна в камере не оказалось, он отбывал очередную карцерную отсидку. Среди бумаг были и старые израильские открытки. Одну из них помню, как сейчас. Люди в пальто, шляпах, подпись "Бульвар Ротшильда в Тель-Авиве". И вот в октябре 1986 года мы оказались в камере вместе.

А.Т. *Как это гопустили?*

М.Р. Время пришло. Одно из дуновений перестройки. Умер политзек Марк Морозов. Режим стал уступать позиции. Три дня мы были вместе. Непрерывно говорили. Масштаб личности Иосифа, о котором я догадывался и раньше, подтвердился. Он весь был поглощен еврейскими делами, борьбой за выезд, за развитие культуры. Я узнал много нового. Неожиданным открытием оказалось: я не еврей! Я всегда знал, что еврей, но не придавал этому ни малейшего значения. Слышал, что одна из моих бабушек была русской крестьянкой, но и это для меня ничего не значило. И вот теперь, когда я уже два года как утвердился в еврейском самосознании и даже подвергаюсь за это преследованию, Иосиф сказал: еврейский религиозный закон евреем меня "не держит", потому что русская бабушка — мамина мама. Видя мое разочарование и огорчение, Бегун меня успокоил: "Примешь гиюр. Постараюсь помочь". И сдержал слово.

30 октября — день политзаключенного. Я знал: выбора нет, надо участвовать в голодовке. Иосиф уговаривал на этот раз не голодать: разлучат. Он так долго требовал, чтобы нас поселили вместе, а теперь все рушится. Но сработал мой принцип наибольшего сопротивления. Вечером меня увели в карцер; вместе больше сидеть не довелось. Я не жалею. Мое еврейское и сионистское становление завершили тогда, в эти три дня.

А.Т. *Но Вы еще много учились еврейскому закону, раввин Ривкин.*

М.Р. После освобождения. В феврале 87-го меня вызвали к оперуполномоченному. Сказали: если напишу просьбу об освобождении, в которой обязуюсь впредь не нарушать советских законов, просьба будет тотчас удовлетворена. Я написал: прошу меня освободить, ибо я не нарушал законов и не буду их нарушать. К удивлению, "их" это устроило. Свобода!

С марта 1987-го я посещал московский кружок Баруха (Бориса) Бермана (благословенна его память) по изучению Торы. Барух был гениальным преподавателем, с абсолютным дидактическим слухом. Занятия проводил в форме диалога. Читает отрывок, потом задает вопросы. Вопросы очень острые, никто не уставал. Изучение он ставил на рациональную опору — привязывал Тору к обычному кругу наших понятий. Добивался, чтобы Тора стала частью нашего

мира. Это трудное искусство — задавать нужные вопросы. Считаю Бермана своим учителем в смысле содержания и метода.

Бегун инициировал мой гиюр. Гиюр я прошел в бейт-дине под председательством реб Гецеле, старого хабадника, помогал в решении этих вопросов Гриша Розенштейн, светлая ему память. Все необходимые формальности я прошел в Москве и в Иерусалиме, где мне очень помог Пинхас Полонский. Иерусалимский ортодоксальный раввинский суд поставил последнюю точку в этом деле. Это было в июне 1989-го, после моего "восхождения" в Израиль.

С мая 1989-го я стал учиться в ортодоксальной иешиве в Алон-Швуте, которой руководил Барух Берман; учился до конца ноября. Барух, к горю его учеников и друзей, погиб в автомобильной катастрофе.

А.Т. Известно, что от ортодоксального иудаизма Вы отошли. Как это произошло?

М.Р. Меня стали тяготить две проблемы. Первая: в Израиле я почувствовал, что волей-неволей становлюсь частью очень жесткой системы норм, кодов поведения, в принципе вовсе не регламентированных в сакральных источниках, но принятых в ортодоксальной общине. Казалось бы, например, что мои политические взгляды — личное дело, я должен лишь честно соблюдать моральные установления и обряды. Оказалось — нет, я обязан быть непременно сторонником "правого лагеря". Никакой самостоятельности!

Вторая проблема еще важнее. Будучи ортодоксом, я должен принять набор догматов, никакой критике не подвергаемых. Со мной вместе занимались взрослые люди, некоторые учились в университете. Один из сокурсников как-то сказал мне: "Я учил в университете, что крупнейший ученый-библейст Касуто по этому поводу рассуждал так-то и так-то; иначе, чем наш наставник. Но здесь я об этом говорить не буду". Я с ужасом понял, что вновь оказываюсь в обстановке оруэлловского двоемыслия, столь опротивевшего мне в СССР. И подумал тогда: а нельзя ли учить иудаизм так, чтобы иметь право научно исследовать Танах, чтобы думать и говорить, как ты мыслишь, а не так, как хочется наставникам?

По счастью, это оказалось возможным. С 1991 по 1995 год я учился в Институте Шехтера — иерусалимском филиале Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке, окончил институт, защитил звание раввина консервативной синагоги.

А.Т. Последний вопрос: не хотите ли обратиться к читателям нашего журнала с личным посланием как раввин? И позвольте пожелать Вам от имени "Тезны", от имени Ваших грузей и от себя счастья и удачи. Пятьдесят — это мало. До ста догадцати!

НЕСКОЛЬКО СЛОВ РАВВИНА МИХАИЛА РИВКИНА ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ ИСКАТЬ"

Недавно одна знакомая, увидев меня, сказала: "А, вот это тот самый раввин, который настоящий атеист". Я тут же поблагодарил ее за комплимент. Слова этой дамы подтвердили, что я в очередной раз пытаюсь двигаться по "линии наибольшего сопротивления". На сей раз, правда, в сфере теологической. Буквально на наших глазах нарождается совершенно новая модель религиозного сознания.

Классическая модель (общая, в сущности, для всех течений в иудаизме) всегда разделяла сферу мышления позитивно-научного и мышления религиозного. В первой сфере конститутивным элементом, тем, что, собственно, и делает мышление научным, является принцип общеобязательности. Законы физики и математики одинаковы для всех, кто эти законы в состоянии понять и ими оперировать. Для мышления религиозного характерна волюнтарность, свободный выбор верующего, причем не просто выбор между верой и неверием, а именно выбор одной из многих базисных когнитивно-ценностных моделей, к числу которых относятся и различные религиозные вероучения, и экзистенциализм, и атеизм. Никакой доказательности тут нет и быть не может. Сам феномен доказательности и сколь-нибудь обоснованная претензия на общеобязательность выводов начинаются с того момента, как выбор базисной модели уже сделан. Сколько бы ни толковал А. Мень о том, что дважды два — это дважды два и для русского, и для японца, едва ли "соотношение сил" между различными вероучениями хоть раз менялось в результате удачно построенной системы теологических аргументов.

Так вот, сегодня в иудаизме все течения, в качестве первичной основы понимания и описания мироздания, принимают эту модель. Научное мышление и религиозное сосуществуют в сознании, не смешиваясь, как вода и масло. Вопрос сводится к тому, "сколько масла и сколько воды". Для ультраортодоксов, например, такие сферы познания, как космогония, геология, эволюция жизни на Земле, законы общественного и исторического развития получают исчерпывающую интерпретацию именно в сфере мысли религиозной. Научные модели мышления либо просто игнорируются, либо сознательно искажаются и перевертываются до неузнаваемости, чему примеры "кодомания" и несколько беззастенчиво тенденциозных публикаций о "большом взрыве". Напротив, для реформистов и консерваторов не только все перечисленные вопросы, но даже и проблема времени и авторства ТАНАХа относятся к сфере позитивной науки, выводы которой просто-напросто "принимаются к сведению", без малейшей попытки их теологического и вообще религиозного осмысления. Для "либеральных" течений иудаизма смысл новаторства в иудаизме сводится к тому, что "религия должна не бороться с наукой, а отступать на заранее подготовленные позиции". Такими "позициями" становятся сфера нравственности, отношения человека к ближнему, с некоторыми социальными и политическими импликациями, в той или иной степени (особенно для консерваторов) сфера галахическая, пре-

жде всего — публично-ритуальная. Собственно теология по-настоящему интересна только тогда, когда она выходит на "магистральный путь" религиозного экзистенциализма (как у М. Бубера и Ф. Розенцвейга). В такой теологии нет места не только для проблематики онтологической и космологической, но даже и для куда более узких и специально еврейских проблем, таких, как катастрофичность и трагичность еврейской истории, связь Народа и Страны Израиля, богоданность Торы и ее конкретно-историческое происхождение, наконец, проблема широкой вариативности "еврейской мысли" и при этом наличие несомненных еврейских "инвариантов", безошибочно отличимых от любой другой религиозной модели. По отношению к этим проблемам либеральные теологи ведут себя зачастую, как герои известного скетча "Вампука", которые в течение четверти часа, сидя в удобных позах на сцене, твердят на разные голоса одну и ту же фразу: "Мы спешим, мы бежим, мы торопимся". Точно так же нам говорят без усталости о важности, об экзистенциальной ультимативности, о сегодняшней актуальности этих проблем, но в качестве окончательного вывода предлагают только стандартный набор риторических "политкорректных" оборотов, очень мало что говорящих "непосвященному", стремящемуся понять смысл своего существования в этом мире и найти ответы на свои сегодняшние вопросы.

Надо сказать, что ни одна догматическая религия не избежала этого характернейшего для Нового времени противоречия: "Зачем тебе вера, ведь ты же знаешь! Зачем мне знание, ведь я же верю!" Либо канонизированная вера, слегка припудренная квазизнанием, либо позитивно-критическое мышление, отдающее вежливую дань религиозной риторике. До недавнего времени и я находился в плену у такой дихотомии, склоняясь при этом именно ко второй модели.

Вместе с тем жажда принципиально нового, интегративного сознания сегодня заметна невооруженным глазом. Нельзя сказать, что ее не было раньше, именно она рождала всевозможные мистические, эзотерические, "неконвенциональные" религиозные течения, в иудаизме объединяемые условным, но достаточно однозначно понимаемым термином "каббала". Истинного религиозного мистика характеризует именно это стремление к интегративности сознания, надежда и упование вновь вобрать волшебным зеркалом своего Микрокосма весь Макрокосм без исключения, понять и интерпретировать его именно как целое, на основе всего того Нового знания, которое доступно человечеству "на сегодняшний день", свести воедино все то новое, что создано и запряжено "по сусекам" и религией, и искусством, и наукой, и историческим опытом человечества. Проблема в том, что "сегодняшний день" последний двух столетий — это прежде всего неудержимый рост научного знания, колоссальная свобода и спекулятивное изящество в сфере философской мысли, калейдоскопическая пестрота и фатальная катастрофичность в сфере общественно-политических практик. Поэтому и еврейская религиозная мистика сегодня выглядит безнадежно традиционной, беспомощной перед этими непрерывно совершающимися сдвигами в самых основах человеческого сознания. По сути, сегодня Каббала — одна из главных составляющих традиционного религиозно-дог-

матического мышления, противостоящего позитивно-научному, а вовсе не интегративная созидательная сила.

Многие сегодня чувствуют потребность в таком новом мышлении и так или иначе ощущают его "дуновения". Совсем недавно мне довелось познакомиться с несколькими людьми, которые подошли вплотную к порогу интегративного сознания, отталкиваясь от совершенно различных когнитивно-ценностных моделей: и от антропософии Штайнера, и от "Розы Мира" Даниила Андреева, и от этической философии Феликса Адлера. При всем видимом различии наших подходов, у нас, по крайней мере, есть некий общий язык, на котором мы в состоянии общаться.

Для Нового сознания характерна, прежде всего, открытость, стремление не убегать от непривычных научных подходов или общественных практик, а наоборот, искать и улавливать их повсюду. Образ Мира в Новом сознании растет, расширяется, дополняется все новыми измерениями и наполняется все новыми смыслами, избегая любой законченности и догматичности. Всякая попытка формализовать Новое сознание в форме тех или иных "догматов веры" неизбежно приведет к разрыву с его другими важнейшими аспектами.

Во-вторых, Новое сознание — сознание объемлюще-интегративное: в нем нет места дихотомии знания и веры, "науки" и "религии". Ни один позитивный факт, в принципе, не может оставаться вне сферы теологического, метафизического и метаисторического осмысления. Но это должно быть именно осмысление, а никоим образом не попытка втиснуть новые реальности в заранее заготовленные схемы.

Поэтому третьим признаком Нового сознания следует назвать его "сквозящий" характер: оно стремится, прежде всего, узреть и зафиксировать неискаженный, адекватный, насколько это возможно, образ физической, исторической, социальной, психологической реальности, и затем, именно "сквозь" эту неискаженную реальность, а отнюдь не "вместо" ее, рассмотреть некие более глубокие бытийные и духовные пласты. Проблема метода такого "сквозящего" и "прозревающего" усмотрения — проблема узловая для Нового сознания, но для журнального интервью она слишком сложна и деликатна, да и вообще такой метод едва ли можно вербально отобразить, это вопрос, прежде всего, определенной духовной практики. Скажем лишь, что "усмотреть" что-то можно только через чистое и прозрачное стекло, поэтому стремление к чистоте и строгости научного мышления не только не противоречит, но, напротив, является обязательной предпосылкой "сквозящего" сознания. Этим, кстати, оно кардинально отличается от "конвенциональной" мистики, излюбленным образом которой был образ мира, увиденного "сквозь мутное стекло".

Наконец, Новое сознание — это сознание просветленное. Оно целиком и полностью ориентировано на Свет и Добро и противостоит, во всех своих аспектах, как чисто мыслительных, так и практических, Тьме и Злу. Оно устремлено к Свету духовному с такой же степенью непреложности, как растения устремлены к свету физическому. Но подобно тому, как рост травинки к свету есть всегда движение прямолинейное, а рост дерева есть движение объемлющее, при

котором каждая веточка и каждый листочек стремится к свету, но путь каждой веточки особый, ни одна пространственно не совпадает с другой и не может точно повторить ее движение, — так же и интегративное сознание, в отличие от "конвенциональной" мистики, не ограничивает свой субъект параметрами той или иной "практики", "ритуала", "истинного знания", "правильной идеологии". Все пути и все практики приветствуются в той мере, в какой они отражают в себе некий частный аспект Добра и Истины, и при этом все без исключения осуждаются в меру их ограниченности, догматичности и зашоренности. Однако ни одна веточка дерева не растет вертикально вниз или даже по направлению, близкому к вертикально-нижнему. Точно так же Новое сознание безусловно и однозначно отвергает те пути и мыследеятельные модели, которые явно и несомненно направлены на увеличение зла, страдания и лжи в этом мире.

И тут пора вернуться к положению дел в сегодняшнем Израиле. С древнейших времен наша история протекает под знаком трагической дихотомии между двумя началами, которые в равной степени выражают Дух Израиля и его высшую Миссию. С одной стороны, это силы универсализма, через которые проявляют себя всемирное призвание и всечеловеческая идея Израиля; с другой стороны, это силы партикуляризма, через которые проявляют себя уникальность и особое слово Израиля. Нет ни одного раскола и спора, ни одного ключевого выбора и судьбоносного поворота в истории Израиля, через который не "сквозила" бы и не являла себя в нем эта дихотомия. Несомненно, что и сегодняшний спор "правых" и "левых" — очередной виток этого вечного противостояния. Миссия Нового сознания сегодня заключается в том, чтобы явить как общеобязательные, отразить в образах, смыслах и практике Истину и Свет каждой из сторон этого спора, и на базе этой явленной общезначимости "проинтегрировать" их и включить в некую "объемлющую" систему ценностей, методов и политических практик. На этом пути только и можно ожидать действительного, а не паллиативного решения всех тех острейших проблем, которыми омрачено наше сегодняшнее существование. Именно путь духовного поиска, а не путь ползучей политической эмпирики поможет нам также выйти и из тупиковой, по видимости, ситуации израильско-арабского противостояния.

Редакции представилась возможность дополнить беседу с Михаилом Ривкиным публикацией отрывка из вышедшей в Москве книги его родственницы О. С. Ривкиной "Пути неисповедимые".



Ольга Ривкина — литературный редактор. Проработала более 25 лет в Издательстве восточной литературы. Автор книги воспоминаний "Пути неисповедимые". Живет в Москве.

Ольга Ривкина

ПУТИ НЕИСПОВЕДИМЫЕ

(фрагмент из книги*)

"Правительственная" школа, куда я попала, занимала двухэтажное здание бывшей гимназии в Старопименовском переулке на улице Горького. Школа была небольшая, и учеников было значительно меньше, чем в моей прежней школе, в нашем (единственном) 10-м классе — около двадцати человек. Мое положение "новенькой" смягчало то, что меня "ввела" в класс Лена, которая имела в этой школе авторитет — была секретарем комсомольской организации, отличной ученицей и первой спортсменкой.

Некоторые знакомые спрашивали, не чувствую ли я себя "бедной родственницей" среди "правительственных" детей. Нет, вот этого я как раз не чувствовала. По счастью, в той среде, где я росла, социальному статусу человека не придавали значения ни в плане отношения к нему, ни в плане оценки его личности. Меня, как всегда, занимали люди сами по себе. Не особенно трогало меня и то, что одета я была хуже всех, — так как не было обуви, я ходила в ботинках от старых коньков, а платье мне сшили из хлопчатобумажной ткани цвета хаки, из которой шьют солдатские гимнастерки.

Что меня действительно озадачило, так это значительно более высокий уровень преподавания и соответственно требований к знаниям учеников, хотя моя прежняя школа была неплохая, а класс — лучший в той школе. Особенно трудно мне было еще и потому, что в 9-м классе в Пензе я проучилась лишь два месяца, а летний экстернат в Москве мало что дал. В нашем 10-м классе преобладали девочки, так как многие мальчики-старшеклассники ушли в военные училища.

* Ривкина О.С. Пути неисповедимые. — М.: Прогресс-Традиция, 2003.

Надо отдать справедливость учителям — они ничем не выделяли детей из "верхов", однако этих детей выделяло (а можно сказать — нивелировало) проступавшее на лицах осознание своего превосходства. И только один человек, который имел, казалось бы, больше всех оснований кичиться, отличался от этой касты "лица необщим выраженьем", был "личностью", никак не связанной со своим положением, — это Светлана Сталина.

Моя бабушка иногда говорила о ком-нибудь: у него "дорогое лицо", то есть лицо, богатое внутренним содержанием, и такое определение очень подходило Светлане. Скрамная, даже застенчивая, она как будто избегала лишних взглядов, но трудно было оторваться от ее лица. Мне она сразу показалась самой женственной из всех, кого я знала, и до сих пор я так считаю. Ее тихая походка, мягкие движения, грудной голос (который не изменился и всегда узнаваем и теперь, через столько лет, по телефону с другого конца света) чарующе сочетались с яркостью рыжих, золотого отлива волос и удивительным цветом бирюзово-зеленых глаз. А главное — совершенное отсутствие видимой связи с ее "великим" отцом и вообще с ее положением, которое она ни в грош не ставила, а скорее им тяготилась вместе со своей вызывающей дрожь фамилией и неотступно за ней следовавшим телохранителем.

Чем-то ее заинтересовала и я, она сказала Лене, что ей кажется, что такая девушка непременно должна писать стихи и ей так бы хотелось их почитать. Милой Светлане я охотно дала свою заветную тетрадь со стихами. Оказалось, мы обе исподтишка рассматривали друг друга, и, прочитав мои стихи, она в ответ написала свое стихотворение мне:

*На нее я смотрела подолгу не раз,
Пусть простит нагоедливость взгляда.
И загадка в печали задумчивых глаз
Говорила, что нет ей отрады.*

*Мне казалась она одинокой — никто
Не поймет ее горькие губы,
Ее локоны, руки, походку, лицо,
Ее тонкую — люди так грубы.*

*Я жалела ее оттого, что и я
Не могу объяснить себя людям,
Оттого, что и я так уныло одна
Со своими мечтами, не в буднях.*

*Сквозь стихи, как сквозь чистые слезы, глядя
В ее душу опять и опять,
Как ее не пойму, если так же и я
Тщетно жду мою милую мать.*

*Десять лет с нею вместе всегда — веселюсь,
Плачу, гугаю, слышу, живу,
И на строгий портрет, как Магонне, молюсь
И ее как богиню люблю.*

*И стихи о любви мне близки оттого,
Что я чувственность не примешаю
К светлой, ясной улыбке и ласке того,
Кого братом своим я считаю.*

*И ни горы, ни море родных мне краев
Не затмят васильков синеоких,
Я березы привет, русских нив колосков
Не отдам за все чуда Востока.*

*Милой девушке светлой, с глазами весны
Мне сказать захотелось немного
О себе и о том, как мне близко-ясны
Ее мысли, мечты и тревога.*

Вскоре мы со Светланой пересели за одну парту и так и просидели вместе сначала в десятом классе, а потом в университете, куда поступили после школы на исторический факультет.

У нас с ней была какая-то внутренняя совместимость, мы хорошо понимали друг друга. При всем различии условий быта похожим было пылкая любовь к матери, счастливое детство, омраченное потом смертью матери у нее, а у нас обеих изменением обстановки в доме, репрессиями, исчезновениями близких людей, нелегкими переживаниями отрочества и юности. Так и переплелись у нас обеих оптимистическое восприятие жизни и печально-мечтательный характер.

Мы, конечно, о многом говорили, но могли и подолгу молчать, возвращаясь из школы домой (у нас был общий маршрут — вниз по улице Горького). В одном месте своей книги "Только один год" под легко узнаваемым псевдонимом Светлана написала обо мне: "Пришла Аля, тихая и милая, как всегда". Забавно, но я сама себе такой не казалась, я Светлану считала тихой и милой. Мне кажется, у нас с ней какой-то одинаковый ритм, не случайно же после стольких лет разлуки мы продолжаем любить и понимать друг друга.

Пока я не узнала ее ближе, мне не приходило в голову, что ведь она бедняжка — ведь она сирота. Я знала, конечно, что мать ее умерла, но все же какой у нее отец! У нас дома не было культового поклонения Сталину, мама даже говорила (в своем кругу, конечно), что у него несимпатичное лицо, но все же это был великий вождь нашей великой страны. Оказалось, что Светлана воспринимала его почти так же, как все, — он был для нее в этом возрасте больше великий Сталин, нежели отец. А отцом к этому времени почти что и перестал быть,

по крайней мере, когда я ее узнала, она его даже видела очень редко. То время, когда она была маленькой девочкой, давно ушло, его занимало, как я теперь понимаю, только одно — политика, борьба за власть. Мы часто ходили гулять вдвоем или втроем с Леной, чаще по набережной у стен Кремля, но иногда Светлана спешила домой: "Как бы не опоздать, сегодня Пап придет — я его две недели не видела". Так и росла она и без матери, и почти без отца, не случайно написала она о себе в стихотворении: "...я так уныло одна..." Впрочем, это было внутреннее ее состояние, внешне она была "тихой и милой", а иногда оживленно-веселой и всегда неосознанно-пленительной.

Я не могу понять, не могу найти объяснения, почему люди, которые никогда ее не видели, говорят и пишут о ней всевозможные небылицы, и это при том, что она автор четырех автобиографических книг, из которых личность ее очень ясно вырисовывается. От тех, кто хоть немного знал Светлану, я не слышала ничего, кроме хорошего, о ней, а те, кто не был с ней знаком, пусть бы уж хоть прочитали ее книги, прежде чем выносить суждения. Как-то в передаче "Старая квартира", в связи с десятой годовщиной отъезда Светланы из СССР, Рой Медведев сообщил, что "Двадцать писем к другу" были написаны Андреем Синявскому, в то время как это даже не письма в прямом смысле слова, а написанная в эпистолярном жанре книга, которую убедил ее написать физикохимик Федор Федорович Волькенштейн и которую она ему поэтому адресовала, о чем есть ее собственное свидетельство. Затем Рой Медведев поведал, что в виде микрофильма эту книгу Светлана вывезла из СССР в урне с прахом своего мужа Брайерджа Сингха. Кому придет в голову засовывать что-либо в прах умершего! Зачем эти измышления, когда в своей книге Светлана сама рассказала, как из соображений безопасности переслала рукопись в Индию с другом своего мужа послом Каулем в январе 1966 года и получила ее от Кауля, уже находясь в Индии, после чего эта книга была издана в США.

Но всякие досужие вымыслы — пустяки по сравнению с прямой клеветой, которую можно было увидеть в газетах, журналах и даже в посвященных ей книгах. По счастью, в последнее время таких наветов поубавилось, однако серьезного понимания ее личности, профессиональной оценки ее литературного творчества как не было, так и нет. В мае 2003 года 1-й канал показал документальный сериал "Светлана Сталина. Побег из семьи". В фильме представлены документы, а также не всегда доброжелательные высказывания родственников и знакомых, и на основании этого зрителям предлагается психологический портрет Светланы. Передача претендует на объективность, но выбор свидетельств и тональность комментариев не подтверждают этого, да и надо ли вытаскивать на всеобщее обозрение частную жизнь человека потому лишь, что он имел несчастье родиться от знаменитого отца?

В самом деле, живет себе человек где-то в американской глубинке, никого не трогает, никому не мешает, так нет — откуда-то возникают психоаналитики из Федеральной службы охраны и так себе запросто берутся исследовать внутренний мир этой совершенно особенной, "очарованной", души. Единственное, что примиряет с передачей, — прекрасно подобранные фотографии Светланы и кад-

ры любительской съемки, благодаря которым люди увидели это "дорогое лицо", как говаривала моя бабушка, и ощутили прелесть ее душевного облика.

Светлана — личность исключительная не по своему несчастному родству с тираном, а по своему таланту, по тому достоинству, принципиальности и мужеству, с которыми она прожила свою жизнь. В одном из своих стихотворений к ней я писала о том, как она

*с достоинством и честью
проносит через бури жизни бремя,
возложенное Богом и людьми.*

Сколько людей, даже пройдя огонь и воду, не могут выдержать испытания медными трубами. Хотя бы брат ее Василий, оказавшийся не в состоянии вынести вседозволенности и угодничества, связанных с его "высоким" родством, и из-за этого загубивший свою жизнь. Светлана в своих исключительных жизненных обстоятельствах умела всегда оставаться самой собой. При жизни Сталина ее тяготило положение, как она это называла, "государственной собственности", она мечтала о "частной жизни" человека, отдельного от своего "великого" отца. После смерти Сталина многие думали, что ее ситуация ухудшится. Как раз наоборот. Я не говорю о ее дочерней горе — это естественно. Но с нее, как и со всех нас, свалилось бремя сталинско-бериевского режима, уменьшилась ее личная зависимость от "великого имени" и всего с этим связанного.

Что касается материальной стороны жизни, она человек скромных потребностей, в школе была скромно одета, избегала пользоваться машиной, отличаясь в этом от многих "кремлевских девочек". Впоследствии тихо жила со своими детьми, так же скромно одевала и их. В доме она умела создавать уют без роскоши, вообще обходилась без излишеств. Некоторые обращались к ней за помощью, думая, что она имеет большую власть. Она ее не имела, Сталин запретил ей просить или ходатайствовать за кого бы то ни было. Но она сама, будучи добрым, отзывчивым человеком, всегда старалась помочь чем могла. Об одной такой истории стоит рассказать.

Вместе с нами на истфаке училась Зина Моисеева. Эта замечательная девушка, фронтовая медсестра, вернулась к учебе после тяжелой контузии, вышла замуж за нашего однокурсника, родила дочку. И вот, когда мы учились на четвертом курсе, Зина внезапно заболела туберкулезным менингитом. Эта страшная болезнь практически не давала шанса на выживание, тем более что Зинино здоровье было подорвано контузией, нелегкой жизнью с новорожденным ребенком в условиях студенческого общежития. К счастью, к этому времени уже изобрели антибиотики, но счастье это было для западных стран, а в нашей стране почти недоступно. Светлана бросилась за помощью к академику Лине Штерн, с которой она была знакома. Лина Штерн могла помочь и помогла — Зине тут же стали вливать стрептомицин, и жизнь ее была спасена. К слову сказать, саму Лину Штерн, ученого с мировым именем, через год после этого арестовали, посадили в тюрьму, она не подписала ни одного лживого обвинения и вышла на свободу только после смерти Сталина.

Светлана состоялась как личность, и, наконец, она реализовала свой талант писателя. То там, то сям проскальзывают намеки, что ее книги за нее написал кто-то другой. У нас, правда, принято, что за знаменитых, но бесталанных политиков или кинозвезд пишут так называемые "литературные обработчики". Но такие утверждения о Светлане из той же области злобы, замешанной на зависти, которые преследуют ее всю жизнь. То вдруг в печати всплывают "сведения" о ее психической болезни, первым назвал ее "больным человеком" премьер Косыгин в 1967 году, и цель его была ясна — нейтрализовать впечатление от бегства Светланы из СССР, этого смелого поступка человека, сбросившего кремлевскую удавку. Много лет прошло, и опять можно встретить в печати такую же нелепость.

Еще в школьном стихотворении, которым Светлана ответила на мои стихи, есть строка: "Не могу объяснить себя людям". Прошла жизнь, написаны книги, ей удалось, мне кажется, объяснить себя людям.

Когда между нами после длительного перерыва, неизбежного в период "железного занавеса", наконец наладилась переписка, Светлана переслала мне краткое описание своего литературного творчества, как она его понимает. [...]

Очень жаль, что очевидные художественные достоинства произведений Светланы остались у нас неотмеченными вовсе. А вот Грэм Грин, к слову сказать, назвал ее вторую книгу "Только один год" книгой года (см. "Who is who" за 1968 г.), ее рассказ "Девяностый год рождения" был опубликован в сборнике "Люди" рядом с рассказами известных писателей Англии, ее книга "Далекая музыка" и другие изданы в нашей стране миллионными тиражами (данные Книжной палаты). Книги ее по своим художественным достоинствам давно должны были стать предметом литературоведения.

Но ни прекрасный язык, ни изысканная стилистика, ни сложные душевные переживания автора не смогли, по-видимому, перевесить излишний интерес к тому, что живет, мол, "кремлевская принцесса" на жалкую пенсию, якобы растратив неведомо куда свои миллионы. А между тем, значительная часть денег за первую ее книгу "Двадцать писем к другу" была помещена в Благотворительный фонд, на гонорар от этой книги Светлана построила больницу в Индии, затем, выйдя в Америке замуж, выкупила ферму своего мужа Питерса, многим помогала, впоследствии, после развода с Питерсом, она одна без какой-либо помощи воспитывала свою дочь Ольгу, платила за ее образование. Неудивительно, что деньги в конце концов кончились.

Книга "Далекая музыка" рассказывает о ее жизни в Америке и дает очень живое представление об этой стране. Эта книга, как и все, что написано Светланой, правдива, а раз правдива, значит, в ней нет присущего американцам убеждения, что "все американское — самое лучшее в мире". Американский патриотизм не мог перенести нелицеприятного описания "быта и нравов" этой страны, хотя при всем том чувствуется и любовь, и уважение автора к народу Америки. В результате в США "Далекая музыка" не была издана, ее небольшим тиражом издали в Индии.

ПЕРЕЕХАВ С ДОЧЕРЬЮ В АНГЛИЮ И ОСТАВИШИСЬ БЕЗ СРЕДСТВ, СВЕТЛАНА (МЕЖДУ ПРОЧИМ, КАК МНОГИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В НУЖДЕ) ПРОДАЛА ПРАВА НА БУДУЩЕЕ ИЗДАНИЕ

своих книг на русском языке издательству "Либерти" за ничтожную сумму — это было время, когда ее книги на русском языке издавались крошечными тиражами. Когда настало время "гласности", книги Светланы были изданы, как видим, очень большими тиражами, но деньги за их издание получил не автор, а купившее ее права издательство "Либерти".

В Англии изрядная безработица, и взрослая дочь Светланы должна была вернуться в Америку, где ей предложили работу. Через несколько лет Светлане, в ее пожилом возрасте и с подорванным здоровьем, пришлось поселиться в доме для престарелых. В своих письмах ко мне она никогда не жаловалась, писала, что многого ей не надо, что она живет с Богом, с книгами, с природой, перепивается с друзьями, что в этом — ее богатство.

Англия приняла ее со статусом писателя, через определенный срок предоставила ей гражданство, выплачивала маленькую пенсию. В то же время в нашей стране этот русский писатель за рубежом неизвестно за что подвергался нападкам.

К счастью, дочь ее Ольга наконец прочно устроилась в Америке и осенью 1997 года смогла взять мать к себе. Дай Бог, чтобы последние годы ее жизни прошли в тишине и спокойствии.

Я пишу обо всем этом так подробно, чтобы отвергнуть превратные представления о друге моем Светлане. Ее злополучный "государственный статус" совершенно задвинул в тень ее личный статус человека, мужественно преодолевшего и преклонение перед печатью рождения, и ненависть по той же причине, и сохранившего в сложных, а порою и очень трудных обстоятельствах жизни свою верность понятиям чести и достоинства.



Александр Этерман (1956) — экономический аналитик. В Израиле с 1985 г. Окончил Московский институт инженеров транспорта по специальности "прикладная математика". Автор многочисленных публикаций в израильской периодике. Живет в поселении Бейт-Эль.

А. Этерман

СЕКТОР НА БЕРЕГУ МОРЯ

(несколько слов об идеальном газе и стихийных бедствиях)

Если допустить на минуту, что между египетской и иорданской границами Израиля не предполагается никаких других границ, так что вся промежуточность суть единая и неделимая территория (как ее ни назови — Эрец Исраэль, Южная Сирия или Палестина), то у Газы есть серьезные основания претендовать на звание ее столицы. В самом деле, как ни крути — это крупнейший город между Каиром и Дамаском (куда там Тель-Авиву), вдобавок удобно расположенный на берегу моря и, по крайней мере в потенциале, превосходный порт. В Газе, самое меньшее, миллион жителей, в большинстве своем — молодежь, рабочая сила. Отмечу к тому же, что Газа невероятно древна, древнее Иерусалима, Хеврона или Дамаска. Заслуживает внимания и ее бесспорная культурная нейтральность. Ни евреи, ни арабы, вообще никто из ныне здравствующих не воспринимает Газу как святое место, религиозный центр, духовное отечество, да и вообще как отечество. Чем не компромиссная светская столица?

Легко видеть, что это рассуждение зиждется на непростых допущениях. Дело не только в сомнительном тезисе о единстве территории. Важнее другое — для большинства наших современников термин "Газа" справедливо подразумевает не столько огромный древний город с соответствующим названием, сколько небольшую административную территориальную единицу — "сектор" Газы (далее СГ), зажатый между Средиземным морем, египетским Синаем и израильским Негевом. Эта единица — не условная выдумка неуклюжих политологов. В благословенные времена, когда Ближний Восток справедливо рассматривался как геополитическое и культурное целое, когда сухопутный путь из Египта в Месопотамию и Анатолию был реальной, а не виртуальной трассой, соединявшей ве-

ликие державы и торговые центры, во времена египетского Нового царства, в период владычества Ассирии или Персии, в эпохи халифата, крестоносцев или британского мандата, сектор Газы имел огромное стратегическое значение — он был одновременно ключом и замком к этому пути. Новейшее время разомкнуло осмысленные и казавшиеся вечными связи. Караваны вышли из моды. В один прекрасный день прекратилось движение по железным дорогам, в частности, по трассе Бейрут — Каир, важнейшему ответвлению пресловутого Восточного экспресса. Заодно с рельсами заржавели недавно построенные нефтепроводы. Вообще, после ухода англичан в 1948 году все сухопутные пути с севера на юг через Левант закрылись, и СГ начисто утратил свою стратегическую ценность. Наоборот, он стал географическим и политическим тупиком, ловушкой, в которую ни в коем случае не рекомендуется попадать, бедой, до которой никому нет дела. Арабо-израильский конфликт наделил Газу новой судьбой — трагической и донельзя обидной. Он отнял у нее все то, на что она могла рассчитывать в силу своего средиземноморского местоположения и иных левантийских козырей. Он превратил Газу в призрак.

Занимаясь поиском филологических изюминок, пригодных для данной статьи, я вспомнил, что Стивен Дедалус, авторский голос в "Улиссе", назвал пышущий жизнью призрак злодейски умерщвленного короля Гамлета, источник всей опасной информации и, стало быть, всех бед в шекспировской пьесе, не иначе как *gaseous vertebrate*, "газообразным позвоночным" — ярчайший из возможных оксюморонов. Убитый по расчету алчущим власти и секса братом, лишившийся одновременно царства, сана и тела, король Гамлет упорно сохраняет былые видимость и характер, вовсе не такое уж бледное подобие того, чего лишился. Это "газообразное позвоночное" жаждет лишить соперника, короля Клавдия, свою преуспевающую ухудшенную копию, ухитрившуюся, в духе библейского стиха, "и убить, но и наследовать жертве", всего того, из-за чего копия пошла на преступление. При жизни короля Гамлета Клавдий — если верить мстительному принцу — был жалкой тенью брата. Эта тень зажила полноценной жизнью, лишь завладев одновременно короной и королевой. Следует ожидать, что святая месть поставит все на место, то есть вернет Клавдия в ничтожество. Когда месть совершится, он снова станет тенью, несравнимой в своей бесплотности с почти живыми и после смерти Гамлетами — отцом и сыном.

Для принца Гамлета, равно как и для втянутой им в опасную игру сравнения теней (на правах сексуального эксперта) королевы, месть — это восстановление естественной иерархии жизненностей, неважно, в том или этом мире. Это равновесие — все, о чем такой неудачник, как Гамлет, может мечтать. Потому-то он столь вдохновенно и рассуждает о том, что ждет человека после смерти, что не надеется стать королем. Единственное, в чем он не сомневается, — это что в равных условиях — мертвый против мертвого — отец шутя справится с дядей. От него требуется только создать корректные условия для состязания, то есть отправить Клавдия на тот свет. Все остальное отец сделает сам. Мало того, принц всерьез рассчитывает, что в мире теней сумеет взять реванш у победившего его при жизни (в борьбе за корону и любовь матери) дяди. Отсюда и спокойная го-

товность Гамлета к смерти, и странное желание оказать хотя бы символическое влияние на выбор будущего короля. Отдав голос за и без того верного кандидата, отказавшись от мысли о троне для себя или кого-то "своего" (отчего бы тут не обнаружиться его малолетнему сыну от Офелии), Гамлет перед смертью признает, что ему далеко до царственного "газообразного позвоночного". Он не король, он всего лишь вечный принц, и его тень будет только тенью принца. Гамлету остается утешаться тем, что он находится на правильной стороне.

А чем остается утешаться Газе?

Уже давно я держу на рабочем столе довольно большую карту СГ. Один взгляд на нее способен вогнать в депрессию и предостеречь от самонадеянности. Она служит мне примерно тем же, чем служили гвозди Рахметову, — предупреждением, переходящим в самоистязание.

СГ идет по почти идеальной диагонали с юго-запада на северо-восток. Его правую, северо-восточную часть занимает Город, раздавшийся, как опухоль, почти во всю ширину СГ, от моря до южной границы. Левую, юго-западную часть СГ занимает еврейский Гуш Катиф (далее — ГК). Площадь Города примерно равна площади ГК. В Городе живет миллион человек. В ГК — около шести тысяч.

Увы, даже с геометрической точки зрения мы эту карту еще не исчерпали. Между Городом и ГК располагаются два еврейских "топонима" — Нецарим и Кфар Даром, к югу от ГК находится еще один — Мораг, а к востоку от Города — еще три, Элей-Синай, Дугит и Нисанит. Непосредственно к ГК (с юга) примыкает арабский Хан-Юнес, а между Городом и ГК, еще точнее — между Нецарим и Кфар-Даром находятся неподалеку друг от друга Дир эль-Балах, Нусейрат, Бурейдж и Муайэзи. К востоку от Города, неподалеку от границы располагается Бейт-Ханун, тот самый, откуда террористы постреливают "Касамами" по соседнему Сдероту, находящемуся вне СГ. В упомянутых еврейских топонимах проживают по несколько десятков семей в каждом, всего чуть более тысячи человек. В арабских населенных пунктах, расположенных вне Города, живут около 300 тысяч человек. Собственно, в любой точке с арабским названием, нанесенной на карту, живет гораздо больше людей, чем во всех еврейских поселениях СГ вместе взятых.

Новейшая, она же реальная история Газы началась грустно — с отсоединения от Большой земли, неважно, египетской или израильской. Эта Большая земля сыграла по отношению к Газе роль компрачикоса, замуровав ее в политическом испанском сапоге. Однако трагедия Гуинплена, а лучше — деревца, посаженного в стеклянную банку, увы, не в том, что их члены жестко ограничены в пространстве. Малость пространства еще не беда — ведь болезненно сталкиваемся мы не с пространством, а с его границами. Настоящая беда состоит в том, что они — Гуинпен и деревце — растут!

Площадь СГ — 360 квадратных километров. Бессмысленно спорить о том, много это или мало. Смотря для чего.

В 1946 году в СГ жили всего несколько десятков тысяч человек. Разумеется, включая Город.

В ходе Войны за независимость население СГ более чем удвоилось за счет осевших здесь палестинских беженцев. По официальным данным, в 1949 году здесь жило 130 тысяч человек, с которыми Израиль без сожалений расстался, в первый раз выводя войска с Синайского полуострова.

В 1956 году, завоевав СГ во второй раз, мы не без удивления обнаружили там около 200 тысяч жителей. Поскольку об иммиграции не могло быть и речи, нам пришлось сделать вывод: в СГ почти небывалый естественный рост населения.

В 1967 году, к нашему немалому удивлению, в завоеванном в очередной раз СГ оказалось около 300 тысяч человек. Однако, как всегда, суть дела не в абсолютных числах, а в динамике, которую мы начисто проглядели.

Итак, население СГ удваивается каждые 16–18 лет. Между 1967 и 2004 годом оно, в точном соответствии с таблицей логарифмов, более чем учетверилось и составляет сейчас то ли 1,3, то ли 1,4 миллиона человек. О замедлении темпов роста этого населения нет и речи. Мы скоро поймем, почему. Стало быть, самое позднее, в 2015 году в СГ будут жить 2,5 миллиона человек — примерно столько же, сколько во всем Израиле в 1967 году¹.

Давайте присмотримся к этому демографическому пейзажу.

Израиль, несомненно, маленькое и изрядно перенаселенное государство. Территория, ограниченная "зеленой линией", иными словами, границей 1967 года, составляет 20,7 тысяч квадратных километров. Площадь завоеванных в 1967 году Голан — 1.158 кв. км, Газы — 360 кв. км, Иудеи и Самарии — 5.860 кв. км; стало быть, под израильским контролем находится ныне территория площадью 28.150 кв. км. Население собственно Израиля (включая "поселенцев", т.е. израильских граждан, живущих за "зеленой линией") составляет почти точно 7 миллионов человек; кроме того, в Иудее и Самарии живут примерно 2,7 миллиона арабов, а в Газе — еще, допустим, 1,3 миллиона. Стало быть, под израильским контролем живут сегодня примерно 11 миллионов человек, не считая иностранных рабочих и других более или менее временных жителей.

¹ Здесь уместно небольшое демографическое отступление. Существует легенда, утверждающая, что основная часть арабского населения правобережной Палестины, она же Эрец Исраэль, не является по-настоящему местной, что она иммигрировала сюда в двадцатом веке, в годы британского мандата. Давайте ее проверим.

Начнем с того, что в 1949 году в Израиле было примерно 150 тысяч арабов — граждан страны. Сегодня их приблизительно 1.200 тысяч. Это значит, что арабское население Израиля удваивается, в среднем, за 18-19 лет — чуть медленнее, чем население СГ, но тоже довольно быстро. Запомним этот коэффициент удвоения.

Согласно переписи 1918 года, на территории Палестины жили 57 тысяч евреев и 533 тысячи арабов. Поскольку скорость естественного прироста арабского населения была в первой половине двадцатого века никак не меньшей, нежели во второй, к 1937 году число арабов Палестины исключительно за счет "внутренних ресурсов" обязано было достичь миллиона, а еще через десять лет, то есть примерно к моменту образования Израиля — полутора миллионов. Но это число превышает, пусть ненамного, реальную численность арабского населения в 1948 году — 1.415 тысяч человек! Стало быть, ни о какой значительной арабской иммиграции в Палестину в период британского мандата не может быть и речи — скорее уж можно говорить об ограниченной эмиграции.

Стало быть, плотность населения "маленького" Израиля составляет сегодня 338 ($7.000.000 : 20.700 = 338$), а "большого" — 390 ($11.000.000 : 28.150 = 390$) человек на квадратный километр. Много, очень много, особенно если учесть, что большую часть территории Израиля занимает малонаселенная пустыня, так что 95% его населения проживают на площади в 10—12 тысяч кв. км. Однако в данный момент нас занимает другое. Плотность населения СГ составляет примерно 3.600 ($1.300.000 : 360 = 3.611$) человек на квадратный километр, то есть примерно в десять раз больше! Нет, тут нет никакой ошибки, все верно — просто в этом изолированном призрачном оазисе имеет место невиданный на земном шаре феномен. Демографический мыльный пузырь.

Если бы меня занимала политика, я бы принялся рассуждать о том, что еврейские поселения и ЦАХАЛ отняли у палестинцев половину воды и примерно треть территории и тем самым довели плотность населения СГ до 5.000 человек на квадратный километр. Благодарная тема — но в данном случае политика меня не занимает. Гораздо интереснее задаться вопросом о том, как и чем эти тысячи людей живут. Быть может, существуют объективные обстоятельства, экономические и социальные, поощряющие и объясняющие удивительную демографию СГ?

Пытаясь уловить логику жизни в СГ, мы сразу же сталкиваемся с пресловутым "газообразным позвоночным". Ибо этой логики в земном варианте не существует — она призрачна и, как дух короля Гамлета, злобна, красочна и активна. Да и как может быть иначе? Чем могут заниматься столько людей на крохотном и безнадежном с функциональной точки зрения клочке земли?

Расскажу очень интересную свежую историю. После теракта в Ашдоде (весной 2004 года) было принято решение прекратить крупномасштабное торговое сообщение с СГ. Это решение, естественно, привело к болезненным последствиям сельскохозяйственного толка. Однако характер этих последствий оказался совершенно неожиданным.

Следовало ожидать, что отчаявшимся крестьянам Газы придется уничтожать собранный урожай, терпя огромные убытки. Но нет — прямые убытки понесли не жители СГ, а израильские фермеры, в основном — северяне. Оказалось, что СГ — крупнейший импортер израильских фруктов. Его закрытие вынудило израильтян уничтожить тысячи тонн бананов, персиков и иной продукции. Одновременно цены на фрукты в Газе сильно поднялись.

Чем расплачиваются с нами нищие жители СГ? Чем они вообще занимаются?

Чем традиционно занимаются призраки? В общем-то, ничем — по крайней мере, в нашем профанном понимании. Действительно, согласно данным ООН, безработица в СГ составляет сейчас 75% — почти как в нашем харедимном секторе. С харедим все ясно — они живут за чужой счет. Но на них хотя бы распространяется наше социальное законодательство со всеми вытекающими отсюда пособиями. Но как можно жить в Газе, не работая?

Проще всего списать тотальное безделье в СГ на нынешний конфликт. Разумеется, это беспроницаемое рассуждение. Имевшее место в Газе сельское хо-

зяйство почти начисто ликвидировано. Немудрено: ЦАХАЛ сносит в последнее время цитрусовые сады тысячами дунамов, то есть квадратными километрами — более 3.000 дунамов в северной части СГ, где прячутся "касамщики", лишь за один июль! Фактическая невозможность свободно передвигаться между населенными пунктами исключает почти всякую прочую хозяйственную деятельность за исключением интернет-кафе. Но посмотрим правде в глаза — война всего лишь ухудшила положение в СГ, а не поставила все с ног на голову. Огромное население СГ и до войны работало не слишком усердно. Не по лености, а ввиду отсутствия адекватной его численности экономической инфраструктуры и подрыва инфраструктуры экологической. Да и немудрено: невозможно найти занятие для миллиона трехсот тысяч человек, находящихся на крошечном изолированном клочке земли, если не затопить его предварительно эффективными инвестициями в объеме, предположим, 50 миллиардов долларов, и не преодолеть его изоляцию, фактическую и ментальную. Нечего и пытаться.

Никто, собственно, и не пытается. СГ живет на международную гуманитарную помощь плюс мелкий местный бизнес и внутренние услуги. Живет довольно бедно (сейчас, во время войны, гораздо хуже, но это уже другая песня), но не голодает. На израильские бананы и персики низших сортов (фрукты получше идут на израильский рынок) здесь до сих пор хватает. Реалистические, автономные, самоподдерживающиеся модели существования давно оставлены и забыты — при такой плотности населения они нерелевантны и, главное, с каждым днем становятся все более нерелевантными. С другой стороны, здесь нет никакого смысла сдерживать рождаемость, развивать промышленность, вообще думать о будущем. Зачем? Газа давно находится по ту сторону разумного бытия. Гораздо разумнее вписаться в виртуальный, призрачный мир "газообразных беспозвоночных" — необычайно яркий и жестокий.

СГ, как подобает призраку, живет в отрыве от реальности. Стало быть, прагматические соображения здесь не работают. Никому не приходит в голову, например, прекратить загрязнение подземных вод или открыть завод по сборке автомобилей — зачем? Все равно это лишь капля в море. Газу можно спасти, лишь превратив ее в Гонконг, — но Гонконг существует в совершенно иных условиях. Газа никому не нужна, Гонконг нужен всем. В течение десятилетий огромный Китай общался с внешним миром через гонконгское дуло. В течение тех же десятилетий Газа была закрытым городом, отрезанным от внешнего мира.

Я обязан подчеркнуть — в Иудее и Самарии, на т.н. Западном берегу Иордана положение совершенно иное. В отличие от призрачной Газы, эти регионы совершенно реальны. Это не значит, что там все обстоит благополучно. Бедность, война, вполне заметная разруха, чрезмерно высокая рождаемость — все это налицо. Плотность населения здесь составляет $460 (2.700.000 : 5860 = 460)$ человек на квадратный километр или даже на несколько десятков больше, если считать еврейских поселенцев. Это много, очень много — но все же куда ближе к Израилю, чем к Газе. Более того, здесь можно отследить какую-то демографическую политику, скажем, связь между числом детей в семье и ее социально-экономическими обстоятельствами. На Западном берегу сейчас, в воен-

ное время, очень высокая (быть может, 35%-ная) безработица — но не тотальная незанятость, как в Газе. Там есть живая, хотя и относительно слабая промышленность, там думают о будущем. Иными словами, реалистический анализ положения в Иудее и Самарии приводит к совсем иным выводам, нежели взгляд на состояние дел в Газе. Поэтому вопрос о контроле над этими территориями и об уходе оттуда вполне может обсуждаться. Здесь есть смысл говорить о компромиссе, обмене территориями, населением, идеями. Здесь, несомненно, можно и нужно искать прагматически мыслящего партнера. Здесь, наконец, есть что делить и терять.

Газа, в отличие от живого иудео-самарийского тела, — не реальный объект, а призрак. Газа не материальна! Она не всегда была такой и, на мой взгляд, будет такой не всегда. Однако ее материализация — то бишь превращение в нормально функционирующее тело — не просто затруднительна, но совершенно невозможна при нынешнем состоянии дел. Жителям Газы, какая она есть, проще всего продолжать свое фантасмагорическое существование. Они, увы, не так уж жаждут перемен. И тут, естественно, встает вопрос об ответственности.

Газа живет в ненормальном режиме с 1949 года, фактически, столько же, сколько существует Израиль, около 55 лет. Мы управляем ею уже 37 лет — с 1967 года. Можно спорить о том, до какой степени мы несем ответственность за то, что происходило там до 1967 года. Бесспорно другое: мы приняли Газу в 1967 году в относительно здоровом состоянии, а сегодня она — фантом. Стало быть, она развалилась у нас на руках. Из этого, разумеется, не следует, что это мы ее развалили. Как хорошо понимали еще римляне, из отношения раньше — позже вовсе не обязательно вытекают отношения причинности. Да и по существу, без формальной логики — неверно и несправедливо было бы утверждать, что мы и только мы ответственны за деградацию СГ, за его нынешнее призрачное состояние. У нас есть замечательные партнеры — сами жители Газы, Египет и другие. Но отрицать огромную меру нашей ответственности бессмысленно: мы командуем Газой уже 37 лет, мы здесь господа, мы принимаем решения, без нашего одобрения здесь ни одна рыбацкая лодка не выходит в море. Если мы и не развалили Газу, то уж проглядели ее развал наверняка. Неизвестно, могли ли мы его предотвратить, но кроме нас никакая сила в мире не могла это сделать. Факт налицо: непосредственно под нашим контролем Газа превратилась в "газообразное позвоночное", утратила здоровые социальные, экономические и культурные рефлексy, стала самым ужасным местом в мире. Повторяю, даже если эта трансформация не входила в наши намерения, мы несем за нее огромную моральную и юридическую ответственность. К этому стоит добавить, что время, старательно разрушая Газу, с огромной эффективностью работает против нас. Проекция нынешней СГ в недалекое, лет на десять вперед, будущее сулит очевидную катастрофу. До тех пор, пока мы управляем Газой, мы в ответе за эту нехитрую экстраполяцию.

Спросим: что можно построить на песчаной почве Газы в такой непростой ситуации? Как решать проблемы "газообразных позвоночных"? Какие у нас опции?

Да все те же, датские.

В политической, социальной и экономической литературе мы постоянно сталкиваемся с т.н. "аргументами от истории". Звучат они следующим образом: тем-то нельзя доверять, ибо они тогда-то того-то обманули; такие-то на то-то и то-то не способны, ибо в таких-то ситуациях позорно провалились. Например: арабы никогда не примирятся с существованием Израиля, ибо в противном случае они в 1947 году согласились бы с планом раздела Палестины на два государства. Или: африканцы и мусульмане неспособны к демократии, ибо ни в одной принадлежащей им стране этот способ правления по сей день не привился. Или: США процветают лишь постольку, поскольку там господствует белая протестантская цивилизация. И так далее.

Такого рода прямолинейные (они неспроста так называются) рассуждения имеют смысл лишь в одном случае — если законы истории линейны и обратимы, то есть если исторический путь, пройденный от любой точки А в нынешние времена, при определенных условиях можно пройти обратно, еще вернее — если любую сцену, некогда разыгранную на исторических подмостках, можно воспроизвести еще раз. В таком случае герои и отношения, раз угодившие в историю, из нее окончательно не уходят, жизнь обратима, действительность воспроизводима и прошлое преследует нас до конца времен. В самом деле, раз ситуация, сложившаяся в 1947-1948 годах, всегда может вернуться во всей своей полноте, значит, еврейско-арабские отношения никогда не изменятся радикально и бесповоротно. Если для нынешних сирийцев демократия — лишь пародийный способ обеспечить власть династии Асадов, нет резона воспринимать всерьез будущий либеральный переворот в Сирии — ведь из любой будущей ситуации можно вернуться в нынешнюю, пародийную. С тем же успехом не стоит полагаться на всеобщее примирение западноевропейских стран — десятки и сотни войн прячутся в европейском сознании и все они, до единой, релевантны. Существуют реальные сценарии повторения Семилетней войны, Французской революции, не говоря уже о нацистских газовых камерах. В линейном мире история никогда не выгорает дотла.

Этот взгляд на историю — прямое следствие образования, которое мы получили. Правда, на уроках истории нам преподавали диалектику, начисто отрицающую социальную обратимость. Гораздо хуже обстояло дело на уроках физики. Там мы жили в линейно-неизменном мире. Законы природы имели метафизический, неизменный и всеобщий характер. Мы никогда не слышали необходимой и в научном, и в воспитательном плане фразы: наша физика имеет смысл лишь в присущем нам масштабе; мы не знаем, будет ли справедлив закон Кулона через пять миллиардов лет, равно как и исполняется ли он сегодня в межгалактическом масштабе. Нас окружали обратимые, линейные системы. Мы изучали идеальную гуковскую упругость, электромагнетизм, идеальный маятник, неизбежную ньютонову механику, бесспорно, наводившие на мысли об обратимости всего на свете, прежде всего — истории. Самую печальную, наглядную роль образовательной помехи играли законы поведения идеального газа.

О, этот идеальный газ! Всем идеалам идеал. Сколько бы ни рассказывали нам

об идеальной пружине, мы помнили, что если пружину много раз сжимать и разжимать, она сломается — стало быть, каждое из ее состояний неповторимо. Механика, которой мы забавлялись, явно пренебрегала трением и другими знакомыми нам соображениями. Но вот идеальный газ был действительно идеальным. Его можно было сжимать, разжимать, нагревать, остужать — и ничего особенного при этом не происходило. Любое его состояние было обратимо. У газа было три параметра — давление, объем и температура — и, манипулируя ими, можно было восстановить сколь угодно давнее его прошлое. Если бы нам попал в руки баллон с газом, переживший убийство Юлия Цезаря, мы бы без труда восстановили состояние газа в момент убийства — знать бы только температуру... Но если так — отчего не восстановить и все остальное, прежде всего — мотивы и психологию убийства? Отчего не обратить историю вспять?

Так — но ведь настоящий газ вовсе не идеален...

Учитывая это обстоятельство, вернемся к Газе, которая, увы, хотя и газообразна, тоже не идеальна. Мы позволяем себе рассуждать о ее будущем, предполагая, что в нашем распоряжении опции, которые были релевантны сорок, тридцать или двадцать лет назад. Однако сегодня они абсолютно нерелевантны уже потому, что невозможно обратить историю вспять. Сорока-, тридцати- и двадцатилетней давности положение в Газе невосстановимо. В 1967 или даже в 1977 году Газа еще не была призраком, она функционировала! Сегодня она функциональный труп. Представьте себе 90-летнего больного, утасаживаемого от десятка болезней, поддерживаемого жизнеобеспечивающей аппаратурой! Стоит ли советовать ему вести тот же образ жизни, что в сорокалетнем возрасте? Какой смысл цитировать пятидесятилетней давности историю болезни? Увы, здоровье утрачено им заодно с состоянием, в котором он им пользовался. Навсегда.

То, что происходит в Газе — настоящая катастрофа. Огромное количество людей стиснуто в самом тесном гетто в мире. Они утратили способность функционировать экономически и социально, перестали обращать на это внимание. Им практически безразлично, что будет с ними в линейном будущем. Через пятнадцать лет их число удвоится — ну и что? Жизнь в Газе станет вдвое (или вчетверо) более невозможной? А что это, собственно, значит — ведь она невозможна и сегодня?

Для нас проблема Газы состоит в том, что пока мы управляем ею, мы отвечаем за то, что в ней происходит. Пока мы там, никто другой не вытащит ее из опасного для всех болота. Стало быть, мы должны это сделать сами. Но как? Есть хоть одна идея? Увы, дело обстоит самым неблагоприятным образом: как раз мы-то и не можем вернуть Газу к нормальности, наши отношения с ней давно зашли в тупик. Стало быть, оставаясь в Газе, мы просто продолжаем сидеть на вулкане, который заведомо, наверняка, рассчитанным образом взорвется.

Повторюсь — ситуация в Иудее и Самарии совсем иная, и рассуждения о "газообразном позвоночном" к ним неприменимы. Можно быть прагматическим сторонником или противником возвращения к "зеленой линии" между Афулой и Беэр-Шевой, однако очень трудно представить себе не принадлежащего к секте самоубийц сторонника сохранения статус-кво в СГ. Историче-

ские, религиозные, политические и иные соображения, касающиеся Иудеи и Самарии, вполне могут стать темой серьезного обсуждения. В том, что касается Газы, имеет значение одно-единственное соображение: кто в состоянии спасти ее, прекратить нескончаемую системную катастрофу. Всем несостоятельным следует оттуда уйти.

Ничего особенно нового тут нет. СГ не может существовать в своем нынешнем виде. Стратегические аналитики (в том числе и работающие с нынешней канцелярией главы правительства) уже предлагали нечто вроде выхода: расширение СГ вглубь нашего Негева и/или египетского Синайского полуострова и активный выход в Средиземное море, словом, меры для обеспечения дорогостоящей функциональной нормализации сектора. По существу, речь шла о перекладывании тяжелой "газообразной" ноши на Египет. Израиль всерьез предлагал расплатиться с Египтом (за избавление от СГ) куском собственной пустыни Арава. Однако Египет не выразил ни малейшего энтузиазма и, собственно, правильно сделал. Его гораздо больше устраивает наше безнадежное сидение в Газе, заражающее нас "газообразным" синдромом. Однако египтяне не отклонили раз и навсегда эти аналитические наброски, скорее проекты, чем предложения, и уж точно не силовые игры, ибо реальной альтернативы им не существует. Другое дело — неясно, кому придется проводить их в жизнь. Египет прекрасно понимает, что мы можем навязать ему ответственность за судьбу Газы и сделать неизбежным осуществление территориальных и экономических реформ. Для этого нам достаточно оттуда уйти. Пока что само наше присутствие полностью оправдывает египетскую и международную пассивность. В самом деле, если Израиль хочет взорваться на "газообразном" вулкане — пусть он взрывается один.

* * *

Я хорошо понимаю, что идея "ухода" действует на многих из нас, как красная тряпка на быка. Ликвидация еврейских поселений легко может быть представлена как трансфер, как капитуляция перед Западом или перед террором, как прелюдия к уходу из Иудеи и Самарии, как все, что угодно. На мой взгляд, этот подход к делу просто не учитывает специфики СГ. Газу не стоит сравнивать ни с одним местом на свете — это настоящий источник бед, ад на земле, да простится мне это выражение.

Население еврейских поселений в СГ составляет семь с половиной тысяч человек. По здравым понятиям это одна большая деревня. Если угодно, село.

Если бы мы строили большую электростанцию и село с семитысячным населением не позволяло ввести ее в действие — разве мы не эвакуировали бы его с чистой совестью и уверенностью в своей правоте?

Если бы мы знали, что местный Везувий непременно взорвется и затопит лавой все окрестности, — разве мы не перенесли бы семитысячное село, выросшее у подножия вулкана, куда-нибудь подальше?

Если бы мы знали, что вот-вот произойдет страшное землетрясение с эпицентром в Нецарим — разве мы не эвакуировали бы это село немедленно без

всяких угрызений совести?

Почему, в таком случае, мы до сих пор находимся в Газе, оставляем там семитысячное село и целую дивизию, его охраняющую? Ведь то, что там происходит, не менее опасно и разрушительно, нежели землетрясение или извержение вулкана.

Предвкусая, что кое-кто из читателей возразит: землетрясение — это стихийное бедствие, с которым не поспоришь, а проблемы Газы — проблемы людские, столкновение интересов, с которым и поспорить можно, я развлеку его напоследок чудесной цитатой.

Как, наверное, помнят любители французской литературы, как-то раз д'Артаньяну пришлось эвакуировать королевскую семью и кардинала Мазарини из занятого фрондерами Парижа. Мазарини он вывез без особых проблем, но к моменту, когда дело дошло до короля и королевы-матери, противник пронюхал, в чем дело, окружил дворец и, ошибочно полагая, что король уже сбежал, потребовал предъявить его народу. Д'Артаньян и королева, разумеется, согласились. Вот что произошло далее. Привожу дословную цитату в сочном классическом переводе.

— Ла Порт, — сказал г'Артаньян, — возвестите народу... что его желание будет исполнено и что через пять минут они не только увидят короля, но увидят его в постели...

Юный король подошел к матери.

— Зачем исполнять то, чего требуют эти люди? — сказал он.

— Так наго, дитя мое, — сказала Анна Австрийская.

— Но ведь если мне говорят "так наго", значит, я больше не король? Королева онемела.

— Ваше величество, — обратился к нему г'Артаньян, — разрешите задать вам один вопрос.

Людовик XIV обернулся, удивленный, что с ним осмелились заговорить. Королева сжала руку мальчика.

— Говорите, — сказал он.

— Случалось ли вашему величеству, когда вы играли в парке Фонтенбло или во дворе Версальского дворца, увидеть вдруг, что небо покрылось тучами, и услышать раскаты грома?

— Да, конечно.

— Так вот, эти раскаты грома, как бы ни хотелось поиграть вашему величеству, говорили: "Ваше величество, наго идти домой".

— Конечно, так. Но ведь мне говорили, что гром — это голос божий.

— Прислушайтесь, ваше величество, к шуму народа, и вы поймете, что он очень похож на гром.

Увы, Газа тоже "очень похожа" на гром, наводнение, цунами, извержение вулкана, землетрясение, словом, на бедствие, при виде которого не рассуждают, а действуют. Религиозные люди скажут — голос божий. Но, в сущности, какая разница?

Эфраим Лави — полковник в отставке, защитил магистерскую диссертацию по политологии в Колледже национальной безопасности при Хайфском университете. Готовит докторскую диссертацию в Тель-Авивском университете на тему гражданского общества в Палестинской автономии.

Эфраим Лави

ДОРОЖНАЯ КАРТА: ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВМЕСТО ПРОТИВОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ НАРРАТИВОВ*

Для того, чтобы израильтяне и палестинцы смогли вернуться к столу переговоров на основе принятия "Дорожной карты", обе стороны должны глубоко проанализировать причины провала предыдущей попытки достичь постоянного урегулирования. Подобный анализ может способствовать открытию новой страницы в переговорном процессе, который был заморожен в январе 2001 года.

Еще с 1948 года существуют два резко противостоящих национальных нарратива, примирить которые очень трудно, и в этом — один из корней глубокого израильско-палестинского конфликта. Согласно национальному нарративу палестинцев, 1948 год символизирует историческую несправедливость: депортацию и утрату родной земли, и исправить ее можно лишь путем возвращения этой земли ее законным обладателям. В рамках израильско-сионистского нарратива 1948 год означает возрождение еврейского народа на своей родине. Каждый из этих нарративов использует подход "или мы — или они", что превращает конфликт в "игру с нулевой суммой". Соглашения Осло 1993 года были первой попыткой сторон разрешить конфликт на политической основе, а не на базе национальных нарративов, и достичь, таким образом, выигрыша для обеих сторон.

С тех пор, как были прекращены переговоры о постоянном урегулировании, остается существенный вопрос: что же в действительности побудило обе стороны, достигшие столь значительного прогресса, отклониться от поисков политического решения и сосредоточиться на несовместимых национальных нарративах, что и привело к результатам, далеким от ожиданий сторон? Ясно, что при попытке целостного анализа картины выявляется множество компонентов, как явных, так и скрытых. Некоторые из них можно понять с помощью психологического и культурного анализа, другие требуют личностного подхода к лидерам

* Статья опубликована по-английски в журнале *Palestine — Israel Journal*, v. 10, № 4, 2003

каждой из сторон, с точки зрения их политической ситуации, их способности принимать исторические решения, их личных свойств, самой их мотивации достичь соглашения. Все эти аспекты существенны в контексте публичных позиций, которые каждая из сторон представляет в процессе переговоров, однако они отражают также скрытые моменты, имеющие тактическое и даже манипулятивное значение.

Отметим тот интересный факт, что в результате серьезных усилий, приложенных сторонами ради достижения решения в духе "двух государств для двух народов", они, неожиданно для самих себя, очутились каждая на более экстремистских позициях. Они вернулись к тяжелейшим вопросам, возникшим в самом начале конфликта в 1948 году и связанным с жесткими национальными нарративами израильтян и палестинцев.

Настоящий анализ относится к двум аспектам проблемы:

1. Природа стратегических решений, принятых руководителями обеих сторон в отношении достижения соглашения.
2. Предположение, согласно которому за жесткими позициями, занятыми сторонами после переговоров — раньше они были более гибкими, — кроются не явные, а скрытые факторы.

Палестинская позиция: жизнеспособное государство в границах 1967 года

Палестинское руководство считает, что "трудные политические решения" в отношении конфликта с Израилем были приняты уже на заседании Палестинского национального совета в 1988 году. На этом заседании ООП согласилась с резолюцией 242 Совета Безопасности ООН, провозглашающей недопустимость приобретения территорий путем военной силы, после того, как в течение многих лет палестинцы отвергали эту резолюцию на том основании, что она игнорировала фундаментальные вопросы, связанные с войной 1948—49 годов. Итак, эта резолюция была принята, наряду с другими резолюциями ООН по палестинскому вопросу, и ООП сформулировала свою политическую позицию, проводившую четкое различие между вопросом о государстве в границах 1967 года, проблемой беженцев и "исторической несправедливостью 1948 года":

- два государства на основе Плана разделения ООН от 1947 года;
- палестинское государство в границах 1967 года, включая арабский Иерусалим, на основе резолюции 242 Совета Безопасности ООН, что предусматривает эвакуацию поселений и возвращение палестинцев, изгнанных с Западного берега и из полосы Газы;
- закрытие "комплекса проблем" 1948 года на основании резолюции 194 Совета Безопасности ООН, касающейся возвращения или устройства на новом месте беженцев, с финансовой компенсацией за утраченное имущество.

Принципиальное значение этих решений 1988 года заключается в том, что ООП впервые согласилась с резолюцией 242, признав тем самым Государство Израиль и проведя, таким образом, различие между "Родиной" (*аль-Уаттан*,

Палестина) и "Государством" (Доула, в границах 1967 года). Практическое значение этого состояло в том, что принятие резолюции 242 могло способствовать решению проблем, возникших в результате Шестидневной войны, на основе исторического решения палестинцев удовлетвориться меньшей частью бывшей Палестины (около 22%), чем то предусматривалось Планом разделения ООН в 1947 году. Указанные решения подверглись тогда (и подвергаются до сих пор) нападкам со стороны оппозиционных националистических и религиозных кругов.

Эти решения считались обязывающими с 1988 года и будут оставаться таковыми, пока соответствующие органы ООП не изменят их. Палестинцы ссылались на них в ходе Мадридской конференции (1991), переговоров в Осло (1993) и подтвердили их в процессе переговоров об окончательном урегулировании в 1999 — 2001 годах. Решения продолжают обязывать Арафата и все палестинское руководство и, очевидно, не подвергнутся изменениям к тому моменту, когда обе стороны достигнут третьей стадии осуществления Дорожной карты.

До заключения Соглашений Осло палестинское руководство полагало возможным достичь соглашения с Израилем относительно двух первых составляющих, т. е. создания государства и границ 1967 года. Оно отдавало себе отчет в том, что невозможно будет получить согласие Израиля на "право на возвращение". После Соглашений Осло палестинская позиция относительно окончательного урегулирования формулировалась следующим образом: создание суверенного государства в границах 1967 года на базе резолюции 242; суверенитет над арабской частью Иерусалима, включая Харам Аш-Шариф (Храмовую гору); "удовлетворительный ответ" на проблему беженцев — включающий признание со стороны Израиля принципа "права на возвращение" при ограниченном применении этого принципа. Известный документ Бейлина — Абу-Мазена (1995) подтвердил такую позицию, и она оставалась неизменной до завершающих стадий переговоров об окончательном урегулировании. Это создало на израильской стороне ощущение (или иллюзию), что можно прийти к удовлетворительному решению проблем 1967 года без того, чтобы "вязнуть" в проблемах 1948 года.

"Легитимация мирового сообщества" или "Справедливый компромисс"

Когда начались переговоры об окончательном урегулировании, скоро стало ясно, что согласованная база для них отсутствует. Должны ли быть резолюции ООН единственной базой этих переговоров, как того требовали палестинцы, или же компромисс и "справедливое решение, основанные на существующей ситуации, учитывающие соображения безопасности и реальность существования поселений, должны стать отправной точкой, как это предлагал Израиль? Подход палестинцев подразумевал, что целью переговоров должна быть реализация их прав, объективно вытекающих из того, что называют "легитимацией мирового сообщества", а не продукт асимметрии, существующей между палестинцами и Израилем. С другой стороны, израильский подход базировался на

создании баланса интересов, который сделал бы соглашение выгодным для каждой из сторон.

Таковы были два противоположных подхода, что привело к "коммуникативному провалу" и существенному затруднению переговоров. Это, в свою очередь, препятствовало смягчению противоречий — даже если достигался прогресс. Например, наблюдатели не могли понять, почему палестинцы не принимали предложений, которые с израильской стороны выглядели справедливыми и даже щедрыми, и почему они не выдвигали собственных предложений. Этому есть простое объяснение: с палестинской точки зрения "хорошим предложением" могло быть только такое, которое согласовалось с правами палестинцев, базирующимися на резолюциях ООН. Такой подход объясняет также, почему палестинцы отвергли идею формулирования рамочного соглашения — с их точки зрения резолюции ООН сами по себе образуют такое рамочное соглашение. Тем не менее, они выразили готовность к определенным поправкам, вытекающим из существующего положения, например: корректировка границ 1967 года, учитывающая поселенческие блоки; согласие с разделом Иерусалима по демографическому — а не географическому — принципу; готовность принять статус демилитаризованного государства; гибкость в трактовке и решении проблемы беженцев.

Качество стратегических решений, принимавшихся лидерами в перспективе окончательного соглашения

Изначальный стратегический выбор базы для переговоров лидерами обеих сторон ("легитимация мирового сообщества" и "справедливый компромисс" соответственно) сознательно игнорировал отправные моменты, которые лежали в основе кемп-дэвидских договоренностей 1978 года по разрешению арабо-израильского конфликта: резолюции 242 и 338 и принцип "территории в обмен на мир". Подобный выбор выражал отсутствие фундаментальной решимости с обеих сторон в отношении кардинального вопроса: действительно ли они намереваются достигнуть соглашения, которое разблокировало бы ситуацию, возникшую в результате Шестидневной войны, и готовы уплатить свою цену? От палестинцев это требовало оставить в прошлом проблемы 1948 года, от израильтян — отказаться от территориальных приобретений 1967 года, от обеих сторон — не добиваться победы собственного национального нарратива.

Этот недостаток решимости с обеих сторон проявлялся в многочисленных конкретных шагах или отсутствии таковых и в промежуточный период, и во время переговоров о постоянном урегулировании, что создавало атмосферу взаимного недоверия и затрудняло договоренности по всем аспектам проблемы. В результате мотивация платить необходимую цену все понижалась. В критический момент, на встрече в Кемп-Дэвиде в 2000 году переговоры отклонились от "политического маршрута" и снова перешли в плоскость соперничества нарративов, что означало изменение баланса и перенос центра тяжести с реалий, возникших в 1967 году, на проблематику 1948 года. Примеры легко обнаруживают

ся в обсуждении территориальных вопросов и проблемы беженцев, но сходный анализ приложим и к другим темам переговоров.

Территориальный вопрос

Израиль не согласился с палестинским предложением о предварительном признании их прав на всю территорию Западного берега и Газы. Вместо этого он стремился достичь соглашения на основе "справедливого компромисса", и одновременно с этим поселения продолжали расширяться такими темпами, что это было воспринято палестинцами как неспособность или нежелание со стороны Израиля принять обязывающее решение в этом вопросе. Третья стадия израильского отступления с территорий, предусмотренная промежуточным соглашением, не была реализована. В переговорах о постоянном урегулировании Израиль заявил, что резолюция 242 не может быть применена в этом случае тем же самым образом, как это было сделано в случае переговоров с арабскими государствами, на том основании, что эта резолюция действительна только для государств, имеющих общие границы. Подлинный смысл такой позиции заключался в явном нежелании Израиля расстаться с территориями.

Проблема беженцев

В ходе дискуссий, предшествовавших переговорам в Кемп-Дэвиде, создалось впечатление, что общим направлением решения проблемы беженцев будет создание некоей альтернативы "праву на возвращение" и/или компенсация, в то время как небольшому числу беженцев будет позволено вернуться на территорию Израиля в соответствии с определенными критериями. Обеим сторонам было также ясно, что нарратив "права на возвращение" должен быть пересмотрен таким образом, чтобы он стал приемлемым для обеих сторон. Израиль, однако, рассматривал кемп-дэвидскую встречу в верхах как момент принятия окончательных решений, и его "послание" Арафату было предельно ясным: "сейчас или никогда". Израильская сторона требовала от Арафата декларации об окончании конфликта и об отказе от "права на возвращение" — а на это представительные органы ООП не соглашались в прошлом и не уполномочивали Арафата сделать это теперь. Такое требование, будь оно принято палестинцами, означало бы их готовность отказаться от своего национального нарратива, а это было непредставимо для них на том этапе.

Израиль интерпретировал создавшуюся ситуацию как вытекающую из нежелания Арафата принять историческое решение и отказаться от "права на возвращение". Израильцы объясняли позицию Арафата его стремлением подорвать существование Израиля и неприятием самого принципа "два государства для двух народов".

В итоге создается впечатление, что ужесточение позиций сторон на решающей стадии переговоров, в том, что касается "права на возвращение", "окончания конфликта" и других вопросов, было лишь тактическим выражением той трудной

ситуации, в которой они оказались. В процессе переговоров каждая из сторон столкнулась с концепциями и подходами, противоположными ее собственным. Итоговый анализ показал, что, очевидно, прийти к соглашению не удастся из-за нехватки взаимного доверия. Каждая из сторон пришла к выводу, что ее партнер достиг точки, после которой он неспособен принимать решения по остающимся спорным вопросам, в основном по внутривнутриполитическим соображениям.

Возникла тупиковая ситуация: Израиль требовал "завершения конфликта", а палестинцы упирали на "источник конфликта", который можно устранить лишь аннулированием несправедливостей 1948 года и признанием "права на возвращение". Это, в свою очередь, с израильской точки зрения, противоречило самому существованию еврейского государства. На данной стадии каждая сторона пыталась снять с себя ответственность за провал. Стороны предъявляли друг другу принципиальные требования, которые было невозможно удовлетворить, и по сути это была скрытая тактика перекалывания ответственности за провал переговоров на партнеров.

Можно провести прямую логическую линию между: а) попытками каждой из сторон возложить ответственность за провал на другую сторону по мере приближения переговоров к концу, и б) их неспособностью условиться в самом начале переговоров о том, что мирное соглашение должно ограничиться только проблемами, вытекающими из результатов Шестидневной войны, включая цену, которую необходимо заплатить за решение этих проблем. С этой точки зрения весь процесс был обречен на неудачу с самого начала.

Вторая интифада, разразившаяся в сентябре 2000 года, и гнев против Израиля стали выражением глубокого разочарования палестинского общества в социальной и политической линии его руководства. Арафат, однако, сделал ошибочное заключение, что конфронтация в ограниченных размерах может пойти ему на пользу, поскольку она подтолкнет Израиль к продолжению переговоров. Время шло, а он отказывался использовать весь свой авторитет для прекращения конфронтации. Он стремился добиться интернационализации конфликта с целью создать альтернативу политическому процессу, зашедшему в тупик. Имеет смысл задуматься, как могли бы развиваться события, если бы обе стороны приняли принципиальную платформу кемп-дэвидских договоренностей 1978 года, а не заикнулись в ходе последней встречи в Кемп-Дэвиде на проблемах, возникших в конце 40-х годов.

Глядя в будущее

Если использовать аналогию с шахматной партией, обе стороны оказались в патовом положении. Но, в отличие от шахмат, они обязаны "взять ход назад" и снова продолжить игру. "Замкнутый круг", который образовался между истоком конфликта и его разрешением, будет разорван только тогда, когда партнеры признают, что отсутствие соглашения — наихудшая альтернатива для них. И не только из-за жестоких последствий применения силы — одно это не может привести к фундаментальным изменениям в позициях обеих сторон. Дело еще и в

том, что продолжение существующего положения резко ограничивает вероятность продвижения к решению в обозримом будущем. Интифада оставляет после себя глубокие шрамы, и палестинскому руководству придется заботиться о том, чтобы найти оправдание многочисленным жертвам. В силу этого оно будет продолжать жестко отстаивать свои базовые позиции. Израиль, со своей стороны, будет склоняться к тому, чтобы предлагать все меньше и меньше, особенно в вопросе о беженцах, но и в территориальной сфере тоже. Израиль, в перспективе продолжающейся интифады, будет несомненно стремиться использовать соображения безопасности для уменьшения степени суверенитета будущего Палестинского государства. Ясно также, что продолжающийся рост экстремистского исламского фундаментализма среди палестинского населения сделает достижение соглашения в будущем еще более трудным.

На мой взгляд, фактор времени работает против Израиля. Ожидание появления нового палестинского руководства, которое предпочтет создание государства реализации "права на возвращение", может занять очень много времени, а то и вовсе не сбыться. Тем временем демографические процессы будут развиваться вне всякой связи с положением Арафата, и существует возможность, что среди палестинцев возникнет движение (мы уже видим первые признаки этого), которое потребует возврата к первоначальной идее одного государства для двух народов. Немедленным практическим следствием этого может стать резкое понижение мотивации к достижению соглашения с Израилем со стороны палестинцев.

Палестинцам следовало бы понять, что еще одно "окно возможностей" для них открылось благодаря "Дорожной карте", и что американская администрация готова помочь нынешнему палестинскому руководству реабилитировать себя и достичь политического урегулирования. Палестинцам стоит серьезно взвесить, насколько продуктивно для них продолжать полагаться только на арабский мир и упорствовать в своей приверженности принципам "легитимации мирового сообщества". Палестинцы должны также признать, что они совершили трагическую ошибку, продолжая двигаться на гребне интифады. Несмотря на тяжелую цену, которую они заплатили, мировое сообщество не спешило оказывать давление на Израиль и посылать свои войска в регион. В то же время способность израильского общества выдерживать террористические атаки не была подорвана. Есть признаки, что в палестинском руководстве существуют силы, понимающие смысл новой ситуации — а именно, что упустить эту возможность значит совершить новую историческую ошибку. Это может привести к тому, что мировое сообщество оставит палестинцев наедине с Израилем, например, согласится с односторонними акциями вроде построения разделительного забора, что может стать заменой решения, впрочем, вполне удовлетворяющей Израиль.

Возможность вырваться из "замкнутого круга", где истоки конфликта сцеплены с его следствиями, зависит от ряда геополитических, конъюнктурных и других условий. Для этого потребуются также способность национального руководства с обеих сторон принимать исторические решения в направлении создания "двух государств для двух народов", не рассматривая это в качестве "игры с нулевой суммой", а также широкая общественная поддержка.

И израильские, и палестинские руководители должны будут признать тот факт, что переговоры должны вестись вокруг политических проблем, а не национальных нарративов. Они должны будут принять подход к решению, согласно которому конечный результат заметно перевешивает сумму составляющих его частей. Это означает: окончание территориального конфликта путем установления взаимно согласованной политической границы, предусматривающей процедуры обеспечения безопасности и механизмы улаживания пограничных конфликтов; решение проблемы беженцев с помощью компенсаций и отыскания альтернативы "праву на возвращение"; разрешение проблемы Храмовой горы/*Харам Аш-Шариф* путем установления там особого режима. Это должен быть мирный договор, который сохранит свое действие на протяжении поколений, хотя всегда останутся палестинцы, мечтающие о Великой Палестине, так же, как и израильтяне, грезящие о Земле Израиля.

Заключительный практический вывод состоит в следующем: политические лидеры обеих сторон должны принимать решения не только в соответствии с актуальными вызовами, с которыми они сталкиваются сегодня, например, с проблемой террора, но главным образом на основе понимания общих политических, демографических и исторических процессов.

Перевел с английского Марк Амусин



Анатолий Кардаш (1934) — литератор, публицист, специалист в области истории Катастрофы. Родился в Киеве. Кандидат технических наук. Жил на Украине, в Сибири, в Москве. В Израиле с 1991 г. Работал в ин-те Яд ва-Шем в 1991 — 2001 гг. Автор книг "Внимание, евреи!" (1991), "Черновой вариант" (1994), "Посреди войны. Посвящения" (1998) и многочисленных статей, опубликованных в Израиле и других странах.

Анатолий Кардаш (Аб Мише)

ПСИХБОЛЬНИЦА

(Из новой книги "У черного моря")

Одесса. Пригород Слобода, октябрь 2002 года. Краснеющие клены. Безлюдный будний полдень. "Тиха Одеса" — соответственно вывеске здешнего кафе, маленького, уютного, без посетителей.

Пролетел мимо трамвай на одноколейке, он здесь только в одну сторону, как и полвека назад, когда этим трамваем, пятнадцатым номером, я ездил сюда. Дрезжал до угла, до остановки "Психбольница", переходил улицу, огибал густо цветущую клумбу перед входом и входил в здание. Оно и сейчас то же, и дверь та же, решетчато застекленная на две трети, с деревянными накладками, с ручкой литой, каких теперь не употребляют. "Областная клиническая психиатрическая больница № 1". Я вхожу в нее сегодня вместе с моими здешними героями — врачами, больными и псевдобольными.

В больнице военной поры сразу после румынской оккупации расположилась охранная служба — сигуранца. Из вестибюля по коридору налево, и в облезлой заплесневелой стене блеснет лаком деревянная дверь, солидная когда-то, а теперь заколоченная без намека на использование, даже ручки нет. За ней, в квартире довоенного главного врача, профессора Айхенвальда был кабинет комиссара сигуранцы Кодри. И видится он мне здесь, щеголь в скрипе ремней, прямые вороньи волосы с проплешиной бабника, он за столом, лениво читает бумаги. Красивый почерк, с размахом, с плавным и уверенным нажимом пера: *"Я вам уже дважды писал про гражданина жид Рехбиндера, который приходил на свою квартиру за вещами. Месяц назад его увел полицейский. А сегодня жид Рехбиндера опять видели одетого в новое пальто. Это значит его отпустили за деньги. Население так говорит, хотя я разъясняю,*

чтобы про румынскую власть плохо не говорили, что это может быть просто ошибка. Прошу принять меры и забрать жуда Рехбингера как зловредного борца за прошлую большевистскую власть и здесь он тоже появился не так просто. Пропагандист № 186".

У него на полке не одна папка таких. Я их видел, эти песни доносов, в Одесском архиве, в фонде 2262, подписанные (И. Брижицкий, В. Антонов, Е.Т. Самойлов...), помеченные, как выше, "Пропагандист №..." и анонимные. В них быт Одессы 1941 года: "население нееврейского происхождения выражает недовольство в том, что евреи, желая стушеваться с русскими, перестали носить отличительный знак (желтую шестиконечную звезду)";

"В населении говорят, что в префектуре можно за взятку поставить печать нееврея на свидетельство о рождении и показывать этот документ вместо паспорта, будто бы утерянного. Многие жители жалуются, что так жида скрываются, а при новой власти берут взятки. Это вредит лицу власти и я считаю такие факты надо стереть из новой прекрасной жизни без жидов и большевиков. Да здравствует наш любимый вожь Маршал Антонеску";

"Жители Одессы есть такие, что помогают честно новой власти и активно выявляют граждан жидовской нации. Но много таких, которые не сознают опасности от жидов и позволяют их существование и даже помогают одежей или продуктами. В одной чисто русской семье я слышала подчеркивали, что чересчур жестоко относятся к евреям, т.к. и среди евреев есть порядочные люди. Несознательные не желают выдавать эту нацию полиции и всякой власти. Надо разъяснять этим людям, что честный патриот не должен стоять в стороне при очищении нашей жизни от жидовско-большевистской заразы".

Несколько человек, независимо друг от друга (Бойль и Мариотт? Лавуазье и Ломоносов?) открывают полиции учителя Загальского, который пытается спасти еврейских детей.

Кравченко (русская или украинка) тоже прячет еврейских детей. Доносчик жалуется в полицию, что на его неоднократные требования сдать детей властям



Вход в Одесскую психиатрическую больницу

Кравченко ответила руганью и угрозами, мол, у нее связи в полиции и она ему напакастит... Ах, думаю я, читая: Кравченко блефует или правду говорит? Тогда в полиции — кто кого?..

...Я ныряю из того времени в послевоенное, в небольшой сад, забитый пряностью цветов — петунии, герань, розовое роскошество, между клумбами выются дорожки, выложенные битым кирпичом, носится по ним овчарка Неста, в углу голубятня, там хлопали птичьи крылья, урчали, ворчали голуби, косили недобрым глазом, теряли перья... Цветы эти, собака, птицы — инвентарь хозяйских забав, сад был частью служебного жилья главного врача больницы, я приходился ему сколько-то уродным племянником и изредка являлся гостем к родственникам, которых воспринимал тогда как сказочно богатых. Собственная моя семья в первую послевоенную зиму голодала, отец после заключения долго не мог получить прописку, а значит, и права на работу, мучился, умирал от воспаления легких, мы впятером жили на заработки маминного брата Хилеля, кардиолога, к счастью, популярного; Божьим чудом светила детям ромовая бабка, преподнесенная однажды Хилелю спасенным инфарктником — из этого нищенства я выныривал на Слободке в совершенно шехерезадное царство, потому что когда, надышась здесь теткин садом, напрыгавшись с дядиной собакой и наглядевшись на его голубей, поднимались обедать в квартиру на втором этаже, то домработница подавала бульон с куриной лапкой, и золотая блямба жира вздрагивала на жемчужной жидкости, усыпанной перышками рубленого укропа, и голодному глазу блюдо это было непреложным символом счастливой сытости...

После обеда я шел с сестрой в дядин кабинет оглядывать стены в книгах, выбирать из корешков самые любопытные. Повалясь на ковер, мы вдвоем листали страницы какой-нибудь "Жизни животных" Брема, такого занимательного в те дотелевизионные времена, а случалось, в полной собственной воле (никто из взрослых не покушался вмешаться) мы извлекали из книжных рядов медицинские тома и погружались в напряженное исследование картинок, преимущественно тех, где самые дразнящие части тела манили нас, одиннадцатилетних, не знающих сегодняшних откровений "полового воспитания". Я стеснялся сестры, а она, дочь мамы-гинеколога и папы-психиатра, хитро хихикала, глаза ее суживались и в их щелках искрил многообразный интерес — девочки развиваются раньше.

Заходил в кабинет, не глядя или вроде бы не глядя, сам хозяин, немногословный, суровый. Я побаивался его, хотя видывал и улыбающимся, и даже хохочущим, когда он затевал с детьми домашние игры в живые шарady или бесился с ними на пляже. Но больше дядиною глазу смущал меня пронзительный до безжалостности, прямой, так что никуда от него не деться, взгляд со стены над дядиным письменным столом. Там висел портрет Зигмунда Фрейда.

Откуда было тогда мне знать, что дядя был не только психиатрическая знаменитость, не только умелец больничного дела, лектор мединститута, на чьи выступления сбегались студенты, судебный эксперт, развязывавший самые хитрые узлы уголовного, но и знаток Пастернака, и голубевод, собачник, рыбо-

лов, острослов, а в Первую мировую войну солдат, а во Вторую мировую начальник военного госпиталя. Но главным, наверно, в дядиной биографии было то, что в Большой Медицинской Энциклопедии 1930 года значилось его имя как одного из виднейших последователей З. Фрейда — он входил в известную одесскую группу фрейдистов. Руководил группой профессор Евгений Александрович Шевалев.

В ходячем анекдоте говорится, что двигателем истории экономист Маркс считал человеческий желудок, а психоаналитик Фрейд — половые органы. Советской власти, опертой на учение Маркса, Фрейд оказался не ко двору. Еще и спустя десятки лет, в 1968 году, институтский учебник "Психиатрия" клеймил фрейдизм: "сектантское течение", "лишен познавательной ценности", *выгоден буржуазии* "ибо как на источник тяжелых условий жизни масс человечества указывает не на уродливость капиталистического общества, а на глубинно-психологическую природу человека, на его бессознательные влечения и инстинкты". В конце сороковых, когда вождь СССР прищипорил вечно резвого конька юдофобии и развернул русско-патриотическую борьбу с "преклонением перед иностранщиной", с "безродными космополитами" и "буржуазным еврейским национализмом", в противовес заграничному еврею Фрейду засверкало чисто русское имя Ивана Павлова. (Иноземство и еврейство Маркса, как и антисоветскость Павлова, естественно, в счет не шли.)

Государственная нелюбовь в Советском Союзе всегда развивалась до предела, охватывая неудобных щупальцами, жесткими до смертельности.

Из выступления секретаря Одесского обкома компартии Украины (физика и философа по специальности) на пленуме обкома в январе 1953 г.: *В 1948 году при вскрытии космополитических идей в работах одесских историков была подвергнута критике также и деятельность профессора Борового С.Я. ... Обнаруженные статьи и книги... позволяют сделать определенные выводы о политической физиономии С.Я. Борового, как о крупном деятеле еврейского националистического (сионистского) толка.*

...А какая писанина у этого Борового?

Он написал такую работу, за которую получил звание доктора... *"История евреев на Украине в 17 и 18 веках"*... В этой работе он дал "научное" исследование. Он берет список... казаков, которые служили в войсках Богдана Хмельницкого. И вот там были такие казаки... как Иван Лейба, Трофим Коган, — он берет эти фамилии и делает такой вывод, что в борьбе с польской шляхтой принимали массовое участие евреи, которые проводили активное снабжение войска Богдана Хмельницкого, и показал на этом примере их храбрость.

Боровой, таким образом, проводит идею о том, что в борьбе украинского народа с польской шляхтой немалое значение сыграли социальные низы еврейского населения. Совершенно умалчивается значение роли русского народа.

...Почему до сих пор Боровой не разоблачен и не был подвергнут настоящей партийной критике?.. Еврейские буржуазные националисты оживили свою работу и мы не можем безучастно относиться к этим фактам. Если сейчас они и не ведут открыто своей работы, то где же гарантия, что он (Боровой) не будет

протаскивать свои враждебные сионистские взгляды? [Материалы Партийного архива Одесского обкома Компартии Украины, ф. 11, оп. 14, д. 455].

Боровой стал безработным, а могли бы и посадить по нормам того времени.

Дяде моему, Я.М. Когану вряд ли такое грозило: не сионист все-таки, ветеран войны и все такое, но уж вышвырнуть с работы за Фрейда сам бог (советский) велел. И мой дядя-фрейдист тоже нормально для советского человека испугался. Но поступил — ненормально. Ему бы от греха выбросить портрет Фрейда — а он, подобно испанским крещеным евреям-марранам, решил тайно молиться своему богу. И прикрылся, как марраны Иисусом, — Павловым.

Лечившийся в психбольнице художник Николай Оже выпросил разрешение рисовать копии с картин на вкладках журнала "Огонек". Среди них был известный портрет Павлова в саду работы М. Нестерова. Озорной дядя сообразил прикрыть врага власти обласканным ею ликом. Почти как сохранять еврея в здании гестапо. По просьбе дяди больной Оже нарисовал нестеровского Павлова в размере портрета Фрейда, холсты совместили: под стеклом сиял нежно-розовых тонов Павлов на фоне веселых цветов и листьев, а под ним затаился черно-белый Фрейд.

Никаких этих подробностей я тогда не знал, только заметил подмену изображения спустя десяток лет, когда пришел сюда уже студентом и интересы мои сместились далеко от будоражащих подробностей медицинских книжек, и тут дядя вдруг позвал меня с собой ехать в соседнюю провинциальную столицу Кишинев, где ему предстояла судебно-медицинская экспертиза.

Военный трибунал судил дезертира из танковой части, который, бегая по молдавским степям, бахчам и деревням, убил двух человек, потом пробрался обратно в свою часть, заперся в уборной, выстрелил себе в голову, ранил себя легко — то ли случайно, то ли симулировал... Меня впечатлило неожиданное: затюканные молдавские крестьяне, робкие на пороге судебного зала и не убоявшиеся безоружными преследовать убийцу с автоматом; еврей — заместитель командира полка, в одиночку штурмовавший туалет с отстреливающимся беглецом; подсудимый, ради оттяжки смертного приговора представлявшийся то шпионом, то психопатом, то невиняемо пьяным в момент убийства... Блестяще, ярче и адвоката, и прокурора, говорил дядя-эксперт, а потом, на обратном пути домой, еще занимательнее и подробнее вскрывал мне картинки притворного сумасшествия.

...После Кишинева мы с дядей подружились. Дядя развлекал меня психиатрическими фокусами, демонстрировал на прохожих свое умение распознать характер в чертах лица, выявлял, например, алкоголиков по форме усов, растолковывал психологические тонкости в татуировке уголовников. Потом пошли разговоры посерьезнее. Из ненавязчивых мимолетных поучений дяди мне запомнилось: жизнь хуже, чем человеку желается, мечта и действительность — в вечном конфликте; от этого невроты в обыденном поведении или психозы — убежание в придуманный мир. Спастись можно художественным творчеством: сбросить свои комплексы в игре воображения и вернуться к общепринятому житейскому "здравомыслию", к норме. Впрочем, замечал дядя, нормальный человек удивительно скучен. Интересны как раз отклонения, художественное творчество ими



Двор Одесской психиатрической лечебницы

то и занимается. Но самые большие отклонения, патологии, сумасшествие не могут быть ни воображены, ни описаны. Никакой гений не может погрузиться в потемки больного сознания. В мировой литературе, говорил дядя, один Достоевский сумел описать психопатологию, и то лишь потому, что сам был эпилептиком. Поэтому и симулянту трудно войти в неизвестное состояние, и врачу различить притворство не так уж легко, тем более, что длительное пребывание среди психопатов может завлечь в несомненную душевную болезнь.

...Миша Гершензон стоял на входе в больницу бессменной ее принадлежностью, как дверь и двор, как смиренные рубахи и железные койки. Монумент, незбываемые расставленные ноги в кирзовых сапогах. Легенда больницы, коренастый, убойные ручищи, смуглый, лысая голова, как дыня, вертикально торчащая, щекаст, носат, зубы конские безмерные — восточный человек, называемый или считавшийся караимом, он нацеливал на прибывающих клиентов свои не то ворошиловские, не то гитлеровские усики и, взглядом прокалывая, безошибочно определял: "Это наш".

...Интересно, думаю я сейчас, как в годы оккупации вахтер Миша становился на горло своим диагностическим способностям при виде симулянтов? А их в больнице хватало.

Тут пора мне перейти к истории Шевалевых.

За Одесской психлечебницей немалая медицинская слава еще с 1870-х годов, когда ее главный врач А.С. Розенблюм придумал лечить психопатов прививкой возвратного тифа. Но вершиной деятельности больницы сегодня представляются не врачебные достижения, а подвиг семьи Шевалевых — словно бы взлет того духа противостояния несправедливости и несвободе, который явился в маскировке портрета Фрейда. В больнице, похоже, традиция складывалась: играть с властями в прятки. В 1941 году пришло время жертв гитлеризма.

Здесь надо на секунду перепрыгнуть в 1990-е годы, когда я, работая в Яд ва-Шеме, задумал писать о группе спасителей одесских евреев под руководством известного доктора Гродского и стал искать сведения о нем. Родственников моих, известных одесских врачей, которые не могли не знать Гродского, уже не было в живых. Зато здравствовала дочь Я.М. Когана, Валентина Яковлевна, которая жила когда-то вместе с родителями в квартире при больнице и могла многое помнить из своего послевоенного детства. И я по-братски спросил ее, кажется в 1996 году, в письме: не знаешь ли хоть понаслышке о некоем докторе Гродском, помогавшем в войну евреям (отец мог рассказывать)? И ответила мне родственница моя В. Коган: "Что касается спасения евреев, то папа незадолго до смерти в 1960-м году рассказал мне, что во время войны в больнице под видом пациентов скрывались евреи. Руководил тогда больницей профессор Шевалев, они дружили, он к папиной главной книге предисловие писал. Про евреев Шевалев ни слова не говорил, но другие сотрудники, кто оставался в оккупацию, упоминали. Если хочешь, я поищу подробности, поспрашиваю". Ну, как мне не хотеть! "Поспрашивай", — прошу сестру.

И она раскрутила новый сюжет: спасение в психушке.

На изящной новорусской фене выражаясь, полный отпад! Психбольница: место — гибельнее не придумать. Психические больные подлежали уничтожению еще прежде евреев — этому правилу нацисты следовали до начала войны у себя в Германии, тем более оно было непреложным в оккупированных землях.

Из архивных послеоккупационных материалов:

"Об убийстве больных психлечебницы "Орловка" Петинского сельсовета, Гремячинского района, Воронежской области"

АКТ от 5 августа 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся [следуют 13 фамилий] составили настоящий акт о злодеяниях...

...больных свели в загородку около второго корпуса, где им приказано было лечь на землю, неподчинявшихся избивали плетью. Из загородки больных по одному и по два стали подводить к воронкам от авиабомб. Там немецкие жандармы расстреливали их из револьвера в затылок...

...Некоторые больные, не желая погибнуть от рук немецких палачей, сами кончали с собой. Так, две женщины... разбились о столб. После того, как ямы были доверху заполнены телами расстрелянных, среди которых некоторые еще продолжали шевелиться, они были закиданы землей.

...на территорию психлечебницы приводили для расстрела душевнобольных с первого и второго колониальных участков, а также больных детей, находившихся в патронаже в селе [в соседнем районе]...

...В седьмом корпусе помещались слабые старухи и дети... их носили к месту казни на одеялах.

(Подписи)

К этому акту приложены свидетельские показания.

Рабочая больницы "Орловка" Лебедева А. П., в годы войны старшая сестра там же: "Немецко-фашистские изверги за июль и август 1942 г. на территории психлечебницы "Орловка" расстреляли свыше 700 чел. душевнобольных... также расстреляли 2-х врачей Груздь Софью Ефимовну и Резникову Елизавету Львовну вместе с ее грудным полуторамесячным сыном... за то, что они по национальности евреи".

Медсестра Зазулина О.В.: "14 июля под вечер я пошла выносить ведро. Увидела — идет Елизавета Львовна с ребенком на руках. Рядом шел немец. Он ей что-то сказал. Резникова поцеловала ребенка и положила его на траву. Немец выстрелил в нее, она покачнулась, он выстрелил еще раз. Резникова упала. Затем немец выстрелил в ребенка".

"Немец", "немецкие изверги", "немецкие палачи", "немецкие жандармы" — так стыдливо и в акте советских следователей, и у свидетелей. Но их, извергов стрелявших, упоминают свидетели всего-то двух, ДВУХ, да одного офицера-распорядителя. Зато помощников, хоть принужденных, хоть самодеятельных, вон сколько перечисляет санитарка Н.И. Федорова: "...Я и другие санитарки стали водить больных за загородку для буйных. Директор Ананьев и главврач Аникин... наблюдали, чтобы все больные были выведены из корпусов... Я привела в загородку 5 чел. больных совместно с санитаркой Сезиной Юлией, с санитаром Сезиным Яковом Ивановичем. Кроме того водили санитарки Бруганцева Евдокия, Сезина Федора, Тройнина Дарья, Чистоклестова Александра Ивановича, кладовщик Ульяненко Егор Васильевич, бывший больной из испытуемых Бородин Федор, санитарка Жирноклеева Мария, Зазулина Ольга Васильевна, Зазулина Наталья Ивановна, Зазулина Анастасия.

Яму рыли больные Илюхин Михаил, больной парикмахер по имени Жорж, больной немой по имени Александр фамилии не знаю, эти больные в настоящее время находятся в психлечебнице.

После того как... яма была готова, директор Ананьев и главврач Аникин приказали всем нам идти в 4 корпус, где и находиться, а Плотникова Семена Андреевича, Протопопова Якова, Дочкина Якова Ивановича оставили с целью водить больных на расстрел...

Другую психбольницу посетил известный писатель, он же следователь, и составил Справку: "Через несколько дней после оккупации немцами Курска, а именно 8 ноября 1941 г. немецкий комендант Курска ФЛЯХ и старший гарнизонный

врач КЕРН приказали администрации Сапоговской психиатрической больницы, в лице ее б. директора КРАСНОПОЛЬСКОГО и врача СУХАРЕВА, приступить к массовому отравлению больных...

КРАСНОПОЛЬСКИЙ и СУХАРЕВ... решили выполнить это чудовищное распоряжение немецких властей и объявили об этом остальным врачам названной больницы НЕСТЕРОВОЙ и КОТОВИЧ. Однако Нестерова и Котович категорически заявили, что отравлять больных не будут.

Отказ врачей временно приостановил выполнение злодейского приказа.

[15 ноября немцы запретили снабжать больницу продуктами, заявив], что больных следует умертвить, а "мертвые в продуктах не нуждаются"...

После этого КРАСНОПОЛЬСКИЙ и СУХАРЕВ вновь вызвали КОТОВИЧ и НЕСТЕРОВУ и предложили приступить к массовому отравлению больных, но те снова отказались. Тогда была прекращена выдача пищи больным...

Душевно-больные, запертые в палатах... начали пухнуть от голода и умирать. КРАСНОПОЛЬСКИЙ ежедневно интересовался сколько умерло больных и, если их в этот день умерло мало, то он обвинял врачей в том, что они "плохо помогают больным умирать"...

...На почве голода умерло 350 чел. больных... 18 декабря 1941 г. был отдан категорический приказ немедленно приступить к массовому умерщвлению больных. На этот раз врачи НЕСТЕРОВА и КОТОВИЧ согласились принять участие в этом злодеянии... Каждому больному был выдан хлорал-гидрат 70 %-ной концентрации... [который] в течение максимум суток с момента его приема приводит к смертельному исходу.

В течение трех суток было таким образом умерщвлено 650 человек...

НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА
СТ. ПОМ. ПРОКУРОРА СССР (Л. Шейнин)

17 мая 1943 г.

"ДОБРЫЙ ДОКТОР АЙБОЛИТ"...

Айболит нашелся в Одессе. Именно в психбольнице.

Из обращения в Яд ва-Шем В.Я. Коган: "Евгений Александрович Шевалев... к моменту начала войны заведовал кафедрой психиатрии Одесского медицинского института... В период оккупации... он добровольно принял на себя руководство больниц. По указанию проф. Шевалева на всех сотрудников больницы еврейского происхождения, оставшихся в оккупации, были заведены истории болезни, на основании которых они числились в больнице не как сотрудники, а как душевнобольные... В больнице... нашли свое спасение и другие люди еврейской национальности... которые прибегли к помощи Евгения Александровича. Опасность этого подвижничества была тем более велика, что в одном из помещений больницы располагалась сигуранца. Для постоянного отслеживания ситуации и быстрого на нее реагирования Евгений Александрович с семьей переселился в больницу.

...Единомышленником и помощником проф. Е.А. Шевалева был его 22-летний сын Андрей. Он принял на себя инициативу в том, что требовало решитель-

ности, твердости и неукоснительного следования интересам тех, кто был или значился душевнобольным, хотя это и вызывало недовольство определенной части сотрудников; но в целом коллектив сотрудников проявил себя лучшим образом, отнесясь с пониманием к подвигу Шевалевых и разделив с ними, в известной мере, опасность и риск, хотя, вероятно, были и доносчики".

Из воспоминаний сына Е.А. Шевалева профессора Андрея Евгеньевича Шевалева: "В период оккупации в больнице находилось около 600 больных и из них почти половина были еврейской национальности. Кроме этого была группа здоровых лиц еврейской национальности... на которых с изменением их фамилий как на больных заведены истории болезни.



Евгений Александрович Шевалев

В первые дни оккупации... пришли в больницу румынские комиссары и потребовали у Е.А. Шевалева, чтобы он выделил группу физически крепких больных... чтобы вырыть на территории колонии [санаторная часть больницы: сад, виноградник, аптека, жилье сотрудников] окопы-могилы для них самих и всех остальных больных... Огромных усилий стоило Е.А. Шевалеву уговорить румынских офицеров отказаться от этого.

Это был не последний визит с предложениями такого рода, но примерно через месяц... комиссары покинули больницу, произведя обыск за обыском во всех помещениях больницы и убедившись в том, что без продуктов, воды, медикаментов и отопления все больные все равно обречены на смерть.

Понимали это и Е.А. Шевалев и руководимый им персонал... Добывались с колоссальным трудом и нередко риском для жизни сотрудников продукты для больных, но их было недостаточно... Остановить развитие алиментарной дистрофии у группы больных не удалось, и они умерли.

Через три месяца после начала оккупации Е.А. Шевалев добился от румынских властей того, что больнице начали выделять для питания больных кое-какие продукты.

Истории болезни на здоровых лиц из персонала... еврейской национальности... оформляли, после личной беседы с Е.А. Шевалевым, несколько заведующих отделениями, соблюдая... максимальную секретность.

...Анонимных доносов в полицию и жандармерию, по-видимому, было много, и основное их содержание было сообщение о том, что больница укрывает здоровых лиц еврейской национальности. Мы могли об этом судить по появлению много раз



Андрей Евгеньевич Шевалев

проверочных по этому вопросу румынских комиссий. К счастью, во всех случаях удавалось убедить эти комиссии в беспочвенности таких обвинений".

Л. Золоторевская (письмо в Яд ва-Шем): "Во время оккупации меня, мою мать, бабушку и тетку угнали в гетто — Одесская область, Березовский район, хутор Стагная балка, где 22 марта 1942 года вся семья была расстреляна... Я чудом спаслась, спрятавшись в стогу сена. После расстрела я... тайком пробралась в Одессу и пришла на Слободку в психбольницу... Андрей Шевалев записал меня в женское отделение для буйных, спрятав под именем Лидии Прозоровой, украинки, страдающей аутизмом.

При этом он предупредил, что опасность угрожает не только со стороны сигуранцы, расположенной на территории больницы, но и внутри

больницы есть провокаторы и доносчики. До сих пор я не могу забыть, как все мы боялись таких доносчиков, как, например, доктор К..."

Лилия Золоторевская (в прошлом Раппапорт-Шарканская) называет полностью фамилию доносчицы, но сегодня не хочется пачкать детей-внуков. И если уж окутаться в прошлые подробности, то попробуем выдти из тощего своего воображения, каково симулянту в кругу душевнобольных. Буйных, как сказано. Андрей Шевалев потом в интервью уточнял: "отделение для буйных, возбужденных... Туда боялись заходить. Когда приходили комиссии проверяющие, они это отделение обходили. Лилия всю оккупацию находилась в больнице".

Ночами больные колотятся о койки, бормочут свое неотвязное, скользят между кроватями путаной развинченной походкой, ноги разболтаны в суставах. Одна марширует твердо, вдоль своей койки, воображенное ружье на плече, три шага, команда себе "На-караул! Кру-гом!", поворот и три шага обратно; она в рубашке без рукавов, сквозь дыры грязное тело, к мятой пилотке на голове пришпилены значок ворошиловского стрелка на цепочке, и георгиевский крестик, и брошка с нарисованным цветочком... Другая безумица, изможденная, бесплотная, под пляжной соломенной шляпой белое от голода лицо, бессонно качается, сидя в постельном тряпье, о чем-то молится, шепчет, ничего, никого не видя, но рядом с койкой ее место, дом, собственность ее — и посмей кто-нибудь из соседей ступить сюда — она рысью, оскаленной и бесшумной, взвизгивает на захватчицу, валит на пол душисть, давить; молча...

А снаружи, если выбраться из корпуса, в ноябрьской луже синееет нога, другая рядом в ботинке, рваная подошва "каши просит", а эта в черной воде с ледком босая и возле рыбьим хвостиком вздрагивает тесемка кальсон, выше по ноге треплется пола халата, его мышинная плесень до плеч и по раскинутым в стороны высохшим рукам — больной стынет на скамье распятием, от страдания кривится лицо, разделенное, словно бы подобие разбегания мыслей: из морщин один глаз навывкат, другой ужат в щель гримасой заросшей щеки, и с губы серебрянстой нитью свисает слюна. Человек качается направо-налево, руки то врозь, то ладонями на уши, плотно, изо всех сил, так что и пальцы белеют, зажать шум, он из уха в ухо, гудит пароход, женский визг, смех, слова истошно и шопотом, посуда бьется, лязг осколков, все в голове, от этого волосы выпадают и через лысину шум наводит она как будто врач, соседка в форме врача, ей шестьдесят пять лет и три месяца и два вареника с вишнями она хочет пожениться а он молодой зачем ему шестьдесят пять лет с три месяца и два вареника с вишнями так она таки напускает шум мешает управлять городом его избрал весь народ кроме этой шестьдесят пять и два вареника с вишнями, он не будет кушать вишней, они действуют на мужское чтобы ему пожениться на соседке шестьдесят пять в форме врача и еще три месяца с два вареника с вишнями. Он раскачивается, давит ладонями уши и подвывает от вопля скандала под черепом, а шум, слава те, господи, утихает, и он смеется и радостно расхлупывает синей шершавой ногой льдинки в луже — наконец, покойно, счастливо стало, ушла та шестьдесят пять и три месяца и два вареника, и доктор теперь отпустит его из больницы управлять Одессой, чтобы каждый корабль в порту стоял у своего причала тихо-тихо, без шума, без криков, без посуды...

Из заявления **Фридмана Ф.И.** в Комиссию по расследованию злодеяний оккупантов, 1944 год:

...была угнана в гетто моя младшая сестра, которая сошла с ума и была мною отправлена в больницу на Слободку где она умерла от разрыва сердца...

В 2003 году на Украине начал выходить журнал "Психоанализ". В первом номере — статья Т. Ярошенко о профессоре Е.А. Шевалеве: потомственный дворянин, родился в Одессе в 1878 году, окончил Ришельевскую гимназию, а в 1906 г. с отличием медицинский факультет Новороссийского университета (первый выпуск медиков). В 1922 году избран профессором кафедры психиатрии мединститута и возглавлял ее до конца трудовой жизни. Т. Ярошенко: *"Шевалев Е.А. создал в Одессе целую сеть специальных лечебных и научных учреждений... Оставил после себя 120 научных работ... Он с детства обладал недюжинными способностями к живописи и скульптуре... Евгений Александрович написал ряд философских работ... книгу о юношеском романе А. Блока... С 1907 по 1910 год... он каждое лето, когда клиника закрывалась на каникулы, поступал врачом на какой-нибудь пароход, курсирующий по Средиземному морю. Таким образом побывал в Египте, Греции, Италии, Турции и повидал различные памятники искусства..."*

В период оккупации Одессы с октября 1941 г. по апрель 1944 г. Е.А. Шевалев работал главным врачом психиатрической больницы. Умер в 1946 году.

Весной 1997 года я случайно познакомился в Иерусалиме с Риммой Тарнавски, психологом, окончившей когда-то Одесский медицинский институт. В разговоре возникло имя преподававшего там доцента Я. Когана. Молодая женщина, Р. Тарнавски не могла слушать его, но знала о знаменитом лекторе. Одесса, Коган, психиатрия, психбольница — к слову я упомянул про молву о спасении евреев в лечебнице, назвал фамилию "Шевалев", который, говорят, давно умер и дети его неизвестно где. "Почему же неизвестно? — удивилась Р. Тарнавски. — Я жила в Одессе на одной площадке с Андреем Шевалевым, младшим сыном профессора. Адрес? Пожалуйста. Французский бульвар, 43... Тетя моя, Людмила Евсеевна, дружит с его женой, вот вам телефон тетин...". Примерно тогда же в Хайфе обнаружилась бывшая сотрудница больницы, знавшая в Одессе знакомых Андрея Шевалева — появился еще один след.

А в Одессе В. Коган еще с 1996 года взялась активно искать в психбольнице материалы о спасении евреев, вовлекла в поиск Александру Мартыновну Пасечниченко, заведующую отделением больницы и одновременно больничным музеем. Нашлись скудная папка "Одесская психиатрическая больница в годы фашистской оккупации" и отрывочные рукописные записи воспоминаний членов семьи профессора Евгения Александровича Шевалева, его жены Евгении Никодимовны, сыновей Андрея и Владимира. В рукописях упомянуты пережившие в больнице оккупацию здоровые люди еврейской национальности Лиля Шарканская, врач Фиш и некий Орловский. В картотеке обнаружена карточка под названием "Истории болезни и воспоминания" этих людей, но ни этих материалов, ни каких-либо сведений, кроме названия, не обнаружилось. В. Коган в письме мне от 19.02.1997 привела замечательный факт из воспоминаний жены профессора: *"Однажды один румынский прокурор прислал в больницу 15 совершенно здоровых детей еврейской национальности, передал: "Пусть они у вас пока побудут". И эти дети провели в больнице весь период оккупации, а после освобождения города их распределили по разным детским домам. Только одну девочку Жанночку нашла случайно уцелевшая мать"*. (Замечательно! Может, румынский прокурор — спаситель, Праведник? А может, перепутано и не прокурор, а какой-нибудь другой румынский чин? Может, комиссар сигуранцы? Кодряну, работающий тут же в здании больницы? Ведь по слухам он "убийств не одобрял". Место детективу. Но выяснить больше ничего не удалось ни мне, ни даже моей усердной сестре.)

Любительский сыск плодоносил. В мае я направил В. Коган обнаруженные в Израиле сведения.

Письма 1997 года, В. Коган — мне: *"Состоялась моя встреча с А.Е. Шевалевым... Его телефон дала мне Людмила Евсеевна... Передо мной предстал абсолютно сохраннный и физически и интеллектуально 78-летний человек (его и стариком-то не назовешь), полный глубоких эмоций и вполне определенных взглядов, четких суждений, категоричных оценок; скромный, но без самоуничижения; достойный, но без переоценки своей персоны. О делах своих и своих родителей*

(особенно последних) рассказывает с ненавязчивым удовлетворением, но при этом не тычет себе в грудь пальцем.

Он значительную часть своего времени проводит под Одессой, возле Очакова, на острове. Там глубоко в море (на 68 км) выдается коса, пересекаемая в нескольких местах морской протечью, образующей острова, куда добраться можно только по морю. Это уголок нетронутой природы: птичий заповедник, табун диких лошадей и т.п. Андрей Евгеньевич — биолог, много и серьезно занимавшийся дельфинами, приглашенный в свое время для организации Батумского дельфинариума... Написал три книги о дельфинах... Выступал с лекциями об экстрасенсорике... Убежденный атеист, презирующий поповство и в целом религию, именем которой в мире было совершено огромное количество злодеяний и пролито море крови. Все свои суждения он аргументировал отличным знанием истории.

То, что он рассказывал об отце, матери и о себе... не вызывало сомнений в достоверности в силу общего впечатления и ненавязчивой открытости этого человека...

К моменту начала оккупации психбольница осталась без руководства: Айхенвальд Л.И., главврач, эвакуировался, а отец, тогда зав. мед. частью, был на фронте. По велению долга руководство больницей принял на себя проф. Шевалев. Сам Е.А. Шевалев был человеком науки, далеким от административной деятельности. И его сын Андрей, закончивший к этому времени 4 курса мединститута, был ему большим помощником.

Во время осады Одессы Андрей работал хирургом в госпитале. Позднее он написал диссертацию об анестезии. Диссертация была "зарублена". Затем была еще одна диссертация... Его нынешнее профессорское звание имеет отношение не к медицине, а к биологии.

В психбольнице времен оккупации благодаря своим познаниям в области медицины Андрей помогал немногочисленным врачам, делал обходы. Но в значительной мере занимался хозяйственной деятельностью, помогая добывать продукты для больных...

А.Е. Шевалев сообщил дополнительные сведения о спасенных евреях. Лиля Шарканская в период обороны Одессы приходила в госпиталь, где работал Андрей, ухаживать за ранеными. Из села, где оккупантами была убита ее мать, она прибежала в больницу к Андрею и была помещена в 3-е женское отделение. Отец Лили, состоявший в разводе с ее матерью, был русским, но пальцем не пошевелил, чтоб спасти дочь. Другого спасенного, Тендлера, проф. Е.А. Шевалев поместил в 1-е мужское отделение.

...А.М. Пасечниченко мне рассказала недавно, что в больнице по воле Евг. Алекс. Шевалева нашли свое спасение и сотрудники еврейской национальности... Она назвала имена...

...Оккупанты подступались порой к вопросу об уничтожении социально бесполезных людей, не выделяя при этом евреев. Никто из персонала не выдал этих евреев. Поразительно!.. Вообще за время оккупации больные умирали от голода, от холода, от болезней, но насильственной смертью — ни один! Утонченный

интеллигент, далекий от пафоса и администрирования, Е.А. Шевалев горой стоял за своих подопечных.

Не было ни продуктов, ни медикаментов, ни воды (ее носили из соседнего поселка), ни тепла (в отделении стояла одна металлическая печурка, вокруг которой сидели больные и которую топили срубленными в больничном саду деревьями и щепой... Самодельные плашки с маслом служили для освещения).

Андрей Евг. сделал много. Он взял под свое шефство 125 советских военнопленных, брошенных в подвал соседней детской больницы, добившись на это разрешения румынских властей, настраивая их возможной вспышкой эпидемии среди пленных. Он организовал помощь для них со стороны населения, приносившего в больницу в ведрах супы и другую снедь. А когда в результате побега одного из военнопленных власти на время запретили населению носить пищу, А. Е. сам ездил на рынок и обращался к торговкам с просьбой дать для раненых продукты и сам доставлял им провизию. Когда кое-кто из раненых смог подняться и стать на ноги, А. Е. обратился к рабочим одной столярной мастерской в городе с просьбой изготовить для раненых костыли; через короткое время эти рабочие в отсутствие начальства изготовили и загрузили костылями полный грузовик знакомого Андрею Евгеньевичу водителя. А. Е. все время подчеркивает, что его инициативы не требовали особых усилий для их реализации, так как люди с готовностью откликались на них....

[В архивной больничной папке В. Коган обнаружила выписанные Андреем Шевалевым из двух румынских приказов цитаты об изгнании евреев из Одессы и о расстреле за их укрытие]. Сама по себе направленность выписок достаточно красноречиво свидетельствует о сочувственном отношении Шевалевых к евреям...

Еще в папке я нашла тетрадь с полным перечнем сотрудников больницы в период оккупации (67 человек)... там есть упоминание о том, что в 4 муж. отд. приняли 100 чел. рядовых военнопленных и завели на них истории болезни, в 4 жен. отд. приняли 25 чел. офицерского состава военнопленных, а в детское отд. приняли 10 еврейских детей, направленных румынским прокурором (хотя в записках Евг. Никодимовны Шевалевой указано 15 чел.). Во всяком случае эта запись удостоверяет подлинность факта.

А.Е. рассказал еще, что в кабинете его отца стояла пишущая машинка, на которой он печатал для евреев справки, удостоверяющие личность и место жительства. Он оставлял место, на которое, после того, как справки заверяли в ЖЭКе [жилищно-эксплуатационная контора — управление домами], он мог впечатать "православного вероисповедания". Машинка стояла так, что А.Е. сидел спиной к окну, выходящему в сад. Однажды во время печатания справок вдоль окна промелькнула чья-то тень, а через несколько дней к А.Е. явились два румынских офицера с соответствующими обвинениями, которые А.Е. активно опровергал. Офицеры не были особенно агрессивны, и на том дело закончилось. Тем не менее, когда позднее его выжили из больницы хозяйственники-мародеры и некоторые врачи, ссылавшиеся на его избыточную активность в больнице без законченного медицинского образования, и он ушел на работу в бактериологиче-

ский институт, там он заметил, как ему показалось, слежку за собой одного из тех офицеров, что приходили по поводу справок. Из осторожности А.Е. ушел на месяц в катакомбы.

В. Коган — мне: Посылаю тебе фотографии отца и сына Шевалевых, о которых ты просил. А.Е. упорно и без всякого жеманства отказывался дать свою фотографию, предлагая только фото отца, но я настояла...

Эта очередная встреча снова оставила ощущение прикосновения к человеку очень светлому... В разговоре он опять вернулся к поразившему его феномену трансформации человеческого сознания. Антисемитская и кулацкая в то время Слободка, которая сочла для себя осквернением создание там еврейского гетто, оказалась участливо-сострадательной при виде обреченных людей... А.Е. мне рассказал, как он в поисках возможной помощи этим людям, надев на себя дорожное заграничное пальто и повязку с красным крестом, стучал тогда в двери слободских домиков, представляясь словами: "Красный Крест. Спасите людей!", стараясь говорить на ломаном русском языке. Вся эта мистификация (пальто, повязка, акцент) должна была произвести впечатление убедительного международного вмешательства. Но, как говорит А.Е., к его изумлению, в этом не было нужды: люди без нажима пускали к себе тех, кого стогнали в гетто.

А.Е. Шевалев помогал Александре Пасечниченко в организации больничного музея, сам соорудил деревянный стенд с воспоминаниями очевидцев о годах оккупации в больнице. Герой стенда — Евгений Александрович Шевалев. Имя Андрея промелькивает один-единственный раз как помощника отца.

28 ноября 1997 г. одесская газета "Шомрей шабос" печатает статью "Список Шевалева"; автор М. Штернберг ссылается на сведения, полученные от А.М. Пасечниченко о спасении евреев Шевалевыми и в восторге сравнивает, как видно из заголовка, Шевалева с всемирно прославленным Праведником О. Шиндлером. Статья лихая: в ней профессор Шевалев своей душой, "огромной и чистой, как небо... укрыл обреченных на гибель людей"; "в больницу явились немцы. Они собирались устроить кровавую резню... Шевалев вступил в полемику с немецким офицером, отговаривал того расстреливать душевнобольных... Б-г был на стороне врача... Прибежал запыхавшийся немецкий солдат и доложил, что в Кривой балке обнаружены советские разведчики... Немцы поспешили ретироваться..."

Теперь в дело вступают те, кого В. Коган назвала "неукротимые энтузиасты". 8 и 15 апреля 1998 г. в одесской газете "Ор самеах" появляются публикации Л. Дусмана, в которых речь идет о спасительной деятельности Е.А. и А.Е. Шевалевых и о необходимости присвоить им звание Праведников Народов Мира. Он же, Л. Дусман, направил к А. Шевалеву представителя американского фонда Спилберга для взятия интервью. Андрей Евгеньевич, раздраженный шумихой, отказался.

Из всего этого шума и хлопот, порой раздражающих, рождались крохи сведений о Шевалевых, ширился круг посвященных и сочувствующих. Это они позднее будут искать свидетелей и обстреливать Яд ва-Шем претензиями за поддержку признания Шевалевых Праведниками. И в праведном пыле, наверно, не преминут отругать далекую бездушную, неповоротливую, ленивую, бестолко-

вую бюрократку, некую Катю Гусарову. Толстая какая-нибудь чиновница, оплывшая от скуки на рабочем месте...

Катя Гусарова, имея трех детей, изящна, подростково стройна и стремительна. Светлые пряди взметают воздух. Стать, масть и облик — принцессы Дианы. Катя Гусарова обаятельна, интеллигентна, добросердечна и работаща. Она веда-ет русскоязычными материалами в отделе "Праведники Народов мира" Яд ва-Шема. Когда она пришла туда, в списках Праведников по странам СССР, кроме Прибалтики, числилось меньше двухсот человек, спустя несколько лет — две тысячи. Это результат ее неутомимых хлопот со свидетелями, экспертами, поисками, перепиской...

29.03.1998. Катя Гусарова — Валентине Коган: *"Анатолий Каргаш любезно передал в наш отдел копии газетной статьи и Вашего письма к нему, в которых говорится об Евгении Александровиче Шевалеве и его роли в спасении евреев... Мы открыли дело на имя Евгения Александровича и просим Вас посодествовать в сборе необходимых документов. Прилагаем три анкеты, адресованные Вам, Андрею Евгеньевичу Шевалеву и Александру Мартыновне Пасечниченко..."*

Тронулось... Теперь дело за свидетельствами, они, стараниями В. Коган, не заставили себя ждать. Она подталкивала писать и А. Е. и Пасечниченко, слала в Яд ва-Шем собственные показания и сообщения о Шевалевых в одесской прес-се. Однако дело шло не так быстро, как хотелось бы.

Ноябрь 1998. В. Коган — Кате Гусаровой: *Мои письма начинаются с извинений по поводу задержки... Андрей Евгеньевич был занят делами своей сестры, подвергшейся операции; Александра Мартыновна Пасечниченко сломала руку и до сих пор не оправилась... да и мои проблемы никак не позволяли обратиться к нашим с Вами делам. Так что уж простите нас!.. Сейчас появилась оказия, с которой можно будет передать Вам наши материалы, в том числе и ксерокопию музейного стенда, который сделал Андрей Евгеньевич...*

Я не являюсь непосредственным участником или свидетелем событий, происходивших в годы оккупации в Одесской психбольнице... Но то, что я пишу — достоверно. Многие мне удалось узнать сейчас от Андрея Евгеньевича, который вплоть до моей с ним встречи не возвращался к событиям тех лет в связи с невостребованностью в нашем обществе подобных сведений, свидетельствующих о человеческом мужестве и благородстве. Я просто разбередила ему душу своими расспросами, вызвав тягостные воспоминания, от которых он, как сам говорит, стал плохо спать. Содержание своих воспоминаний он изложит сам... Андрей Евгеньевич человек на редкость скромный, а заслуги его в этом деле тоже достаточно велики.

В. Коган и мне писала об Андрее Шевалеве: *"Он не был инициатором ходатайства о звании Праведника, он вовлечен в это дело только моими настояниями... В его устремлениях не было никакой корысти, он даже и не знал (как и я) о каком бы то ни было материальном вознаграждении Праведников, тем более, что себя к ним не причислял, а гумал только об отце..."*

Тогда же В. Коган сообщила, что А. М. Пасечниченко, достигшую пенсионного возраста, *"выставили с работы под предлогом неготовности к занятиям по*

гражданской обороне... отчитали, как девчонку, публично перед двумя сотнями сотрудников и уволили. А через неделю, спохватившись, пригласили на ритуал отпевания — лицемерно-слащавых речей о заслугах и "вкладе". Она не пошла... Весьма проблематична в связи с ее уходом и судьба музея, ею созданного и песнупемого. Я стала вспоминать, когда и что мы отдали в музей, с ощущением сиротства этих материалов".

Получив это известие, я припомнил, что и раньше, при Пасечниченко, не удалось прочесть истории болезни, заведенные во время войны — бумаги, сваленные в темном подвале, истребляли сырость и крысы, а помощи от администрации больницы Александра Мартыновна получить не смогла. Теперь, без нее этот источник информации глохнул.

Яд ва-Шему оставалось опираться на поступившие в ноябре 1998 года из Одессы свидетельства.

В. Коган: "Мой отец Коган Яков Моисеевич совмещал должности заведующего медицинской частью больницы и доцента кафедры психиатрии, возглавляемой Е.А. Шевалевым... С почтением относился отец к Евгению Александровичу как ученому и человеку и считал его по праву своим учителем (а достиг отец в своей профессии многого)... Поведение многих известных людей Одессы в период ее оккупации было весьма неоднозначным, а порой и абсолютно однозначным... Они сотрудничали с оккупантами, выражая при этом и свои националистические пристрастия. Тем значительнее, благороднее и бесстрашнее была позиция, занятая Евгением Александровичем".

10.02.1999. В. Коган — Кате Гусаровой: "Уважаемая Катя! В ночь с 4 на 5 декабря 1998 года скоропостижно скончался от сердечного приступа Андрей Евгеньевич Шевалев..."

...На похоронах Андрея Евгеньевича несколько пришедших проводить его грузей, связанных с ним увлечением альпинизмом или совместной работой (а было их всего 5 человек) от меня впервые услышали о той стороне деятельности отца и сына Шевалевых, которая стала предметом нашей с Вами переписки. Они восхитились великой скромностью и даже будничностью, лишенной пафоса и героизма, с которыми Шевалевы по велению совести и нравственного долга помогали людям, нашедшим в них свое единственное спасение от зверства оккупантов.

Смерть Андрея Евгеньевича лишает меня [возможности] отыскать еще хоть ниточку, ведущую к кому-нибудь из тех, кто нашел свое спасение в больнице. Андрей Евгеньевич попытался это сделать. В своих поисках А.Е. получал отказы, [которые] иногда бывали мотивированными, хоть и малоубедительными ("не помню! не знаю!"), а иногда и ничем не мотивированными ("ни о чем свидетельствовать не буду!")...

Возврат к событиям тех тяжелых лет, поиски свидетелей и участников сильноно разбедрили гушу Андрея Евгеньевича. Он жаловался мне, что плохо стал спать... [В конце ноября] Андрей Евгеньевич мне позвонил и сказал, что к нему приходил интервьюер с телеоператором из фонда Спилберга. Они, по его выражению, мучили его в течение двух часов вопросами и съемками и довели до полного изнеможения...

Я уверена, что Вы приложите максимум усилий для положительного решения вопроса. Очень этого хотелось бы в память об этих замечательных людях и в знак признания их бескорыстного благородства и человеколюбия".

Добрались настырные спилберговцы до Андрея Шевалева 20 ноября 1998 года, за две недели до его гибели. Не хочется думать, что их визит оказался роковым. Накануне смерти 79-летнего профессора многое сошлось...

Видеокассета с воспоминаниями А. Шевалева сыграла свою роль в побуждении Лилии Золоторевской дать решающее, поскольку исходит от спасенной еврейки, свидетельское показание.

Тут действие проносится по двум континентам, трем странам, четырем городам.

16.11.1999. В. Коган — мне: *"В начале лета Зоя Исаковна Гербзон, давнишняя приятельница А. Шевалева, по телефону просила меня встретиться с подругой родственников ее мужа, приехавшей из Сан-Франциско и интересующейся фактами и фотографиями из больницы тех времен. Я отослала ее к А.М. Пасечниченко"*.

В Сан-Франциско жили одесситы Лев Думер, коему шел девятый десяток, и его жена Лидия. Люди пылкие, память и благодарность в них неистовы. В своей квартире отвели комнату под собственный музей Холокоста. Собирают материалы, пишут в газетах, от захолустных до известных, не боясь ни собственного запала, ни ошибок в подробностях, ни цифр неточных. Зато читают американские одесситы, и отзываются свидетели событий, и открываются имена спасенных. Думеры ведут свое расследование и узнают о Лиле Шарканской (по отцу), Раппапорт (по матери), а сегодня Золоторевской.

Лилия — живое подтверждение праведного деяния Шевалевых; ее свидетельство Яд ва-Шему всех важнее. Имя Лили обнаружил В. Коган и А. Пасечниченко в записках А. Шевалева 1977 года, найденных в музее больницы. В. Коган упростила А. Е. ради памяти об отце искать Лилию. Кто-то сказал, что она жила в Киеве и уехала в Израиль. А. Е. через свою киевскую родственницу хотел что-либо выяснить — не вышло. Катя Гусарова писала В. Коган в марте 1999 г.: *"Попытаюсь найти Лилию Шарканскую в Израиле через министерство иностранных дел"* — тоже не вышло. А в Одессе Л. Дусман тоже ищет Лилию, он общественный деятель, и среди обратившихся к нему объявляется Л. Удалова, двоюродная сестра Лили Шарканской, которая, оказывается, живет в США. В своей книге *"Помни! Не повтори!"* (Одесса, 2001 г.) Л. Дусман говорит, что он нашел в США Лилию и 20 марта 2000 года послал ей видеокассету Андрея Шевалева. Возможно, через Думеров, как пишут они сами и Лилия.

11.01.2001. Катя Гусарова — Лилии Золоторевской: *"...В годы нацистской оккупации Вам помогли спастись сотрудники Одесской психиатрической больницы... мы хотели бы получить Ваш подробный рассказ о событиях тех лет..."*

06.02.2001. Письмо в Яд ва-Шем от Лилии Золоторевской (оно уже мною выше цитировалось): *"Лев и Лидия Думер прислали нам видеointerview фонда Спилберга с профессором Андреем Евгеньевичем Шевалевым, в котором он вспо-*

минает обо мне". Золоторевская подтверждает свое укрытие в психбольнице и сообщает имена еще нескольких спасенных евреев. Она пишет, что после спасения Шевалевыми решила стать, как они, врачом-психиатром, что просит воздать должное отцу и сыну Шевалевым хотя бы посмертно: "Хочу, прошу, надеюсь, что их память будет увековечена".

17.02.2001. Думеры — Яд ва-Шему: Многоуважаемая г-жа Катя Гусарова! Отправляя Вам нашу исследовательскую работу о Холокосте в Одессе и о Шевалевых, мы не сидели сложа руки, а энергично продолжали начатый нами поиск новых свидетелей...

...посылаем Вам заявление Валентины Тендлер из Сан-Франциско о спасении Шевалевыми ее мужа Владимира Тендлера... который прожил под охраной Шевалевых 811 дней и ночей...

Они шлют в Яд ва-Шем показание Вали Тендлер, вдовы Вольфа Тендлера, который много раз после войны рассказывал жене, как в январе 1942 года он по дороге в слободское гетто встретил приятеля Андрея Шевалева, и тот привел его в психбольницу к своему отцу: "Профессор сказал Вольфу: "Если хотите выжить, запомните: вы слышите, вы понимаете, но говорить не можете... Вы должны симулировать тяжелого психического больного — рыться в мусорниках, есть под столом, отказываться от еды, вплоть до того, что выбрасывать ее, и т.д. Только со мной, наедине я разрешаю вам говорить"... Мой муж прожил в палате мужского отделения с 10 января 1942 года до 10 апреля 1944 года... Вольф Тендлер научился сапожничать в мастерских психбольницы, которыми руководил Андрей Шевалев. На протяжении двух с половиной лет он никогда и ни с кем не говорил — за исключением нескольких раз, наедине со своим спасителем Евгением Александровичем Шевалевым".

19.02.2001. Думеры шлют Яд ва-Шему фотографию Одесской психбольницы и записку: "Внимание! Справка. Через "Одесское гетто" прошли и в дальнейшем уничтожены более 100.000 евреев!!! На Слободке начиналась КРОВАВАЯ РЕКА евреев Одессы! Волей Всевышнего там же существовал "Остров спасения"! Его создал проф. Е.А. Шевалев и его сын Андрей... Отец и сын спасли более 700 человек!!! Спасено 350 евреев!!!

Через океан, в Иерусалиме Катю Гусарову опалает яростное нетерпение Думеров. Другие более сдержанны, но, чувствуется, не менее напряжены. Л. Дусман: "8.02.2001. Уважаемая Катя Гусарова! В октябре 1998 года в адрес Яд ва-Шем были направлены документы на представление проф. Шевалева Евгения Александровича и его сына Андрея Евгеньевича к званию "праведник Мира"... До настоящего времени мы не имеем никакой информации о судьбе этих документов... Мы очень сожалеем, что такие люди никак не отмечены в музее Яд ва-Шем".

...Сижу в Яд ва-Шеме, обезьянью бездумно вбиваю слова в компьютер, количество задано, гоню норму, мигает опостылевший экран, глаза болят — одно утешение, что спрятан в прохладе от иерусалимского жарко-давящего полдня; и — звонок. В трубке Катя Гусарова: "Только что кончилось заседание Комиссии. Шевалевым присвоено звание Праведников" — голос усталый и радостный. Апрель 2001-го года.

21.05.2001. В.А. Шевалева (жена Андрея Шевалева) — Думерам: *"20 мая с.г. мне позвонила Валентина Коган. [Сообщила, что] Е.А. Шевалеву и его сыну Андрею присвоены звания "Праведников Мира". Я второй день хожу вся растерянная, несобранная, плачу. Если бы мой Андрей дожил до этого дня. Но увы!"*

Теперь на радостях и Думеры пишут в газете: *"Спасибо, друзья из Яд ва-Шема, за понимание. Спасибо Вам, дорогая наша Катя Гусарова...", и В. Тендлер: "Многоуважаемая г-жа Катя Гусарова!.. Я, Валя Тендлер и две наши дочери Софья и Инна счастливы, что имена спасателей нашего незабвенного мужа и отца — Владимира Тендлера увековечены на века! Мы понимаем, что не так легко и просто было это сделать спустя прошедшие 60 лет!.. Мы высоко оцениваем Ваш личный вклад в это дело, Вашу оперативность и четкость. Дай Вам Бог силы и здоровья!"*

Протокол счастливого заседания Комиссии Яд ва-Шема. Меньше двух страниц. Каменные квадраты ивритских букв. Четкие фразы: суть дела и решение. Отмечены главные, кто сотворил память о Шевалевых: Лилия Золоторевская, Валя Тендлер, Валентина Коган, Александра Пасечниченко... И дата — 12 апреля 2001 года.

12 апреля — всплывает цифра в моей замороченной Израилем, затуманенной возрастом памяти. День Космонавтики, Гагарин... 1961 год. Ровно сорок лет назад. Юбилей прорыва в космос! Не совпало ли чуть-чуть, хотя бы для тех, кто верит, что в небе памяти звездами просверкивают праведные души, — не знаменательно ли для них, что в этот именно день запустил Израиль в ту высь имена Евгения и Андрея Шевалевых?

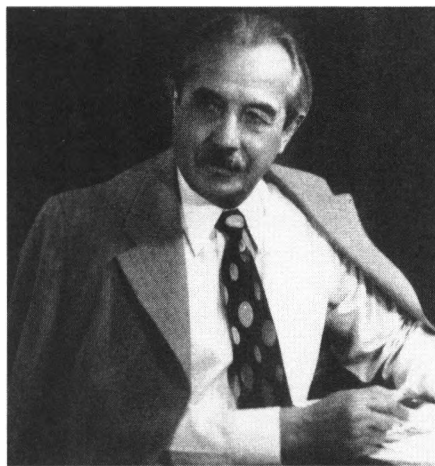
Не дожил Андрей Евгеньевич Шевалев, чтобы порадоваться. Опоздала почесть.

И, кажется, ущербна она.

Думеры в своих газетных публикациях и в обращении к Яд ва-Шему 17.02.2001 говорят и о старшем сыне Е.А. Шевалева офтальмологе Владимире Евгеньевиче Шевалеве, *"который, будучи врачом госпиталя и находясь у нацистов в плену в Севастополе, очень активно спасал там евреев!"* Насколько "активно" и во множественном ли числе "евреев", здесь неясно, но об одном спасенном, одесском враче-еврее В. Лельчицком писал в одесской прессе Л. Дусман. Он, как и Думеры, призывал присвоить звание Праведника Мира троим Шевалевым, отцу и двум сыновьям. Может, оно было бы справедливо? Сегодня по очередному капризу судьбы я наталкиваюсь в Зале Имен Яд ва-Шема на Лист еврея-хирурга М. Ваксберга, где указано, что ему, тяжелораненному, Владимир Шевалев помогал в немецком плену.

Но еще обоснованней огорчиться по поводу жены и матери Праведников Шевалевых, Евгении Никодимовны. И Золоторевская, и В. Тендлер, прося Яд ва-Шем присвоить звание Праведника отцу и сыну Шевалевым, не задумались почему-то о ней, которая работала в той же больнице и жила там же и, с какой стороны ни возьми, не могла не разделять с мужем и сыном хлопоты по спасению и опасность. В рукописи Владимира Шевалева есть в этом как раз смысле эпизод: *"В своих воспоминаниях моя мама пишет о трагической судьбе извест-*

ного одесского невропатолога проф. Розенцвейга... Мои родители стали угрожать его прийти к одному знакомому, от которого они заберут его в больницу в качестве больного. Но вместо этого проф. Розенцвейг попросил свою жену сделать ему инъекцию из шприца с ядом, вышел из дома и упал на тротуар мертвецом". И в записях Андрея Шевалева неоднократно при упоминании спасения евреев мать фигурирует вместе с отцом. Об ее вовлеченности в ситуацию можно судить и по свидетельству В. Коган со слов Андрея Шевалева: "Когда Одесса была освобождена, один из спасенных в больнице евреев приходил к матери А.Е.



Владимир Евгеньевич Шевалев

Евгении Никодимовне с просьбой дать ему медицинскую справку, освобождающую от военной службы. Евг. Никод. была очень удручена этим обстоятельством, говоря, что по ее понятиям спасенный еврей должен бы быть в первых рядах мстителей". Легко представить, насколько претили ей дезертирские интриги спасенного еврея, тогда как собственный ее сын, 24-летний Андрей после освобождения Одессы тут же добровольно подался на фронт, объясняя, что чувствует себя виноватым, так как годы оккупации лишили его возможности воевать с немцами.

Евгения Никодимовна Ясиновская в Лозаннском университете стала врачом и, защитив диссертацию, доктором медицины. Хирургом-женщиной — большая редкость по тем временам. Она работала в знаменитой клинике профессора Ц. Ру, затем ее потянуло в Россию, на родину. Гордая Россия иностранных медицинских дипломов не признавала. Гордая Евгения Никодимовна Россию ододела: в Новороссийском университете сдала двадцать семь экзаменов, все с отличием, и получила звание русского врача. Здесь, в Одессе, в 1910 году, двадцати семи лет она вышла замуж за Е.А. Шевалева. Они уехали в Петербург, работали несколько лет в Психоневрологическом институте у В.М. Бехтерева, который руководил докторской диссертацией Евгения Александровича (не из сора, заметим, росла поэма шевалевской семьи; великий ученый и человек Бехтерев на процессе Бейлиса защищал евреев от ритуального навета). Туберкулез Е.А. Шевалева заставил супругов вернуться в Одессу в 1918 году. Здесь Евгения Никодимовна воевала с детской беспризорностью и проституцией, с эпидемией тифа (едва не погибла, заразившись), создала приют для сотни недоразвитых детей.

Из письма В. Коган от июля 1997 г.: "Она устроила нечто вроде колонии на территории дачи Шевалевых (на Французском бульваре, напротив квартиры), прихватив часть соседской территории. Она сотрудничала с руководством подобных колоний в других городах, переписывалась с Макаренко. А.Е. рассказал мне о том, как за постановку в колонии силами воспитанников "Сказки о царе

Салтане" Евгению Никодимовну арестовывали советские власти, усмотрев в спектакле о царе контрреволюцию. Я думаю, тот факт, что информация о 15 спасенных еврейских детях исходит от Евгении Никодимовны и что это были именно дети, судьбами которых она вообще так много занималась, свидетельствует о ее причастности к этой акции, возможно, осуществленной через румынского прокурора..."

...Удивительная была семья. Обидно, что одесситы, сосредоточившись на именах Евгения и Андрея Шевалевых, почти не коснулись Владимира и вообще не догадались вспомнить Евгению Никодимовну. А я-то сам хорош! Только сейчас, разбираясь в бумагах своих, нашел письмо В. Коган октября 1998-го еще года: *"справедливо было бы ставить вопрос о праведничестве не только Евг. Ал. Шевалева, но и двух его сыновей — Андрея и Владимира, а может быть, и жены Евгении Никодимовны. О подвижничестве брата и матери Андрей Евг. рассказывает, припоминая при каждой встрече со мной какие-то детали"*. Вот ведь был звоночек, прежде всех остальных, да не услышал я — каюсь.



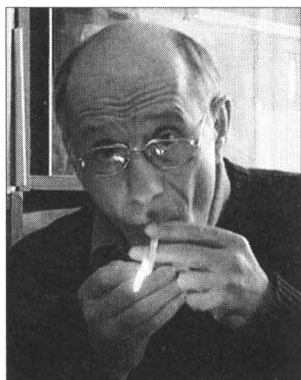
Евгения Никодимовна Шевалева

Катя Гусарова сегодня, в 2003 году, готова начать воевать за присуждение звания Праведника и Евгении Никодимовне, и Владимиру Шевалеву. Оно бы следует для очистки нашей, живущих, совести. Но опять же, где сыскать свидетельства спасенных?.. Умерла уже Пасечниченко, крысы жрут архивы в бесхозном месте, где пропадают записи Шевалевых. Все утекает, остаются вопросы, загадки; ответы могли бы быть поучительны, но какая новая В. Коган найдет силы и время искать очевидцев, побуждать их, пробуждать?

А.Е. Шевалев неоднократно отмечал, что его отец спасал от неминуемой гибели вообще всех психических больных, не выделяя евреев. По свидетельству В. Коган он также подчеркивал, что риск в деле спасения евреев при румынах был не всегда смертельным. В. Коган: *"Со скрупулезностью ученого он четко выделил период, когда румыны были беспощадны, не отказав им, однако, в том, что на каком-то этапе они щадили даже своих евреев — он нашел подтверждение, подняв в библиотеке кучу исторических материалов"*. Деликатный сын хотел избежать возможного преувеличения в Израиле заслуг и отцовских, и своих перед евреями. В. Коган — мне: *"Прочитав в твоей книге "Черновой вариант" о фактах спасения евреев жителями сел и хуторов, где все друг друга знают, он счел их подвиг выше того, что делали он с отцом и братом. Вот такой он человек"*.

Праведник...

В этом номере журнала мы знакомим наших читателей с новым автором — известным петербургским писателем и литературным критиком Самуилом Лурье. В данном случае он, однако, выступает в качестве публициста. Его едкие заметки на общественно-политические темы представляют сегодняшнюю российскую реальность в острых и нелицеприятных ракурсах.



Самуил Аронович Лурье (1942) — окончил филологический факультет ЛГУ, почти всю жизнь проработал в отделе прозы журнала "Нева". Член союза писателей и союза журналистов Санкт-Петербурга, действительный член Академии русской современной словесности (Москва). Автор романа "Литератор Писарев" (Л, 1987), сборников эссе "Толкование судьбы" (СПб, 1992), "Разговоры в пользу мертвых" (СПб, 1997), "Успехи ясновидения" (СПб, 2002) и др. Премия "Звезды" — 1993, "Невы" — 2002, премия им. П. А. Вяземского — 1997.

Самуил Лурье

ГЛЯДЯ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(Осень — зима — весна: дневник провинциала)

03.11.2003

ПРЕДСКАЗАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Пятьдесят лет прошло с того дня, как умер в Париже Иван Бунин, русский гений.

Мы, бывает, посмеиваемся, не без горечи, над знаменитой размашистой фразой: что в сочинениях Пушкина, дескать, выразился русский человек "в конечном его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет". Посмеиваемся: не угадал Николай Васильевич, восторженность подвела. Вот уже почти что на исходе предсказанный срок, а попал бы Гоголь на минутку в современность, взглянул бы на потомков одним глазком — не разбирая дороги, кинулся бы к себе в Донской, затаиться навеки под черным камнем.

А на самом-то деле он как раз угадал. То есть ошибся немного, но в другую сторону. Предсказанный им человек, сделав для нас все, что мог, умер 8 ноября в городе Париже, обзавелся собственным черным камнем на Сент-Женевьев-де-Буа.

Единственно Бунину было дано — или предназначено — передать русскими буквами то состояние, ради которого, наверное, только и стоит быть человеком: когда понимаешь реальность всеми чувствами сразу, причем все они до предела обострены, работая сверхстремительно и согласно.

И это нестерпимое наслаждение — осознавать подлинность сущего, вбирая в себя его прелесть и глубину. Как если бы жизнь была мучительный рай без единой пометки, прозрачная насквозь, насквозь пронзая...

Да что я бормочу. Как будто сами не знаете. Раскрываем Собрание сочинений на любой странице — клянусь, раскрываю наугад! — и вот, пожалуйста. Хоть и нелепо переписывать, но перепишу, чтобы напомнить это состояние абсолютной полноты, когда в любой частности — вся жизнь. Все равно чья. Когда читаете — ваша.

"От холода, от ледяной сырости воздуха большие руки его посинели, губы стали лиловыми, смертельно-бледное лицо с провалившимися щеками приняло фиолетовый оттенок. Он лежал на спине, положив ногу на ногу, а руки под голову, дико уставившись в черную соломенную крышу, с которой падали крупные ржавые капли. Потом скулы его стискивались, брови начинали прыгать. Он порывисто вскакивал, вытаскивал из кармана штанов уже сто раз прочитанное, испачканное и измятое письмо, полученное вчера поздно вечером... и опять, в сто первый раз, жадно пожирал его:

"Дорогой Митя, не поминайте лихом, забудьте, забудьте все, что было! Я дурная, я гадкая, испорченная, я недостойна вас, но я безумно люблю искусство! Я решилась, жребий брошен, я уезжаю — вы знаете с кем..."

Припомнили? Ведь никакого такого особенного словесного мастерства, и сюжет — не новость, и психология — дело прошлое...

А сила вся в том, что вы разом попадаете в особенное пространство, сплошь из резких, отчетливо говорящих подробностей. Каждая — в фокусе, от каждой — укол смысла. И если у вас хватит воли оторваться от текста и оглядеть помещение — вы поразитесь: насколько все вокруг бледней, тусклее.

Этим вот многоочитым бунинским зрением Россия увидела себя всю, в первый раз и в последний.

Понадобилась именно такая биография — чтобы родовитый дворянин был нищим недоучкой, перекасти-полем — не забудем и деревенское детство, и провинциальную молодость, и внезапную столичную славу, и дружбу Чехова, и приязнь Льва Толстого, а также добавим счастья и несчастья донельзя, через край...

Кажется, только таким образом и могло случиться, что один человек проник в мысли огромной страны — почувствовал, о чем она молчит, — с тоской и ужасом догадался, что вот-вот взорвется и потеряет человеческий облик.

Прекрасная Родина больна. Населена безумными дикарями.

Помните, как в "Деревне" она сама же себя честит:

"— Ты подумай только: пашут целую тысячу лет, да что я! больше! — а пахать путем — то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! "Как люди, так и мы", — только и всего".

Вскоре, как известно, Россия рухнула. Осталась — зато навсегда — в прозе и стихах Бунина: да, безумной, но все-таки прекрасной. Судьба позаботилась о том, чтобы никто его не тронул, чтобы не мешали дописать до конца. Множество тайных пособников было у него, тайных союзников, даже и за границей: закаты, дожди, облака, звезды не сводили с него глаз, постоянно утешали: мы с тобой, ты не один.

В результате трудов и удач образовалось сокровище. Мы держим его под спудом, откладываем наслаждение на какое-то потом. На какое? Разве будет на свете радость увлекательней, чем перечитать еще хоть раз эти девять томов?

Это настоящее. Другого нет и, похоже, не предвидится. Морок, желтый туман. Не жили хорошо — не фиг и начинать. Все так же больна прекрасная страна злобой и глупостью; только нынче — не царское время! — государство играет на них с особым цинизмом.

И опять у нас Окаянные дни — с правосудием преступным, с громогласной воинственной пошлостью, вплоть до съездов комсомола. Моря крови пролиты, вконец обнищал народ — а все-таки не опомнился.

Так что примемся лучше перечитывать Бунина, пока его не запретили опять.

Вот он видит в советской газете: "Все на защиту революции, так еще недавно лучезарно сиявшей миру!" И в ярости кричит:

— Когда она сияла, глаза ваши бесстыжие?

Голос, точно, как у Пушкина.

26.11.2003

МИНУТА СЛАБОСТИ

Да, ничего не поделаешь: слаб, до смешного слаб человек. Не говоря уже о беспрерывном табакокурении — то алкоголя себе ни с того ни с сего позволишь, а то и даже исторического оптимизма чуток. На этой неделе я, не поверите, вдруг подумал: а что, если Путин все-таки, в глубине-то ума, хочет хорошего?

Что, если он нас воспитывает — в манере Сократа и ГБ: провоцирует, испытывает, искушает? Как, если помните, тот миланский, что ли, дворянин у Боккаччо... пойду проверю.

Не миланский. А маркиз Салупцкий, взявший в жены, причем по собственному выбору, девицу низкого звания (это в аккурат самая последняя новелла "Декамерона"). И вздумавший вдруг, на десятом примерно месяце счастливого брака (став уже и отцом) "испытать терпение Гризельды путем долгой и мучительной для нее проверки". Как если бы впал в послеродовой психоз.

И ну гнобить подругу жизни, надрывать ей сердце по-всякому. Первым делом инсценировал казнь малютки-дочери. Потом — когда сын родился и подрос — отнял и сына. Используя в обоих случаях чисто демократическую процедуру. Так и так, мол, дорогая жена: идя навстречу общественному мнению — по многочисленным, говорю, просьбам подданных мною принято решение ребеночка замочить. Не возражаешь?

И Гризельда, не дрогнув, как говорится, ни мускулом, отвечала:

— Только бы тебе было хорошо, мой повелитель, поступай как знаешь, а обо мне не беспокойся: ведь я только тобой и живу.

Но какие-то сомнения все же у него оставались. Желая окончательно их развеять, Салуцкий объявил, что вообще разводится. И что женится на другой. А бывшая, дескать, ступай обратно в деревню. Но в день свадьбы чтобы явилась: прибраться в комнатах и поприветствовать молодую госпожу.

Гризельда, естественно, все исполнила в наилучшем виде. Еще и за столом прислуживала маркизовой невесте, как настоящая официантка без страха и упрека.

И только тогда карабас, наконец-то разнежившись, ее осчастливил. Правда, не прежде, чем изложил мотивы своей долгосрочной стратегии. Типа: "я хотел обрести на все время нашей с тобою совместной жизни нерушимый душевный покой". Но зато потом — как из пушки:

— Итак, возвеселись: мнимая моя невеста и брат ее — это наши с тобою дети, и люблю я тебя больше всего на свете и, верно, уж могу похвалиться, что в целом мире нет человека, который был бы так доволен своею женою, как я.

Тут, конечно, именины сердца, многодневная попойка. Словом, хэппи-энд.

К чему я и веду. А не то что сравниваю Путина с мелким региональным деспотом. Совсем наоборот — призадумываюсь: а вдруг я, как эта Гризельда, ни черта не понимаю в происходящем, а на самом деле все будет тип-топ, надо только вести себя правильно. То есть не сдаваться.

В любом кино про щит и меч суровое обращение — необходимый элемент спецподготовки. Тебя допрашивают с физическим воздействием — переодетые свои же: расколешься — с позором отчислят из рядов.

И вообще считается, что люди этой специальности якобы уважают тех, кого не сломали, даже и не своих. Отчасти сомнительно (подозреваю, они не верят, что такое возможно; и грустят, как лермонтовские демоны, от презрительного знания: несть человек, иже не настучит на родную мать, если безошибочно взять его за нужное место), — ну а все-таки: что, если только упорства от нас и ждут?

Что, если нас, так сказать, проверяют на вшивость — точно ли мы дорожим жалкой горсткой пресловутых гражданских прав, или с легкостью обойдемся, даже не заметив потери?

Впрямь ли так уж несъедобен произвол (милицейский, армейский, прокурорский, судейский, общеназначственный) под соусом лицемерного крючкотворства? Или большинство смирилось, как с плохой погодой, а численность меньшинства — в пределах статистической погрешности?

И вот, значит, я допустил на минутку, что Путин втайне сочувствует упрямо-му меньшинству, — собственно, почему бы и нет? Представил, как он радуется (не подавая, конечно, вида) малейшей попытке искривить генеральную линию краткого курса на север Кореи. С нетерпением ожидает, например, парламентских выборов: вдруг да покажут, что страну больше не возьмешь на крокодиловы слезы, ни даже на визгливую лезть?

Приезжает рано утром в Кремль, подходит к окну, смотрит на город, вздыхает о свободе — и шепотом закликает ее, как Бродский — осеннюю муху:

— Не умирай! сопротивляйся, ползай!

И поглаживает по оставшемуся крылу.

03.12.03

ЦЕПЬ ЭПИФЕНОМЕНОВ

Дело было жизнь назад в славном городе Тарту, столице структурализма, каковой для тогдашних и тамошних филологов заключал в себе всю премудрость мира (Ю. М. Лотман был пророк ее). В чем состояла, доподлинно не знаю: мне так и не далась, — а только слова порхали в сигаретном дыму шикарные. Типа: бимодель. Или: комплиментарная оппозиция. Иной тогдашний тамошний умел на ходу составить из любых непонятных слов довольно связную фразу. И вот один знакомый — по-моему, не без умысла поставить меня, провинциала из Богом забытого Ленинграда, на нижерасположенный шесток, — возьми да оброни: как, разве вы не знаете, что жизнь — всего лишь цепь эпифеноменов? у нас в Тарту любому второкурснику известно.

Как эта формула мне понравилась! Пышнотаинственного термина с левосторонним древнегреческим раструбом в попадавшихся мне словарях не нашлось — и тем лучше. Туманность-то и утешает, соединенная с важностью. И когда кажется, что загрязнение ноосферы отходами мышления дураков превысило предельно допустимые нормы... Когда переплываешь, переплываешь помойку, расталкивая буквально лицом всевозможную дрянь, — а другого берега словно и нет, — одно спасение: перевернуться и поглядеть в несуществующее небо. А эпифеномены пускай себе переплетаются хоть как.

Культура: присуждены премии "Человек года". После серьезнейшего обсуждения (воображаю эти споры до хрипоты) — премий удостоены Президент, Патриарх, Министр Внутренних Дел и Генеральный Прокурор.

(А вдруг все они останутся на постах и в 2004-м? и столько же всемирно-исторического свершат? Как, интересно, жюри выйдет из положения, чтобы никого не обидеть? Кстати, а в жюри-то кто?)

Политика: сын Кадырова назначил за голову Басаева награду — \$ 5 млн. Пояснил: хочется подарить эту голову папе на Новый год. (Под елочку спрятать. Или ночью под кровать. Папа проснется, пошарит ногой, а вместо тапочка — выкатится сюрприз!) Валюта, уточнил, — от чеченских доброжелателей, пожалавших остаться неизвестными.

(Генерал Трошев, откуда ни возьмись, горячо одобрил эту инициативу и даже выразил намерение лично отправиться на поиски... Нет, почему-то не Басаева — денег.)

Дружба народов: цветных студентов одноименного университета избила уличная банда как раз возле их общежития, которое несколько дней назад, надо же, загорелось — по чьей-то, говорят в МВД, неосторожности — со смертельным исходом для многих.

Законность: Бывший Генпрокурор, пожелавший баллотироваться в Парламент, вычеркнут из бюллетеней по решению Верховного Суда — за циничный обман избирателей. Утаил от общественности роковой биографический факт: не указал в представленных документах, что является профессором. (Профессором чего — не говорят; хорошо бы — Кислых Щей.)

Опять культура: политическая партия запустила по телику предвыборный ролик с песней "Я люблю тебя, жизнь!" в исполнении Марка Бернеса. Вдова певца, ссылаясь на авторское право, попросила сколько-нибудь ей заплатить. Не тут-то было, партия вдове сказала: шииш! — с такой мотивировкой: "Мы относимся к творчеству Марка Бернеса как к народному. Его песни были написаны в период социализма. А эти либеральные торговые ценности, которые насаждаются повсеместно, не свойственны нашей стране".

(У песни вдобавок есть текст, а у текста — автор, Константин Ваншенкин, — вполне, по-моему, живой, дай Бог ему здоровья.)

Опять политика: петербургский парламент принял закон — поднять выплату гробовых до *прожиточного* уровня. Разумеется, не сразу, а по мере удвоения ВВП, но если уверенно смотреть вдаль, то уже в 2005-м, кому посчастливится дотянуть, отвалят на похороны сразу 2600 рублей, а не как сейчас.

Экономика: в Новосибирске оживился малый бизнес. Местный прозектор наладил регулярную поставку мертвецов за рубеж. За отчетный год он отправил в анатомический театр Гейдельбергского университета 56 трупов. Это не считая бандеролей (или мелких пакетов) с отдельными участками отечественного мозга (четыреста с чем-то штук). Понятное дело, нашлись завистники, посыпались доносы, дошло до суда, но данная ветвь власти, проверив таможенные и налоговые декларации, признала экспорт жмуриков законным.

(Национализировать бы его: естественная же монополия! В пике петербургским законодателям обратим госрасход вспять, конвертируем в гос. же прибыль! Немножко боюсь за немецкую науку анатомию — не уклонилась бы в сторону неверных обобщений. А впрочем, для обороноспособности это даже к лучшему: как фальшивые городские турсхемы, чтобы вероятный противник заблудился.)

Опять политика: Центризбирком на пару часов приостановил досрочное голосование в Чечне. Сама-то по себе услуга полезная: допустим, у избирателя намечена на воскресенье пирушка за городом, а гражданская совесть язвит: проголосуй, проголосуй! исполни свой долг, и будь что будет! кто же, если не ты? И государство, предвидя такие случаи, — ладно уж, говорит, ублажи ее, урви чашок в среду или в четверг, специально для тебя откроюсь. Но, наверное, г-ну Вешнякову примерещилось, что 40000 (сорок тысяч) таких сознательных солдат (и с таким свободным распорядком дня) — это перебор, и если в воскресенье им опять приспичит, — возникнет давка. После консультаций (с кем бы это?) сошлись на семи тысячах с половиной.

Это все, вдумайтесь, новости недели. Словно бы на том свете ума, в кривом зеркалье. И как подумаешь — по щучьему велению, по всенародному голосо-

ванию все останется как есть еще на годы, — только и скажешь себе: успокойся, отстранись; цепь эпифеноменов, не более того.

Однако ж — и не менее.

8.12.03

КАННИБАЛОВА КЛЯТВА

В архипелаге Фиджи, да будет вам известно, более трех тысяч островов. Выглядят на карте как мушиные следы по синеве Тихого океана. Ни в какую лупу не разглядеть деревню — или поселок городского типа: Набутау-Тау, — где случилось недавно это событие. Самое важное вообще из всего, что клокочет вокруг, называясь всемирной историей (где мы, побарахтавшись на поверхности, уходим, сразу же забываемые, в бездну плюсквамперфекта).

А именно: жители названной деревни, собравшись (на площади; а не то — на околице; допустим, на выгоне) все как один, от мала до велика, исполнили некий ритуал — или церемонию, — короче, нашли способ сказать хором и со слезами: простите нас, Бог и человечество, за то, что в 1867-м году наши предки сожрали христианского миссионера из Великобритании; нам стыдно за прапрадедушек и прапрабабушек; горько думать, что в организме каждого из нас мельтешат микрочастицы позорной той трапезы; жаль тебя, съеденный англичанин; не смеем произнести: мир твоему праху, — раз уж он стал нашим навозом, — но с небес-то тебе видно, что мы уже не фауна; обещаем во все грядущие века вести себя только по-человечески.

Что-то такое, в общем. То есть народ, не давший миру Толстого и Достоевского, внес выдающийся вклад в летопись нравов.

И почему-то верится, что впредь в Набутау-Тау и вообще на Фиджи все будет хорошо. Правопорядок, благосостояние, да и культура.

Ведь это неправду написал великий русский поэт: что якобы дело прочно, когда под ним струится кровь; сам этот образ — зыбкий от очевидной фальши.

И тоже неправду, как ему и положено, говорит у великого прозаика Отец Лжи: что, дескать, кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья, — это в тридцать седьмом-то тысяча девятьсот! или в тридцать девятом?

Не растет на крови ни виноград, ни ВВП. А если вырастут — виноград будет вырублен, а национальный продукт обернется дюжиной суперсубмарин — короче, смертью, смертью.

Ничего-то хорошего у нас, граждане, не получится, пока мы не вдумаемся в пример Набутау-Тау.

Так не бывает: чтобы в стране из года в год совершались миллионы убийств, сочинялись миллионы же доносов, уцелеть нельзя было иначе как ценою совести, главной ценностью считалась ложь, — и так промелькнула жизнь нескольких поколений, — а потом вдруг: раз! переоделись, переименовались — и зажили не хуже других.

Когда историческая совесть нечиста, с производительностью труда что-то происходит. Маркс понятия об этом не имел.

Когда историческая совесть нечиста, что-то случается с памятью. Ницше где-то изобразил их конфликт: память твердит — это было, — а гордость орет на нее: все ты врешь! И гордость, конечно, побеждает.

Когда нечиста историческая совесть, все вокруг начинают кричать о чести. (И хулиганы пишут на заборах: "Россия — всё, остальное — ничто!")

А честь — это, извините, вещь такая, что человеку, хоть немного побывшему советским, убедительно ее не сыграть. Непременно выйдет смешно, как правило — и противно.

Хотя, конечно, все мы о себе воображаем, что уж вот этого-то и этого не сделаем, до такого, что некоторые себе позволяют, ни за что не опущусь. И кое-кому это удастся — до поры до времени, да и то лишь в самом интимном кругу. Так, например, президент Путин ни за что не поцелует руку патриарху Алексию. Знает, просветили его, что полагается, подходя под благословение, лобызнуть руку, — но! Кадровый офицер — секретному сотруднику? jamais! никогда в жизни.

Но если взять рангом пониже... Академику Жоресу Алферову, нобелевскому лауреату, допустить, например, в рассуждении заведомую логическую ошибку — тоже, казалось бы, запахло; логика у людей такого образования — почитай, та же честь. Но вот вчера — слышу своими собственными ушами (да и глазами вижу) — телеролик: я, говорит научное светило, в этом округе живу много лет; и работаю тут же; поэтому голосуйте за Селезнева...

Главное — симпатичный ведь академик; наверняка в своем-то деле — король; так за него неловко.

А вот за генпрокурора Устинова — ничуть. Вручали тут ему премию — Человеком Года он оказался — такую прочувствованную речь в храме Христа-Спасителя закатил. Насчет веры. Типа: без Бога — ни до порога. Ну, и про величие наше, само собой. Смотрю и думаю: но ведь в партии-то состоял, не говоря о комсомоле? (Допускаю, что — из-под палки, а после собраний горячо молился: пропади ты пропадом, безбожный советский строй! крестик прятал от коллег в туалетном бачке.) Должен, значит, чувствовать хоть частицу вины перед всеми, кого эти славные когорты загнали в аккурат за опиум для народа? Отчего бы в таком случае христианину-то не изронить словцо раскаяния: мол, это я теперь человек года и по праву приписан в клику святых, а раньше был не такой замечательный?

Ничего подобного: нескрываясь доволен собой человек — и горд. Словно самого Господа Бога тормознул подпиской о невыезде.

И вот этой пошлостью ложных чувств, словно кипящим калом (страшно популярное в древней Руси тактическое оружие: незаменимо при обороне крепостей), бедняга избиратель изгваздан с головы до ног: гордись армией! милицией! юстицией! отдельно — конвойными войсками! десантными! ракетными! Гордись прошлым и будущим, Сталиным и Столыпиным, Суворовым и Басковым, Бенкендорфом и Третьяком!

Гордись! кому говорят! Попробуй только не гордиться — будешь не патриот. А уж это — ежу понятно — самое страшное. Несравненно хуже, чем хроническая глупость.

Мало ли что Лев Толстой (хоть и сам лицензирован как предмет гордости) написал: "Гордиться своей страной — дурно. Стыдиться ее — вот это хорошо".

Вперед, гордый человек! Заполняй урны! Остальное — не твое дело.

А Толстого пускай читают на Фиджи.

Кому — Фиджи, кому — ГУЛАГ. Разные бывают архипелаги.

09.02.04

ПЯТЫЙ ПУНКТ

В Москве опять теракт. В тоннеле метро — запах гари, сгустки металла, куски тел.

И поезда на перегоне Павелецкая — Автозаводская прибавляют скорость, чтобы пассажиры не пялились в окна.

Или не теракт. Ровно ничего не известно. Диверсанты, если были, разорваны в неопознаваемые клочья. Взрывное устройство, судя по всему, не найдено. Сыщики осторожненько так весь день клеивали в сводки: не исключено, вообще-то, что какой-нибудь болван перевозил в рюкзаке взрывчатку — товар-то ходовой, — а вагон подбросило на стыке рельсов — ну, и все. Тридцать девять трупов, сто тринадцать раненых.

Но министр обороны сказал из Брюсселя: "этот гнусный террористический акт..."

А президент сходу окоротил и сыщиков: "Мы не нуждаемся в косвенных подтверждениях. Мы наверняка знаем, что Масхадов и его бандиты связаны с этим террором..."

Все поняли правильно: косвенные подтверждения — это разные там следы, улики. Этого не нужно.

(Нажглись уже: про взорванные дома тоже знали наверняка — и армадой пошли на Чечню, — а суд признал виновными каких-то карачаевцев. Про "Норд-Ост" тоже наверняка знали — от президента же: акция спланирована в международном терцентре, — захватили обездвиженными всех, кто мог это подтвердить, — но всех убили.)

Поэтому следствие пошло по единственно верному пути: вынули пленки из телекамер, установленных над эскалаторами, на платформах, — нашли пару кавказских лиц (как не найти в многотысячной толпе!) — объявили в розыск по словесному портрету.

Хотя как их искать, если распались на фрагменты? А вдруг не распались: внесли в вагон (в самый час пик) чемодан или рюкзак, поставили на пол, спокойно вышли, — нажали кнопку на карманном передатчике. В этом случае требуется бронежилет лет 35-ти (вариант — 47-ми) с крупными чертами лица, рост — 177.

Но это частности. Чтобы мы понимали, что органы не дремлют, что знают свой маневр.

Да на них никто и не обижается. Это раньше была такая мода — чуть кого убьют, мы сразу: куда смотрит милиция? Теперь, после "Норд-Оста", это дурной тон. А хороший установился, когда две женщины взорвали себя у входа в "На-

циональ": с первого же слова вспомнить про Израиль — уж на что могучая страна, и то не сладит с международным терроризмом, — чего же требовать от бедной госбезопасности? — не может же она быть верна присяге за такие смешные деньги! — подайте ж милостыню ей!

Вообще же общество слегка разделилось: на тех, кто ездит на метро, и на тех, кто — никогда.

Те, кто — никогда, страшно возбудились и внесли массу ценных предложений:

немедленно ввести в стране чрезвычайное положение и отменить президентские выборы;

немедленно возобновить применение смертной казни;

немедленно отчислить из российских ВУЗов студентов, принадлежащих к кавказским национальностям;

немедленно установить при входе в метро металлоискатели, а подозрительных пассажиров обыскивать при содействии собак;

немедленно выслать из Москвы (но не только же из Москвы, правда?) всех — как они там называются? — всех приезжих — всех кавказцев — всех черных — проходимцев — авантюристов — короче, сами знаете.

А кто ездит в метро — тех никто ни о чем не спрашивал, но они сами стали звонить и писать на радио "Эхо Москвы" (больше, оказалось, некуда).

И выяснилось, что умственные способности обычного горожанина в среднем значительно выше, чем у главных политиканов. По крайней мере, по первым трем пунктам нормальные люди не стали тратить слов.

(Ну что, в самом-то деле, грозить самоубийцам — смертью? нет мозгов придумать что поумней — так, может, лучше помолчите? а насчет студентов — чтобы создать в кратчайшие сроки молодежные бригады униженных и оскорбленных — не Садама ли денежки отработываете Хусейна, содержателя вашего? ох, будь у прокуратуры правосознание или хоть у отдельного какого прокурора совесть! и так под статьей ведь ходите за гос. измену!)

Пункт четвертый — скрепя сердце примут все.

А пятый — с восторгом, от всего запуганного сердца. О, да, о, да! Выслать, выслать, запретить въезд, лишить прав!

А передовые публицисты "Эха Москвы" — тут как тут — отчитывают обезумевших обывателей: так нельзя; это было бы негуманно; бесчеловечно; мы с вами тогда были бы фашисты и сволочи; кроме того, лишились бы свежих овощей и дармовой рабсилы; и вдобавок устройство наших органов таково (смешная зарплата и все такое), что вышлют обязательно не тех — и с ними кого-нибудь из нас же, — а тем, наоборот, продадут какие угодно паспорта и впридачу снабдят оружием.

И хотя все чувствуют, что так, скорей всего, и будет, — но нельзя же оставить все как есть — и кланут передовых публицистов последними словами.

По-своему правы: какая, к черту, гуманность? Дело-то серьезное: в опасности дети, причем наши собственные.

Так не лучше ли включить, по методике великого Эркюля Пуаро, серые точки головного мозга?

Вот, например, мы все — абсолютное большинство — не желаем, чтобы чеченцы пользовались правами граждан РФ. Но ведь очевидно, что и эти злодеи, вот которые нас взрывают, — не хотят быть гражданами РФ. И так сильно не хотят, что готовы умереть — и умирают вместе с нами, — только бы не быть гражданами РФ. И пресса пишет, и политики, не стесняясь, говорят: эти злодеи оттого не щадят своих жизней, что их родители, дети, братья, сестры, мужья, жены убиты (запытаны, изнасилованы) только за то, что не хотели быть гражданами РФ. А те, кто и хотел, расхотели после того, как наша армия и наши органы убили всех, кто был им дорог.

Не намечается ли тут какое-то взаимоприемлемое решение, как по-вашему?

Не пора ли взглянуть на вещи трезво?

09.03.04

МАРШ КОРИОЛАНА

Первыми сведениями о процедуре демократических выборов я, как и каждый советский человек, обязан Вильяму Шекспиру. Весь ее психологический зигзаг чудесно расписан в трагедии "Кориолан". Там некто Кай Марций, аристократ и полководец Древнего Рима, прославившийся победой над Кориолами (ну, типа присоединил к столице Волоколамск и принял псевдоним "Волоколамский"), — домогается должности консула.

Верней, не домогается, но у него честолюбивая мамаша, это во-первых; а вторых, римский сенат, опасаясь плебса (недовольного, как всегда, ценами на хлеб), прямо-таки мечтает, чтобы к власти пришел силовик — с большими погонами, с авторитетом в войсках.

И вот непосредственно после аншлюса — в смысле сразу после вхождения братских Кориол в союзное государство — сенат возводит бывшего Кая Марция, ныне Кориолана, в сан консула. Тот кланяется и благодарит, и мамаша счастлива: мечта сбылась.

Но проблема в том, что по Конституции сенат вправе лишь предложить кандидатуру, а утвердить ее должен свободный народ (население Вечного Города минус рабы) прямым и равным голосованием. Правда, не тайным.

Обычай, по Шекспиру, таков: кандидат стоит на каком-нибудь пешеходном перекрестке, завернувшись в затрапезное тряпье — в какую-нибудь застиранную тогу, — но так завернувшись, чтобы шрамы от ран, полученных в битвах за отечество, были открыты взорам прохожих. Они, гуляючи, проходят мимо, а он как можно более жалобным голосом и с максимально приветливой улыбкой просит каждого отдать ему свой голос — в виде талона или, не знаю, черепка, лоскутка. При этом он, не умолкая, озвучивает свою анкету, послужной список, наградной лист, — а полученные голоса складывает в саквояж.

В общем, картина знакомая. В наши дни более типичная для переходов подземных. (Раба Рима было влом построить метро, что и предопределило судьбу империи.)

Тут и начинается трагедия как таковая. Нашему Кориолану запахло избраться бомжа и попрошайку. Как говорит руководитель его предвыборного штаба, некто Менений, — Кориолан любит народ, но в одной постели с ним спать не станет, не настолько демократ. И к тому же скромнен и прост: одно слово — рубака. От рекламных роликов его буквально тошнит:

Избранники народа, как он может
Лстить вашим плодовитым оборванцам
(На тысячу которых нет и двух
Людей достойных), если много легче
Ему отдать всю жизнь во имя чести,
Чем пять минут вниманья восхваленью
Своих деяний?

Соответственно, не может быть и речи о дебатах, программных заявлениях и прочей ерунде.

Великий драматург тонко уловил некий моральный изъян всей этой работы с электоратом: в ней заложена фальшь. Политик идет на выборы, словно раб — на рынок, и должен суметь себя продать, — чтобы стать хозяином тому, кто его купит. А еще не родился Достоевский, и некому сказать: смипись, гордый человек. И сенат уговаривает Кориолана: смипись притворно, только для виду, а уж потом покажешь этой грязной черни кузькину мать. Сохрани, так сказать, преемственность власти, а то не легитимно получится:

...Не раздражай народ напрасно,
Смипись с обрядом древним и добудь
Свой сан по установленному чину,
Как все, чей ты преемник.

Ответ Кориолана — совершенно поразительный:

Роль такую
Играя, покраснею я, и лучше
Народу этого не видеть.

Тем не менее, партия "Единый Рим" добивается своего: Кориолан идет на выборы. Топчется, значит, на Форуме и препирается с избирателями, пытается, однако, сохранить достоинство:

— Если вы настроены так, чтоб я был консулом, отдайте мне свои голоса. Вы же видите: я одет, как полагается по обычаю.

Спектакль раздражает его безумно, и в голосе то и дело прорывается язвительный рык:

— Если мудрому народу милей согнутая спина, чем прямое сердце, что ж, я выучусь кланяться пониже и корчить сладкие рожи на манер тех, к кому он благоволит; словом, буду прислуживаться ко встречному и поперечному. Поэтому прошу вас: изберите меня консулом.

Но едва очередная группа трудящихся удаляется, исполнив свой гражданский долг, соискатель скрежещет:

Не лучше ль,
Чем роль шута играть, отдать и должность
И честь тому, кто ради них все стерпит?

И нервно щелкает застёжкой саквояжа. Который, между прочим, исправно наполняется. Электорат в целом настроен благодушно, рассуждая примерно в таком ключе, что не избрать Кориолана — "это, конечно, наше право, но ведь этим правом мы воспользоваться-то не вправе — уж если он нам про свои благородные дела расскажет, так нельзя же нам такое неблагородство проявить, чтоб ему в признательности отказать!"

Короче, солнце заходит, участок закрывается, exit-polls предсказывают убедительную победу, и уже можно, приняв душ, облечься в одежду консула, — сенат готов утвердить протоколы избиркома, — но тут в дело вмешивается демшиза в лице так называемых народных трибунов: требует отменить результаты выборов. Юридическое основание — отсутствие у Кориолана внятной программы с конкретными обещаниями. Идейное — он не скрыл своего презрения к формальной процедуре — точно так же поперет (от "попирать") и права древнеримского человека и гражданина. Органы самоуправления тут же санкционируют митинг протеста:

Плебеев созовите
Для обсуждения дела и отмены
Избрания безрассудного. Сошлитесь
На то, как он спесив и вам враждебен,
На то, с каким презрением одежду
Смиренья он носил и как глумился
Над вами, голосов прося...

Тут происходит что-то вроде торжества ГКЧП, — и вообще дальнейший ход произведения безмерно печален.

Вот что бывает с народами, живущими по Евклидовой какой-нибудь арифметике, — приученных с детства выбирать одно из двух, из трех и так далее. У нас-то, слава тебе, Господи, — у нас, безошибочно и единодушно выбиравших Сталина и Брежнева, — есть в заветном слое мозга одна такая замкнутая цепь, что никакое крючкотворство не разомкнет. Точка, делясь на самое себя, становится тучкой. Тучка — строчкой нулей. На том стоим. А древний Рим пусть отдыхает.

05.04.04

ПОБЕЗМОЛВСТВУЙ, ЛАДНО?

Партия "Единая Кормушка" проштемпелевала закон против пикетчиков.

Что за уродливую фразу вывела моя рука! В русском языке и слов таких, по-ди, нету, — подумал я и полез в словарь.

Но увы! Язык все помнит и, соответственно, все предвидит. Есть в советском лексиконе Штемпелевальная Машина (правда, еще не как синоним парламента), нашлись и пикетчики. С иллюстрацией из прозы Маяковского — путешествуя по САСШ (Северо-Американским, кто не помнит, Соединенным Штатам), певец молоткастого лично наблюдал, как империалисты попирают права трудящихся:

"На фабрике забастовка. Рабочие должны отгонять штрейкбрехеров... Но останавливаться они не имеют права — остановившегося арестует полиция на основании закона против пикетчиков".

Тут же и азы политтрамоты: пикетировать — это значит "выставлять представителей где-л., обычно перед правительственными учреждениями, для выражения протеста против чего-л."

И вот отныне с этим покончено. Словарная статья отменена статьей нового закона: отвалите с гражданскими чувствами куда-л. подальше! чтобы возле учреждений духу вашего не было! и на транспортных магистралях не возникайте!

Короче говоря, забудьте про так называемую свободу собраний и манифестаций. Божией милостью Николай Второй даровал (осенью 1905), а коллективный Грызлов отнял. Хотя вообще-то Конституция РФ гарантирует (см. ст. 31).

Все это было бы очень грустно, когда бы не сделалось наконец так смешно. Огорчает, не скрою, что уже не выйдешь, как бывало, на улицу (она же магистраль), держа над головой самодельный плакат: "Да здравствуют начальники!" Сейчас же тебя под белы руки, да огладят дубинкой, да запрут в обезьяннике, повозив предварительно лицом по столу, — а не нарушай! Желаете выразить — найди себе пустырь. Или выгон. В крайнем случае, ступай в лес. Предупреждаю кого следует, как положено.

С другой стороны, мы же понимаем: иначе с нами нельзя. Мы болтливы и не деликатны. Не умеем беречь покой вождей. Некоторые из нас даже и в золотом веке, случалось, портили городской пейзаж. Соберутся ввосьмером да как рывкнут на всю Красную площадь: свободу Чехословакии! Тоже, между прочим, прикрываясь Конституцией. Хотя прекрасно знали, что тюрьмы не миновать.

А теперь-то этот тормоз отказал, и ожидать от нас можно буквально всего. Изнежился народ, избаловался, слабонервный какой-то стал. Квартплату поднимут раз в пять — мы уже в истерике. Что же будет, когда придется, предположим, выселять неплательщиков, или пенсионеров безбилетных гнать из троллейбуса взашей?

Вот нас и предупреждают культурно. Дескать: народ, а народ! Мы тут собираемся тебя маленько поприжать — для твоей же пользы. В смысле — для славы Отечества. Облегчить кошелек и вообще подтянуть. Так ты, знаешь, — того... Побезмолвствуй, ладно? Не ори под руку и не толпись, короче — не приставай.

Мешаешь строить Вертикаль. Все равно же, пока она не достроена, не видать тебе ни белки, ни свистка.

Зато как красиво будет она сверкать под солнцем, буквально ослепляя невооруженный глаз! Подобная космической ракете на вечном старте, фановая труба с неба до земли: там нажмут на рычаг — откроется клапан — и государственная мысль с веселым грохотом, как бы резвяся и играя, низвергнется беспрепятственно сюда. В наши бедные селенья.

Но пока мечта недо воплощена — пусть Любимый Руководитель видит вокруг только счастливые лица, слышит исключительно радостные голоса и только когда сам захочет. Для чего и нужен демократический парламент. Который разбирается с населением совершенно по пьесе "Ревизор": помните, когда представители бизнес-сообщества попытались рассказать Хлестакову, что Городничий погряз в коррупции, тот воспользовался своим правоохранительным органом:

"Слышен голос Держиморды: "Куда лезешь, борода? Говорят тебе, никого не велено пускать"".

Ну и правильно. Перетопчемся. Снявши голову, по волосам не плачут. Сами же проголосовали в том смысле, что ешьте нас с кашей, приятного аппетита. Мол, вам видней, при социализме нам жить в дальнейшем, при капитализме ли, а нам как-то даже легче, когда будущность окутана дымкой неизвестности. Как вам будет угодно. Чего изволите.

А чирикать — если уж приспичит — будем, как привыкли, за кухонным столом. Желательно — за накрытым, чем Бог послал.

Тем более, климат у нас, как известно, не республиканский. От митингов этих и шествий — ничего, кроме ОРЗ. Это по Мадриду можно часами разгуливать миллионной толпой. А у нас — нет смысла. Идешь, вопишь по слогам: "Фашизм-не-пройдет!" — и самому совестно, потому как знаешь: пройдет, в случае чего, преотлично.

И вот когда пройдет — и взволнованный голос по радио скажет: граждане! страна в опасности! все на защиту законной власти! — мы усядемся поудобней. И нальем по второй. Согласно вашей инструкции. А впрочем — хоть бы и вопреки.

"Глупову нужен был именно "сумрак законов", то есть такие законы, которые, с пользой занимая досуги законодателей, никакого внутреннего касательства до посторонних лиц иметь не могут".

Так описывает М. Е. Салтыков-Щедрин эпоху стабильности. До Штемпелевальной Машины он не додумался, зато сформулировал знаменитый Первый закон Беневоленского:

"Всякий человек да опасно ходит; откупщик же да принесет дары".

Тут и конституция, и политика с экономикой, и национальная идея вся как есть. Ну чего нам еще нужно — рожна, что ли?

26.04.04

ПОЛЕ ЧУДЕС

Боже, храни дураков! Неутомимые ньюсмейкеры безвременья. Неистощимые. Всегда у них найдется, чем приятно удивить.

Факты-то жизни как таковой — однообразны до полной предсказуемости. Наподобие игры "Что? Где? Когда?", крайне упрощенной.

Подскажите второе и третье, а первое уж как-нибудь отгадаем.

Допустим — город Кострома, на прошедшей неделе. Что случилось там с мальчиком одиннадцати лет, по-армянски черноглазым и, тоже допустим, смуглым? — Не вопрос. Что такого необыкновенного могло с ним случиться: подошли на улице, облили бензином, подожгли.

Тогда — Санкт-Петербург, станция метро, на платформе стоит студент из Сирии, приближается поезд, — что дальше? — Тоже не бином Ньютона: подбежали, столкнули под колеса, и все дела.

Усложним: что думал российский военный летчик, выпуская ракету класса "воздух-земля" по женщине с пятью детьми мал-мала меньше? — Так это же в Чечне! это же были не дети, а чеченцы! международные, короче, террористы. Не в переговоры же с ними вступать.

Ладно, тогда — Сибирь, Хакасия, какая-то шахта "Енисейская" — хозяйка шахты проживает в Москве, рабочим не платит с января, они объявили голодовку, — что это им даст? — А то самое, что и всегда бывает, если организм ослаблен недоеданием.

И точно. Один шахтер уже умер. Как писал предприниматель XIX века: "Умер, Касьяновна, умер, сердечная, умер и в землю зарыт".

Разве это новости? Какая тут пища для ума? И гражданским чувствам негде разгуляться.

Но есть — к счастью, есть — у нас люди, которым только покажи палец, тут же извлекут из него государственный интерес.

Вот сейчас, например, витии расшумелись: опять русский язык в опасности! Украина, представьте, до того обнаглела, что собирается на своем Гостелерадио — или как его там — повсеместно подменить великий и могучий — собственным, жовто-блакитным! Это же явный, циничный шаг навстречу агрессивному блоку НАТО! Не говоря уже о том, что попирается неотъемлемое право человека — не понимать языка страны, в которой он живет.

Не можем же мы оставить миллионы соотечественников (что вы бормочете? бывших? а не безродный ли вы, часом, жидомасон?), повторяю: соотечественников — на произвол судьбы! Там же дети! Беззащитные дети, которые, если мы не вмешаемся, рано или поздно превратятся — страшно выговорить — в украинцев! Лишатся возможности читать резолюции российской Госдумы в подлиннике! (Мало ли что в школах русский пока еще преподают! А неизбежные прогулы?)

Положим, это произойдет еще не скоро. Но страшный пример Латвии — у всех перед глазами.

И праведный гнев бушует в наших сердцах — опять-таки скрашивая жизнь.

Вся-то страна — с ноготок, а какие коварные там националисты! Еще десять лет назад все рассчитали, все предусмотрели. Невинный малыш, буквально ничего не подозревая, плелся с букетом в первый раз в первый класс — и его сходу начинали приучать к так называемому государственному, к так называемому латышскому. Как говорится: тут словечко, там словечко — будет песенка. И вот кошмарный результат — уже теперь в старших классах все — все! — владеют наречием аборигенов, при царизме и социализме ни для кого не обязательным! А среди этих старшеклассников чуть не половина — с фамилиями на -ов, то есть, как бы это сказать поддипломатичней, наиболее вероятные наши будущие соотечественники.

Их родители, да и деды, преотлично обходились без латышского. Жили с местными как бы в разных мирах. А теперь что же — будет один народ, и все должны понимать друг друга? И люди, родившиеся в Латвии, станут считать ее, чего доброго, своей родиной? Как, например, какие-нибудь шведы в Финляндии?

И вот мышеловка захлопнулась: отныне десятиклассники в русских школах обязаны (какое варварство! какая жестокость!) две трети учебных предметов (по своему выбору) проходить опять-таки на местном языке.

Чтобы, значит, потом поступать в вузы и колледжи, занимать выгодные и престижные должности наравне с потомками коренных жителей, и все такое.

Не желают, значит, сателлиты агрессивные, чтобы которые на -ов чувствовали себя в Латвии существами второго сорта. Стабильности хотят, единства. Не исключено, что и на расцвет культуры надеются. Ведь это бывает.

Но мы, понятное дело, не собираемся сидеть сложа руки. А всех патриотов призываем, наоборот, ходить. И как можно громче вопить.

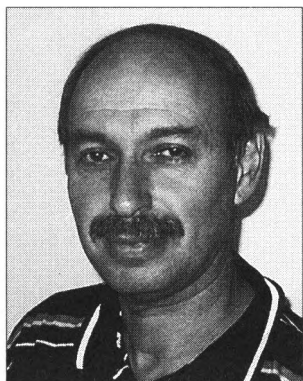
Типа: Россия для русских, а для кого Латвия — большой вопрос. Наплюйте, подростки, на свою будущность в этом буржуазном государстве. И так далее.

Тут, конечно, не без риска: что, если, как Буратино, поверят и рванут к нам, на Поле Чудес? Что ж, не наша печаль. Зато хлебнут интересного до слез, а в Прибалтике скучновато.

Вообще — чем легче где-нибудь живется, тем тише становятся там дураки.

То ли дело у нас. Идеи так и рвутся в воздухе. Даешь срока за ваххабизм! За непочтительность к депутатам и вообще начальникам! За непротивление злу насилием! За злоупотребление русским языком!

Кстати, последнее предложение лично я горячо поддерживаю. И предчувствую недурной дополнительный заработок, как только данный закон войдет в силу. Дело в том, что я в состоянии практически любому губернатору и даже депутату поставить склонение числительных. Снимаю, так сказать, порчу. За два-три сеанса. Но брать буду дорого, — предупреждаю.



Марк Амосин (1948) — критик, литературовед. В Израиле с 1990 г. Автор ряда статей на литературные и культурологические темы, а также книги "Братья Стругацкие. Очерк творчества". Докторскую диссертацию защитил на кафедре славистики Еврейского университета. Живет в Иерусалиме.

Марк Амосин

ФЕЙХТВАНГЕР В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Фейхтвангер — когда-то это трудное, с запинкой произносимое имя звучало для советского, особенно советско-еврейского, читателя звонко и притягательно. И не только потому, что через его книги, в первую очередь трилогию об Иосифе Флавии, мы в 60-е годы, в канун Шестидневной войны соприкоснулись с еврейской историей и традицией, черпали — из самого текста и из комментариев — впечатляющую информацию о еврейском образе жизни, о мятежной и трагической судьбе Иудеи начала тысячелетия. Много более того — романы этого немецкого еврея пробивали бреши в окружавших нас стенах догматизма и невежества, приобщали нас тогда к нетривиальной духовной проблематике, подспудно разрушали клише и стереотипы советской идеологии, наглядно демонстрировали возможность серьезного и в то же время увлекательного "мышления образами".

Да и вообще Лион Фейхтвангер — личность характернейшая, очень репрезентативная, он — знаковая фигура эпохи, которая ушла, но еще не потеряла полностью значимость для нас и связь с сегодняшним днем. К тому же не монолитная — духовная эволюция Фейхтвангера символизирует перелом, переход, смену ориентиров и вех века. Поэтому в юбилейный фейхтвангеровский год, год 120-летия его рождения, интересно окунуть ретроспективным взглядом контуры его творчества и судьбы.

Итак, Фейхтвангер в разных контекстах: литературном, экзистенциальном, идеологическо-мировоззренческом... Начать с того, что он, выросший в просвещенно-ортодоксальной еврейской семье и получивший хорошее еврейское образование, являл собой очень представительный и чистый образец современно-

го — глубоко конфликтного, раздираемого противоречиями — еврейского сознания, еврейской "двойной лояльности", столь характерной для двух последних столетий — не в буквальном смысле национально-государственной принадлежности, а в более общем. Я говорю о метаниях между разными полюсами и течениями современной культуры (в самом широком, разумеется, смысле слова), а также между активнейшим участием в делах большого мира — и сосредоточенностью на своей национальной уникальности, избранности.

Эта расколотость еврейского духа обрела у Фейхтвангера такую остроту и напряженность, что превратилась парадоксальным образом в некую новую цельность, в источник и постоянную основу его творчества.

Литературный успех — громкий, щедрый — пришел к Фейхтвангеру не рано, после сорока, после публикации "Еврея Зюсса". За пределами немецкоязычного мира ему способствовал известный английский романист и строгий судия общественного вкуса Арнольд Беннет. Прочтя перевод романа, он провозгласил свой восторженный приговор — и в 1926 году "Еврей Зюсс" стал международным бестселлером. А до того были пьесы, многочисленные статьи и рецензии на театральные темы, драматический роман о германской революции "Томас Вендт", хорошо принятый публикой первый исторический опус "Безобразная герцогиня".

Изначально писатель понимал историю в духе "доброжелательного скептицизма", ярко и изобретательно иллюстрируя тезис: нет ничего нового под солнцем ("Когелет" — явно его любимая книга в Танахе). Род приходит и род уходит, но вовек пребывают аффекты и вожделения человеческие: сластолюбие и честолюбие, жадная воля к власти, к обладанию и господству, соперничество и желание видеть соперника в гробу. И наряду с этим, как странная, но неустрашимая аномалия, — способность отдельных индивидов к пониманию и сопониманию, их приверженность идеям справедливости и равенства, и возвышенный, не очевидный, но разделяющий с Богом право на "онтологическое доказательство" принцип единства рода человеческого.

Европейская гуманистическая традиция изначально была родной почвой писателя, хотя он и не питал иллюзий относительно конечного торжества этой концепции. Человеческая история совершает круг за кругом, и раз за разом массовидное большинство, толпа, обуреваемая воинственными инстинктами, эмоциями племенной исключительности и превосходства над другими, жаждой крушить и насиловать, торжествует над просвещенным, одухотворенным меньшинством, мечтающим о разумном и справедливом мироустройстве, о воцарении справедливости, гуманности, взаимопонимания. Так было — так будет. Именно это можно вычитать из ранних произведений писателя.

По-настоящему самобытной и покоряющей оказалась манера, точнее, система его исторической прозы. Сюжеты романов Фейхтвангера, охватывающих тысячелетние периоды человеческой истории, неизменно разворачиваются вокруг нескольких "трансисторических констант", вездесущих, вечно актуальных и антиномических. Это: война и мир; интеллект и власть; действие и созерцание; национальная идентичность и "всемирное гражданство"; стремление к из-

менению, совершенствованию человеческого общества — и воля к сохранению векового жизненного уклада. Снова и снова, драпируясь в исторические одежды или проявляясь в сущностной своей наготе, смутно или отчетливо предстают эти коллизии перед сознанием героев и читателей фейхтвангеровских романов, требуя их к ответу, к самоопределению.

Фейхтвангер — политический писатель *par excellence*. Дело тут не ограничивается его постоянным вниманием к фигурам и институтам — средоточиям силы, власти. Или тем, что, скажем, в своей ранней пьесе "Нефтяные острова" он предугадал то геополитическое значение, которое "черное золото" реально обретет лишь полвека спустя. В хаотичном сочетании и столкновении интересов, надежд, устремлений, предрассудков и эмоций множества людей, "общественных животных", писатель провидел причудливый узор исторического бытия, который и стремился запечатлеть. Существенно то, что узор этот Фейхтвангер полагал принципиально осмысленным и подлежащим дешифровке.

Он был сыном эпохи модерна, когда мыслители (а за ними и художники) настойчиво, с ренессансной энергией стремились постичь законы и механизмы физического, биологического, общественного бытия. Титаны штурмовали небеса и низводили на землю огонь истины — пусть даже в форме испепеляющих молний. Маркс и Спенсер, Фрейд и Эйнштейн, Ницше и Шпенглер, Вебер и Дюркгейм, Кейнс и Юнг — вот великие жрецы божества Истины той поры. И Фейхтвангер был их последователем. Он в своих историко-литературных штудиях всматривался в эпохальные процессы и события, нащупывал неочевидные, залегающие на глубине связи между отдаленными и разнопорядковыми явлениями, стремился показать, как духовные и социальные тенденции, потребности эпохи проникают в поры обыденной человеческой жизни, прокладывают себе дорогу через сцепления случайностей, через кишение разнонаправленных волений и интересов...

При этом, несмотря на скептический либерально-буржуазный подход к истории и современности, Фейхтвангер, по крайней мере с 1914 года, явно тяготеет к политической левой. Грандиозная мировая бойня, потрясая многих сыновей бюргерской цивилизации, сильно поколебала то стоическое душевное равновесие, с которым литератор доктор Фейхтвангер взирал прежде на человеческую природу и ее хронические недуги. Его современник, известный публицист и эссеист Харолд Николсон писал: "Одному господу ведомо, как сложна политика и как часто, подобно беспомощным коноплянкам в силках, бьются людские умы и сердца. Но если мы не сможем глубоко возмутиться великой несправедливостью, нам никогда не совершить достойных дел".

На полях Первой мировой привычные неразумие и жестокость жизни предали в нестерпимо-наглядной форме. Но и по окончании войны Фейхтвангер стал свидетелем многочисленных несправедливостей, великих и малых, которые творились от имени "закона и порядка", "религии и нравственности", "священного права собственности и национальных устоев".

И вот в этом отстраненном и объективном наблюдателе просыпается глубокое возмущение, чтобы не сказать гнев. Фейхтвангер делает решительный вы-

бор — он принимает сторону бунтарей против существующего миропорядка, он выбирает участь оппозиционера.

Левые — либо пацифисты, либо сторонники революционного насилия, призванного обуздать милитаризм, в котором звериная сторона человеческой натуры вступает в союз с финансово-экономическими интересами. Пусть Фейхтвангер и не верит безоговорочно в осуществимость утопии — пламенные идеалисты, стремящиеся гуманизировать человеческое общество, гораздо милее и ближе ему, чем буйволообразные консерваторы, готовые проливать локани крови ради сохранения существующего миропорядка.

Марксистом в ту пору Фейхтвангер, однако, не стал. Его отталкивал схематизм этой доктрины, грубое сведение многообразных факторов исторического движения, капризной мозаики человеческой природы к единому экономическому принципу-шаблону. Да и в личностном плане последовательные коммунисты, отрицавшие все проявления современной цивилизации, проповедовавшие растворение индивидуальности в коллективе, были ему чужды. Фейхтвангер любил свое сложное эго, свои литературные занятия, протекавшие в обстановке достатка и комфорта, он ценил свою известность. Об этом, о сложном положении "критически мыслящей личности" в охваченном кризисом, нездоровом обществе — его роман "Успех", самое значительное произведение Фейхтвангера на актуальную тему.

Действие его происходит в начале 20-х годов в Баварии и разворачивается вокруг частного юридического казуса: искусствовед Мартин Крюгер незаконно брошен в тюрьму, став жертвой произвола и политических интриг. Из этого семени произрастает ветвистое сюжетное дерево, в борьбе за освобождение Крюгера сталкиваются десятки персонажей, перед нами возникает колоритнейший социально-психологический срез баварского общества.

Фейхтвангер показывает, что противостояния здесь отнюдь не всегда обусловлены социальными контрастами и положением людей в классовой иерархии — наоборот, взаимная нетерпимость и идеологическая вражда часто определяются тканевой несовместимостью характеров и темпераментов, этнических типов и культурных традиций. Финансовые воротилы и капитаны индустрии, представители средней буржуазии и богемы, пролетарии и юристы, социал-демократы и коммунисты, увальни национал-консерваторы и реакционные демагоги, люмпены и министры — все они кружат по своим орбитам в пространстве повествования, сближаются и отталкиваются; единомышленники зачастую не переносят друг друга, враги сливаются в испепеляющем влечении... Здесь же дается стилизованно-пародийное изображение известного "пивного путча" в Мюнхене, где с испарениями идеологического экстремизма смешивался душок авантюры и провокации. Здесь же в карикатурном, облегченном, пожалуй, обличье демагога Руперта Кутцнера предстает главарь путча Адольф Гитлер.

Образ швейцарца Жака Тюверлена — явно автобиографический. Тюверлен — гуманист либерального склада, неангажированный наблюдатель и критик, способный бурно восстать против несправедливости, но в то же время склонный

принимать человека, общество, мир и такой его колоритно-специфичный угол, как Бавария, в их несовершенстве и непреложности. Тюверлен верит, что хорошо исписанная бумага, талантливый текст больше способствуют изменению мира, чем пулеметы.

А рядом — фигура его приятеля-антагониста, вылепленного из совсем другого теста, Каспара Прекля. Прекль — инженер-автомеханик, сочинитель-исполнитель дерзких современных баллад, ортодоксальный коммунист, мучающийся от несовместимости своего таланта с идеологической власяницей, которую он добровольно на себя надел. Прекль — это Брехт, юный, дерзкий и суровый, с которым Фейхтвангер встретился и колюче подружился в начале 20-х годов.

О, как должен был его раздражать — и на самом деле раздражал — Брехт, заносчиво-застенчивый, угловатый, сначала бунтарь-анархист, чуть позже — страстный неофит марксистской догмы, но всегда отбрасывающий яростно правила и соблазны буржуазной цивилизации. А Фейхтвангер был, как уже сказано, эстетом и индивидуалистом, вполне уютно расположившимся посреди нее.

Разноприродность не помешала ни дружбе, ни взаимовлиянию. Они совместно занимались тогда переработкой шекспировского "Эдуарда II". При этом Фейхтвангер, намного более опытный в театральных делах, выступал в роли мэтра. Некоторые исследователи нынче считают, что идеи и драматургическая практика Фейхтвангера сыграли важную роль в становлении брехтовского "эпического театра".

Итак, Фейхтвангер выбрал позицию оппонента существующему порядку, пусть и не связывающего себя партийной дисциплиной или идеологической догмой. Но еврею ведь и пристало занимать именно эту нишу, нести именно эту ношу. Евреи всегда были в меньшинстве, в состоянии духовной оппозиции к общепринятому — к варварству, язычеству, христианству, "дикому" капитализму, они служили ферментом недовольства, поисков нового и высшего. А ситуация евреев в Германии и мире становилась все более сложной. И Фейхтвангер начал работать над книгой об Иосифе Флавии, об Иудее и Риме на великом переломе истории. Он задался амбициозной целью: показать европейской публике неизбывную и непреходящую центральность "еврейского вопроса", его связь со всеми мировыми проблемами, со всей духовной "повесткой дня" антично-христианской цивилизации.

В этой книге, превратившейся по ходу дела в трилогию ("Иудейская война", "Сыновья", "Настанет день") прагматичный, технологичный, материально озабоченный Запад/Рим противостоит Иудее и евреям, сопричастным высшей духовности, стремящимся распространить свет всечеловеческой религии по языческо-варварскому миру. И тут же возникает тема саднящая и неотступная, занозой сидевшая в сознании не одного Фейхтвангера, но всех евреев-интеллигентов его поколения и склада: как совместить верность еврейской судьбе и наследию со "всемирным гражданством", с принадлежностью к наднациональному, надконфессиональному строю универсальных ценностей и идеалов? И что

такое еврейство: драгоценнейшая субстанция, сокровище в самом себе, которое следует любой ценой сохранять в чистоте и неприкосновенности, — или всемирная закваска, бродило — начало, получающее смысл и оправдание лишь при соединении с другими элементами человеческой мозаики?

Фейхтвангер, которого всю жизнь мучили эти вопросы, смело опрокидывает их в прошлое, в житейскую реальность и духовный мир своего героя Иосифа бен Маттафия, ставшего одним из величайших историографов своей эпохи Иосифом Флавием. Писатель не сомневался, что аналогичные проблемы волновали мыслящих евреев и две тысячи лет назад, как сегодня. И в этом проявляется еще один краеугольный камень его мировидения.

Герой трилогии, писавшейся на протяжении почти пятнадцати лет и вобравшей в себя жестокий опыт 30-х годов, претерпевает сложную эволюцию. В "Иудейской войне" Иосиф — пылкий ревнитель универсализма, он обуреваем горделивой мечтой соединить имперскую мощь Рима со зрелой религиозной искушенностью Иудеи, и с помощью этого симбиоза (в котором главенствовать должен еврейский дух) покорить мир. Эта его миссионерская мечта переживает взлеты и падения, Иосиф колеблется между полюсами римско-эллинской всеобщности и еврейской исключительности. В итоге он убеждается, что день желанного слияния соперничающих начал еще не настал. Иосиф умирает скорее патриотом, нежели гражданином вселенной. Такой финал отражал горькие раздумья Фейхтвангера о том крушении, которое потерпела в XX веке попытка немецкого еврейства стать органической частью германского общества и немецкой культуры.

Естественно, в смысловом фокусе трилогии оказываются отношения еврейства с народами мира и сопутствующая тема антисемитизма. К этим кровоточащим вопросам Фейхтвангер обращался и раньше. В романе "Еврей Зюсс" уже представлено фронтальное столкновение еврейства с окружающим христианским миром. Оценочная перспектива там весьма примечательна. Сам Зюсс, финансист и политический советник герцога Вюртембергского, изображен поначалу в крайне непривлекательных тонах. Он алчен, коварен, безжалостен, он презирует людей и лишен всяких моральных "тормозов". При этом внутри "еврейского мира" ему противопоставлены бескорыстный мудрец, мистик-каббалист рабби Габриэль и собственная дочь Наоми, исполненная горячей и светлой религиозности. Да и сам Зюсс, пережив трагическую гибель дочери, претерпевает некую личностную "возгонку", возвышается над суетностью и хищничеством своей натуры.

Зюсс изображен Фейхтвангером со всей изощренностью "диалектики души", в богатстве нюансов, переходов и внутренних изменений. Он удостоен драматического ореола. Зюсс гибнет в финале романа, и гибель его окрашена в траги-героические тона. Окружающие же его персонажи-христиане представлены довольно-таки однолинейно, если и не всегда отчужденно, то во всяком случае лишенными "трансценденции", духовной и моральной глубины.

В трилогии об Иосифе Флавии вопрос отношений между евреями и остальным миром становится поистине центральным. Отношения эти предстают

здесь определяющим фактором мировой истории. Каковы же стороны этого противостояния? Фейхтвангер вовсе не смотрит на соплеменников сквозь розовые очки. Он объективно и добросовестно отмечает "недостатки", изъяны их национального темперамента и характера, коллективного поведения, самопозиционирования. Вот эпизод начальной стадии Иудейской войны. Во время восстания в Иерусалиме римский гарнизон заперт в одном из дворцов. Евреи обещают солдатам свободный выход из города при условии сдачи оружия. Соглашение о капитуляции римлян заключено. "Но как только осажденные отдали оружие, "Мстители Израиля" ринулись на беззащитных и стали их убивать. Римляне не оказывали сопротивления и не просили пощады, но они кричали "Клятва! Условие!". Сначала они кричали эти слова хором, затем кричало все меньше голосов, все слабее становился хор..." Евреи у Фейхтвангера — на эмпирическом уровне — зачастую суетны, высокомерны, фанатичны и неуживчивы...

Но все эти негативные черты перевешиваются в глазах автора фундаментальным обстоятельством. Евреи воплощают собой новые религиозно-нравственные ценности, они привносят в этот комфортабельный, но "обездушенный" римско-эллинский мир революционные представления о единстве рода человеческого, об универсальной морали, о служении высшим началам. Это и определяет их особое, "напряженное" положение в мире, это и вызывает по отношению к ним настороженность, неприязнь, зависть, страх, короче — комплексную фобию со стороны окружающих племен и народов. Особость, избранность евреев (независимо от характера этой избранности, исторического или метафизического) не вызывает у Фейхтвангера сомнений.

А что же "гои"? Тут писатель проводит различие между активными ненавистниками еврейства и просто "другими". Первую категорию символически представляет капитан Педан, которого Фейхтвангер делает ответственным за разрушение Храма. Он — олицетворение "органической юдофобии", безотчетной и в то же время отрефлексированной ненависти, тканевой несовместимости со всем еврейским.

Многим людям противостоит Иосиф в пространстве романа: Веспасиану и Юсту из Тивериады, Титу и Дорион, Домициану и Финею. Но только Педан — его непримиримый антагонист, с которым он обречен вести борьбу на уничтожение.

К "другим" принадлежат практически все нееврейские персонажи романа. Они относятся к Иосифу, еврейству, иудаизму с большей или меньшей степенью симпатии или отчужденности, главный герой влечет и отталкивает их, иногда они способны на некоторую степень понимания, чаще замыкаются в неприязни евреев и еврейского духа. В общем, они составляют фон, на котором разворачивается драма — или мистерия — духовно-психологических исканий и терзаний Иосифа Флавия.

Писатель Лион Фейхтвангер, говоривший когда-то: "сердце мое — еврейское, мышление — интернациональное, а язык — немецкий", сам мечтает о синтезе, о преодолении национальных границ и противоречий, о конечном тор-

жестве всечеловечности, универсального гуманизма. Но никто не сможет упрекнуть его в бесстрастной объективности, "тёплости" в вопросах актуального самоопределения! Видя, что еврейство волею исторических судеб снова вовлечено в конфликт с нееврейским миром, он и не думает занять позицию "над схваткой". Со всем пылом своего публицистического темперамента, с адвокатским красноречием высшей пробы он отстаивает еврейское дело, стремится убедить холодно-враждебный мир в его правоте!

Касается писатель в трилогии и исторических превращений иудаизма. Он "в лицах и картинах" изображает переломный момент в судьбе этого учения и народа Израиля. После поражения антиримского восстания, в условиях утраты остатков государственности и тяжелой оккупации духовные руководители берут курс на замыкание народа в себе, на консервацию творческого духа иудаизма с помощью жесточайшей регламентации образа жизни. Вот как сам Фейхтвангер описывает ситуацию: "...Эта система вынуждала ученых все более суживать учение и пожертвовать лучшей его частью — универсализмом... Они пропускали те места, где Писание напоминало иудеям о их всемирной миссии, и неустанно повторяли те, где возвещалось о союзе Ягве с Израилем, как со своим любимым народом. Пользуясь сводом ритуалов, они придали жизни иудеев национальную замкнутость. Они запретили им изучать наречия язычников, читать их книги, признавать их свидетельство на суде, принимать от них подарки, смешиваться с ними через половые связи... В суровом, слепом высокомерии отделяли они все более высокими стенами народ Ягве от других народов земли...

Огромное большинство иудеев доверяло им, признавало их руководство, подчиняло всю свою жизнь их ритуалам и предписаниям... Ели и постились, молились и проклинали, работали и отдыхали, когда им было приказано. Отрекались от любимых грез и убеждений, замыкались от неиудеев, с которыми до сих пор дружили. Друг сторонился друга, если он был неиудей, сосед — соседа, возлюбленный — возлюбленной".

Но после этих суровых инвектив по адресу еврейских богословов-партикуляристов Фейхтвангер найдет немало убедительных аргументов в объяснение их позиции. Ибо для него главное — внушить читателю ощущение неимоверной сложности исторического бытия, помочь ему увидеть поток вершащейся истории и изнутри, через совокупность живописных деталей, фактов, и сверху, в перспективе соотношения случайностей и закономерностей, субъективных намерений и результатов, человеческих волений, надежд, предрассудков, прозрений — и реализации неких надличных тенденций.

На рубеже 20-х — 30-х годов в мировоззрении писателя происходит перелом. В это время ему, очевидно, уже не под силу довольствоваться скептической констатацией движения человечества по кругу, вечного его возвращения к одним и тем же исходным точкам. Ему становится ближе гегельянский подход с его концепцией духа, обретающего самобытие и самосознание. Фейхтвангер теперь пытается постичь, куда направлен вектор истории, подчиняющейся "мировой воле". Присутствие этой воли, целенаправленность исторического

развития для него с начала 30-х годов несомненны, вопрос лишь в том, каковы движущие силы и где располагается полюс этого процесса.

И, вполне в духе времени, его гегельянство окрашивается в марксистские тона. Теперь он все более признает фундаментальное воздействие экономических отношений на ход истории, на всю грандиозную и нелепую, по-муравьиному суетливую и хаотичную человеческую ярмарку тщеславия. При этом он не становится доктринером и догматиком, не сводит многообразие человеческой реальности к тощей схеме "производительных сил и производственных отношений". Как и прежде, Фейхтвангер видит в глубинных свойствах человеческой природы, в строе ее "аффектов и влечений" важнейший момент исторического бытия. Марксистский оптимистический пыл умеряется студенными прозрениями в духе Ницше: "всякое познание возникает только из стремления найти доводы, оправдывающие твою индивидуальность, всякое познание — только средство сформировать твою собственную сущность, отстоять себя против целого мира". Кроме того, писатель продолжает видеть в духовных, религиозных, культурных движениях автономные и очень активные стимулы человеческой деятельности и общественного развития. В трилогии об Иосифе один из сквозных внутренних мотивов — спор о том, что стало причиной Иудейской войны: цены на масло, вино и пшеницу, налоговая политика римских властей — или непримиримый конфликт Юпитера и Яхве. Спор неразрешимый.

Однако исторический материализм дает путеводную нить, по крайней мере возвещает, что в броуновом кишении интересов, вожделений, фобий и иллюзий есть результирующее направление, цель. Концепция прогресса, пусть не быстрого, не автоматически гарантированного, но объективно "запрограммированного" в генетическом коде человечества, становится важной составляющей его мировоззрения.

Тут нужно остановиться на известном эпизоде визита Фейхтвангера в Советский Союз, бросившем тень на его репутацию. Как известно, зимой 1936 — 37 годов писатель побывал в Москве, ознакомился с жизнью советской столицы, присутствовал на одном из "открытых" процессов против "врагов народа" (это был процесс Пятакова и других). Впечатления свои от встречи с прекрасным новым миром Фейхтвангер сформулировал в брошюре под названием "Москва 1937" (ретроспективно звучащим зловеще). В каком-то смысле брошюра была заострена против книги "Возвращение из СССР", которую написал другой знаменитый "попутчик" — Андре Жид. Жид был разочарован советской реальностью и не скрывал этого. Фейхтвангер в своем анализе попытался возвыситься над точкой зрения французского фрондера и эстета. Он, воздерживаясь от прямой апологии, признавая наличие недостатков, сбоев, огрехов и перегибов, стремился провидеть — под пестрой поверхностью событий — мудрую и неуклонную работу "крота истории", направленную к разумной и благой цели.

Сакраментальный вопрос о том, как могли быть так слепы западные прогрессивные интеллектуалы, не раскусившие Сталина, поддерживавшие его терро-

ристическую диктатуру, действительно стоит обратиться к Фейхтвангеру в первую очередь. Он не был, в отличие от многих западных "попутчиков", идеалистом и мечтателем, замороженным "светом с Востока" и его утопическими миражами. Его пронизательность и аналитическая искушенность, к тому же хорошо закаленные в горниле скептического гуманизма, не подлежат сомнению.

Ответ дать не просто. С одной стороны, это не было обычное самоослепление — перед нами пример "диалектического зрения". Очевидно, замечая среди того, что ему давали увидеть, вещи неприятные и даже отвратительные, Фейхтвангер ухитрялся списывать их на естественные издержки грандиозного социального эксперимента/переворота, полагая, что цель оправдывает если не все, то разные средства.

Еще одно соображение, достаточно, правда, гадательное. Писатель, вероятно, полагал, что подоплека процессов — борьба за власть (или за степень абсолютности этой власти) среди партийной верхушки. Удостоверяя открытость, трезвость, широту взглядов, чувство юмора, чуть ли не благородство лично товарища Сталина, писатель, быть может, надеялся побудить диктатора к милосердию, способствовать смягчению приговоров.

Но самый вероятный мотив — ясное предвидение страшных последствий победы нацизма. Фейхтвангер недаром пристально вглядывался в исторические обличья антисемитизма, размышлял о судьбах еврейства в мире, с которым оно отказалось в свое время слиться. С самого начала он видел в гитлеризме не просто популистское движение, манипулирующее инстинктами толпы для достижения краткосрочных политических целей. Он, вооруженный своей концепцией вечной борьбы в истории непримиримых духовно-соматических начал, лучше многих угадывал глобальный и смертоносный потенциал нацистского учения, который должен был сфокусироваться на еврействе Европы. И, не считывая на решимость эгоистичных и коррумпированных западных демократий, Фейхтвангер видел противовес грядущей опасности в социалистическом колоссе на Востоке, который декларировал соединение в своей государственной практике рационализма, социальной справедливости, интернационализма и высшего гуманизма.

Чтобы закончить с этим, отмечу, что писатель до конца жизни сохранил верность социалистическим идеалам и полагал, что СССР, при всех недостатках и нелепостях своего общественного строя, оставался "пространством надежды" для человечества. Его больно задела американская ситуация начала 50-х годов с преследованием инакомыслящих и попытками искоренения социалистической ереси. Впрочем, кампания не затронула его лично и не помешала ему мирно провести остатки дней на побережье Калифорнии (в то время как именитые эмигранты Томас Манн, Брехт, Дёблин, Ганс Эйслер и другие в разное время и по разным причинам покинули США).

...Пора, однако, поговорить о Фейхтвангере как о художнике, о собственно литературных достоинствах и ограничениях его прозы.

Прежде всего он обладал редким даром: отливать хаос истории и повседневности, пеструю мешанину фактов и событий, случайностей и совпадений, чело-

веческих характеров и интересов в форму рельефных, наглядных и значимых коллизий. Он искуснейшим образом стягивал историческую эмпирику, расплывчатые, размазанные во времени процессы в драматические узлы, где реальность, под искусственно повышенным давлением, "дает сок", выделяет смысловые эссенции. Таким образом он, например, в романе "Сыновья", второй части трилогии об Иосифе, представляет переломный "момент-монумент": отказ иудаизма от прозелитизма и стимулированный этим процесс разделения еврейского учения на "старый" и "новый" заветы, раскол между ортодоксальным иудаизмом и зарождающимся христианством.

Творческая его палитра была широка и разнообразна. Он блестяще пользовался инструментами иронии и пафоса, глубинного анализа и острой изобразительной экспрессии. Вспомнить, хотя бы, гротескный и впечатляющий эпизод из "Иудейской войны", в котором храмовые священники в осажденном римлянами Иерусалиме, лишенные хлеба и ягнят для традиционного жертвоприношения, проделывают все полагающиеся процедуры богослужения "пантомимически", в отсутствие объектов, полностью вытесняя реальность ритуалом. А сцена последнего штурма, увенчавшегося пожаром и гибелью Храма, написана со сдержанно-мощной пластичностью и подлинно трагедийным накалом.

Образы своих центральных героев Фейхтвангер разрабатывал глубоко и изощренно. Достаточно вспомнить Зюсса Оппенгеймера, Иосифа, Иоганну Крайн из "Успеха", Бомарше и Франклина из "Лисиц в винограднике", Гойю.

Более того, он "запатентовал" уникальный метод персонализации духовных и социально-психологических сущностей, действующих на исторической арене — при помощи парного противопоставления героев, являющихся символическими носителями этих сущностей. Это, например, увлекающийся, артистичный, склонный к национальной экзальтации и героическим жестам Иосиф — и сухой, едкий, трезвый аналитик-материалист Юст из Тивериады. Или в "Успехе": еврей-адвокат доктор Гейер, преданный идеалам универсального права и справедливости, при этом ранимый и закомплексованный — против баварского министра юстиции Кленка, витального циника и релятивиста, верящего только в баварскую кровь и почву, которая и питает его своими жизненными соками. Такие "сдвоенные" персонажи-оппоненты (возможны, правда, и более сложные конфигурации), контрастно оттеняя друг друга, яснее раскрывают читателю свои индивидуальности и одновременно придают рельефность, драматизм столкновению извечных, архетипических начал.

Правда, тут нужно заметить, что писатель населил свои романы тысячами (без преувеличения) человеческих фигур, и для их характеристики зачастую прибегал, так сказать, к "типovým приемам индивидуализации", повторяющимся от книги к книге. Две-три расчетливые, броские детали внешности или поведения — и портрет обретает отличительные признаки, которые затем, по ходу повествования закрепляются. Тут писателя можно упрекнуть в некоем "фабричном способе производства".

Если уж говорить о недостатках творческой манеры Фейхтвангера, то они, как водится, являются продолжениями его достоинств. Он не даром был драма-

тургом по первой своей "специальности". Он, особенно в ранних своих произведениях, искусно прочерчивает острую, четкую, но извилистую фабулу, группирует героев, выстраивает мизансцены, чередует точки кульминаций и расслаблений. Механизм повествования у него работает исправно, без сбоев и заеданий. И все же, при всей достоверности образов, напряженности сцен и коллизий массивные его романы, как ранней, так и зрелой поры (включая тот же "Успех"), производят впечатление избыточности, порой отдают машинерией, чрезмерной расчисленностью и искусственностью театрального, даже кукольного действия.

Впрочем, к достоинствам Фейхтвангера нужно отнести то, что он в своем творчестве воплотил сразу несколько центральных жанровых парадигм. Здесь и сатирическое повествование на историческом или актуальном материале, роман-памфлет ("Лженерон", отчасти "Братья Лаутензак"). Здесь и изображение современной жизни в ее переломных, судьбоносных проявлениях ("Успех", "Изгнание"). Трилогия об Иосифе Флавии и последний роман "Иеффай и его дочь" близки к канону экзистенциалистской литературы с помещением героев в пограничные ситуации выбора и "полной гибели всерьез", с притчеобразным развертыванием мифологических архетипов. Здесь Фейхтвангер близок к методу Сартра, Камю, Ануяя.

И, наконец, — эпический исторический роман, панорамно охватывающий масштабные события и отдельные судьбы, выявляющий закономерности и тенденции изображаемой эпохи через пеструю мозаику субъективного человеческого опыта. Таковы "Лисы в винограднике", "Гойя", "Мудрость чудака" — плоды изобильной старости писателя.

Должен признаться, что мой любимый роман у Фейхтвангера — "Лисы в винограднике". Это историческое повествование, столь же обширное, как "Успех", рассказывает о жизни Парижа в 70-е годы XVIII века, о борьбе за признание "старым режимом" независимости американских колоний, восставших против английской короны, и за постановку на сцене бунтарских комедий Бомарше "Севильский цирюльник" и "Свадьба Фигаро".

В "Лисах" Фейхтвангер, на мой взгляд, достигает художественной свободы, которой ему порой не доставало раньше. Здесь несколько смягчается ситуационное напряжение, распускаются мировоззренческие и экзистенциальные узлы. Ослабевает некоторая жесткость, принужденность (принудительность?) противостояния персонажей, представляющих полярные, несовместимые начала. Автор словно перестает здесь постоянно что-то доказывать или иллюстрировать наперед сформулированные тезисы. Образы — Бомарше и Франклина, Людовика XVI и Вольтера, Марии-Антуанетты и мадам Гельвеций, Морепа и Вержена — обретают объемность и психологическую самодостаточность, а фабула — самодвижение в темпе и формах самой жизни. Сложность взаимоотношений героев не переходит в механическую усложненность.

"Лисы" — прекрасный пример возможностей традиционного исторического повествования, соразмерного читателю, дружелюбно принимающего его в свое лоно. Текст как будто побуждает слиться с ним, отдаться спокойному эпи-

ческому течению, проникнуться мыслями, настроениями, устремлениями героев. Вольно льется поток объективного авторского повествования, постигающего реальность и претворяющего ее в ясные, пластичные картины и образы.

В "Гойе", правда, господствует иной, более мрачный и причудливый колорит. Но и здесь, на точном и детализированном фоне, передающем своеобразную национальную статью Испании, действует множество живых и достоверных человеческих образов. А в центре — мощная, противоречивая и покоряющая фигура великого художника, созревающего в искусствах и испытаниях своего жестокого века.

...И все же Фейхтвангер, особенно после своей смерти, оказался вытеснен за пределы культурного сознания, по крайней мере элитарного. Его творчеству не посвящались многочисленные статьи и монографии, его имя не упоминается, а тексты не цитируются напропалую литературоведами, критиками, культурологами — законодателями интеллектуальной моды. В чем тут причина? Ведь многие из собратьев Фейхтвангера по перу, не дожившие, как и он, до славной эпохи постмодернизма, остались-таки в фокусе внимания литературоведов и в читательском обиходе. Что ж, призовем на randevу с ним знаменитых современников.

Сравнение с Томасом Манном особенно показательно. Ведь и он, как и Фейхтвангер, в знаменитом своем цикле "Иосиф и его братья" демонстрирует "сквозное единство" мира и истории, переключку отдаленных эпох под знаком универсальных, общечеловеческих начал, отстаивает гуманистическое достоинство рода.

Но разница при этом очень заметна. Фейхтвангер в исторической своей прозе очень последовательно проводит линию на "десакрализацию" прошлого, на принципиальную ее близость сегодняшнему дню. Он подчеркивает, а то и придумывает черты сходства между отдаленными эпохами и современностью, энергично используя языковые и понятийные анахронизмы, говоря о римских капиталистах и пролетариях, называя ешивы университетами, представителей центральной власти на местах — комиссарами и т.д.

Томас Манн выявляет в субстанции бытия глубинные, всевременные прототипы и архетипы, которые покрывают собой и события прошлого, и сегодняшнюю реальность. Он мастерски оперирует "вложенными" смыслами и значениями, символами и лейтмотивами, создает эффект многослойности текста, возможности его прочтения на разных уровнях. При этом великий немецкий магистр искусно и завлекательно для читателей играет с процессом повествования, превращает саму стихию сочинительства и рассказывания в полноценный эстетический объект.

и коллектив

Фейхтвангер по сравнению с ним и впрямь выглядит простоватым. Недостает ему литературной саморефлексии, тонкого смакования собственных приемов. А главное — нет в его опусах таинственной и чарующей мифологической дымки. Все здесь ясно, отчетливо, прозрачно в плане бытийной ситуации человека, мотивов его поведения. Даже о мистическом, о каббалистических погружениях или манифестациях безумия он повествует размеренно и аналитично,

показывая ассоциативные сцепления мыслей, переживаний, инспираций. Он "разоблачает Изиду", рассеивает пряный аромат культово-интеллектуальных благовоний.

Или, к примеру, Кафка. Пражский визионер полон чувством метафизической непрозрачности мира, его наполненности сущностями непостижимыми, враждебно-чуждыми человеку, которые всегда повергают его ниц. И для передачи этих сущностей Кафка находит неповторимую манеру, расплывчато-сновидческую и гипнотизирующую.

Фейхтвангер, признавая отчужденность и "практический трагизм" человеческой жизни, стоит на почве знания, анализа. Он верит в то, что мир и ситуация человека в нем по крайней мере постижимы, объяснимы, если и не изменяемы к лучшему. Он верит, что можно сопротивляться злу. Представление о всеобъемлющей абсурдности бытия, фундаментальное для Кафки, ему чуждо.

Сейчас принято причислять к достоинствам литературного произведения открытые финалы, стимулирование читательской активности в заполнении сюжетных лакун, в игре с образно-смысловыми мозаиками. Что ж, занятия вполне почтенные и небезытересные. Подход же Фейхтвангера подразумевает морально-критическое "воспитание" аудитории. Приступающий к чтению его книг погружается в стихию соперничающих идей, мировоззренческих контроверз, экзистенциального выбора. Если в скиперской искушенности автора и есть оттенок дидактизма — то лишь минимальный. Читателю предоставляется достаточная свобода для самостоятельного обретения навыка навигации и вкуса к выбору курса.

Является ли такой тип повествования безнадежно устарелым — вопрос открытый.

...Как и более общий — что нам до Лиона Фейхтвангера в новом веке, есть ли резоны возвращаться к его творчеству? Содержится в нем некий послыл, урок, вызов — или перед нами всего лишь почтенная, покрытая сединой и паутиной (патиной) старина? Ответ не очевиден. Фейхтвангер в своем письме несомненно, вызывающе традиционен, даже архаичен. Он явно противостоит основным тенденциям и течениям постмодернистской культуры и интеллектуальной моды! Он отстаивает идею прогресса — посреди мира, помешанного на лабиринтах и возвратно-поступательных процессах. Он воплощает в своем творчестве принцип глубинного и рационального постижения, провидения за явлениями сущности — в то время, как сегодня господствует концепция рядоположности, плоскостной развертки универсума. Он говорит о всеобщей связи явлений, о влиянии всего на все, о сложных и причудливых причинно-следственных рядах — идя наперерез мощному потоку партикуляризма, разделения единого социо-культурного пространства на непроницаемые отсеки, уделы, острова. (И не надо о глобализме — этой пародии на могучие объединяющие системы прежних времен.)

И самое главное. Фейхтвангер, со всем накалом своего еврейского нравственного чувства и европейского интеллекта, воюет против варварства, угнетения, принципа "сила — право".

А наш мир упоенно воспеваает жестокость, благодетельное неравенство, славит воинственные инстинкты и призывает пестовать их, словно животных, занесенных в Красную книгу. Сегодняшние интеллектуалы с мазохистским злорадством твердят о регрессе, о банкротстве духа, о новом пришествии трайбализма, о том, что массами овладевают заново нерассуждающая вера, оккультизм, инстинкты.

Замечу в заключение, что слухи о "литературной смерти" Фейхтвангера сильно преувеличены. В Германии, например, с конца 70-х по начало нынешнего века романы его разошлись общим тиражом почти в миллион (!) экземпляров. Франкфуртский издатель Вольфганг Метц заметил недавно: "За тридцать лет своего профессионального опыта я не встречал другого такого "ренессанса", как в случае с Фейхтвангером". В России в 2001 году вышло 20-томное собрание его сочинений. Свидетельство это колебаний моды или симптомы более стойких и существенных духовных тенденций — посмотрим. Как сказал один поэт, "мир не до конца досоздан".



Наталья Дараган — этнолог. Научный редактор Краткой Еврейской Энциклопедии. В 1979 г. окончила филологический факультет МГУ. В 1984—1993 гг. работала в Институте этнографии АН СССР (после 1991 г. — ИЭА РАН). В Израиле с конца 1993 г. Живет в Маале-Адумим.

Наталья Дараган

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА АВЕРИНЦЕВА (1937 — 2004)

*Господи! Душа Сбылась:
Умысел мой самый тайный.*

М. Цветаева

Еще не притупилась боль от ожидавшейся, но все равно внезапной кончины Сергея Сергеевича Аверинцева 21 февраля этого года. Ей предшествовало почти полугодовое пребывание в больнице и улучшение, после которого его выписали домой, поручив заботам жены и сына. А еще раньше — летом 2003 — была поездка из Вены в Рим, на конгресс, где во время доклада сердце не выдержало и остановилось. Наступила клиническая смерть. Врачи сделали все возможное — и смерть отступила, чтобы оставить еще немного ему и близким, чтобы вполне сбылось то, что он написал в своей “Молитве о последнем часе” в 1993:

Когда смерть посмеется надо мною,
Как та, что смеется последней,
И сустав обессилит за суставом,
Твоя да будет со мною Сила.
Когда мысль в безмыслии утонет,
Когда воля себя потеряет,
Когда я имя мое позабуду
Твое да будет со мною имя.
Когда речам скончанье настанет,
И язык, глаголавший много,
Закоснеет в бессловесности гроба,
Твое да будет со мною Слово.

Когда все минет, что мнилось,
 Сновидцу наяву снилось,
 И срам небытия обнажится,
Пустоту мою исполни Тобою.

Когда зимой 1993 Сергей Сергеевич написал эти стихи и явно был доволен ими, он мне их показал. Помню, что, поразившись их красоте, я их все-таки не поняла. Не осознала, как просто и точно они описывают ситуацию, которая, впрочем, не была в то время близка ни ему, ни мне. Его мама — Наталья Васильевна Аверинцева — скончалась в ясном сознании, обратившись незадолго до смерти к религии (не стоит думать, что Сергей Аверинцев вынес свою глубокую веру из родительского дома: он пришел к ней самостоятельно, и этот путь занял немалое время). В стихах он явно предчувствовал именно свою кончину, а не какой-либо обобщенный образ: "язык, глаголавший много" — это он относил лишь к себе и с определенного момента — когда он начал (ему дали возможность) публично высказываться по нравственным и моральным вопросам, связанным с культурой. Он даже книжку "Попытки объясниться" (М., 1988), составленную библиотекой "Огонька" из его интервью разным радио и телепрограммам, написал моим родителям следующим образом:

"Роднымъ Нанѣ и Мишѣ со чады отъ многоглаголиваго СА "Во многоглаголаніи нѣсть спасенія..." День Св. Іосифа Плотника.

Уместно, наверное, объяснить, какого рода отношения связывали меня с Сергеем Сергеевичем, и по какому праву я берусь писать что-либо о нем, заслуживающем гораздо более значительных и профессиональных биографов. Пусть мои заметки послужат для таких людей материалом и пригодятся для полноты его портрета. По возрасту я могла бы быть ученицей Аверинцева, если бы он преподавал на филологическом факультете МГУ в 70-е годы. Я окончила в 1979 отделение классической филологии, училась у тех, у кого и он учился. Например, заведовала кафедрой А.А. Тахо-Годи, жена профессора А.Ф. Лосева, который тоже не раз приходил поговорить с нами. Преподавали нам и те, кто учился вместе с Сергеем Сергеевичем, но его они не хотели видеть рядом. Ему довелось лишь читать курс лекций на факультете повышения квалификации учителей при МГУ.

Эти лекции слушала моя мама — не по обязанности, она в то время работала редактором журнала "Советская музыка", а понимая, с каким неординарным явлением она сталкивается; она записывала их на магнитофон и распечатывала дома. По окончании курса она принесла Сергею Сергеевичу (отнюдь не готовившему письменно свои лекции) получившийся текст, который впоследствии лег в основу книги "Поэтика ранневизантийской литературы", вышедшей в 1977. Это послужило началом долгой дружбы Аверинцевых с моими родителями. И я выросла под сенью этой дружбы: многое в моей жизни сложилось бы иначе, если бы этих отношений не было. Вместе с тем, я была в них не субъектом, а как бы объектом. Возраст тогда был трудный, переходный, с родителями случались конфликты, они, естественно, на меня жаловались друзьям (обращаться к психоло-



Слева направо: Наташа Аверинцева, Дина (Нана) Дараган, Сергей Аверинцев (на гаче Аверинцевых под Москвой)

гам там не было принято), так что Сергей Сергеевич не раз читал мне наставления (свои дети появились у него довольно поздно — под сорок, а ощущение умудренности опытом — раньше). Если бы слово "наставник" не было опошлено советской практикой, то Сергею Сергеевичу оно подошло бы как нельзя больше. Он не чувствовал себя учителем, тем более учителем с большой буквы: он всегда рассматривал собеседника (слушателя), как равного, не преподнося ему готовое логическое построение, а приглашая размышлять и делать выводы вместе с ним. Поэтому было необыкновенно увлекательно следить за ходом его мысли, за аргументацией; а когда он ссыался на источники, то непременно добавлял "как ты, конечно, знаешь (вы знаете)". Я (мы), конечно, не знали, но знание этого тем самым делалось как бы само собой разумеющимся.

Никакой патетики, никакого любования предметом или, тем паче, самим собой Сергей Сергеевич не допускал, но это не значит, что он придерживался сухого, объективистского тона в публичных выступлениях или домашних беседах. Напротив, он глубоко переживал то, что становилось предметом его исследования или обсуждения, и его эмоциональная вовлеченность передавалась слушателю. Он не стеснялся удивляться и радоваться открытию, осуждать дурные поступки двухтысячелетней давности и сокрушаться по поводу невозможности выяснить тот или иной вопрос. Он жил и чувствовал в историческом континууме, включавшем библейских героев, античных риториков и средневековых схоластиков и призывал других отказаться от "хронологического провинциализма".

В статье "Филология: наука и историческая память" (1984), — собственно, записанном интервью, — Аверинцев рассказывает о чувстве исторической непрерывности, которое пришло к нему через семью. Отец его, биолог Сергей Васильевич Аверинцев, родился в 1875 (в один год с Рильке и Альбертом Швейцером), окончил классическую гимназию, застал в живых Тургенева и Достоевского, не говоря уже о Толстом, помнил, где в Москве была редакция Каткова. И это приближало к его сыну мир XIX столетия, для нас уже позапрошлого. "Отцовское — это на всю жизнь норма, изначально данный образ "правильности": что-то строгое, с чем приходится считаться, и одновременно домашнее, "свое", опора и защита". Вообще отношения "отцов и детей" были для Сергея Сергеевича чрезвычайно важным моментом. Это хорошо можно наблюдать в статье о любимом писателе его юности — Германе Гессе². Хотя он рисует портрет писателя в старости — "Гессе принадлежал к людям, которые в семьдесят лет много красивее, чем в двадцать (случай вовсе не столь редкий, как почему-то принято считать)", но стержень, вокруг которого строится повествование, — отношения писателя с родителями-миссионерами, бунт и преемственность, затем его же отношения с предшественниками — немецкими романтиками, и, наконец, вывод: Гессе не открывает новую эпоху, он завершает традицию, он отрицает ее ровно настолько, что после него она уже не может быть продолжена, но сам он еще весь "внутри".

Сергей Сергеевич способен был понять отрицание традиции, принятой системы ценностей, даже разрушение морали, хотя сам всегда предпочитал находиться внутри, а не вовне, и умел в избранных собою рамках чувствовать себя вполне свободно. Но собеседника (противника) он рассматривал как равного, как носителя позитивной, а не деструктивной идеи. Он всегда стремился найти точки соприкосновения, на которых можно было бы построить диалог. И лишь одно было противно его натуре — фальсификация. Как псевдонаучное умствование, имеющее целью лишь самое себя, так и любая человеческая неискренность с задней мыслью выгадать там, где другие отстаивают принципы, жертвуют во имя идеалов, рискуют в борьбе. Он очень любил цитировать К.С. Льюиса, в сказке которого мудрый бобр говорит: "О людях — прошу не обижаться — возможны два мнения. Но о существах, которые притворяются людьми, не будучи таковыми, двух мнений быть не может". Не случайно одна из его "попыток объясниться" называется: "Не утратить вкус к подлинности..."

* * *

Сергею Сергеевичу иногда приходилось осаживать меня (не только меня, вероятно) при очень бойких наскоках на античных авторов. Выучив под руководством его жены, Натальи Петровны Аверинцевой, основы латинской грамматики, я принялась вкривь и вкось переводить Саллюстия, давая простор своей фантазии. Тогда он написал статью "Наш собеседник — древний автор"³, и в ней предостерегал от самоуверенности молодого физика, который, освоив некоторый набор правил, пытается с их помощью объяснить мир. Он утверждал, что для подлинного понимания необходим жизненный опыт и труд души. Нет универсального аппарата исследования (я тогда увлеклась структурализмом), обес-

печивающего кратчайший путь к истине. Здравый смысл отнюдь не лишний контролер в научных изысканиях, а жизненный опыт вообще ничем заменить нельзя, и потому в филологии вовсе нет коротких путей. Особенно высоко он ставил опыт страдания.

Ему самому этого (если понимать страдание не в обобщенно-философском, а в прямом предметном смысле) досталось сполна. Он был не только поздним и очень болезненным ребенком, но еще

и обладал врожденным дефектом (одна нога короче другой), требовавшим постоянной коррекции. Не имея возможности играть в подвижные игры со своими сверстниками, он оставался дома с родителями и книгами. Поэтому в 5 лет он написал учебник по биологии, где систематизировал виды животных (его мама Наталья Васильевна Аверинцева, которая до самой смерти в 1980-е годы жила вместе с сыном, хранила этот учебник). Вообще физическое недомогание было постоянным его спутником: "Сережа опять куксится", — говорила его жена Наташа. Это значило, что насморк, флюс или приступ астмы снова ограничили его контакты с внешним миром. Но в то же время я не помню, чтобы какое-либо недомогание уложило его на несколько дней в постель. Работал он всегда, постоянно преодолевая свою слабость и боль. И он ценил это усилие, это преодоление, видел позитивный смысл страдания, возмущался попытками делигитимизировать его в наши дни (если больно, значит, врачи недоработали или ошиблись). Он вполне мог бы подписаться под строчками позднего Гессе, написанными явно со знанием дела;

Arme Schwestern, liebe Schmerzen
Seid nicht ihr auch Gottesgaben?
Aber keiner will euch haben.
Wohnt doch in meinem Herzen!⁴

Только человек, очень поверхностно знакомый с немецким языком, может принять эти обыденные "домашние" боли за вселенскую скорбь Генриха Гейне. Палитра немецкого языка богата в описании боли: тут и *Leid* — муки угрызений совести, и *Weh* — пронзительное цепенящее страдание. *Schmerz* на этом фоне

Наташа
20 февраля 1972
авт смиренного
Сергия А.

Дарственная надпись на книге баллад В.А. Жуковского

самое обыденное и приземленное понятие. "Где болит?" — спрашивает доктор. Вот эту боль поэт и зовет к себе.

Так же почтительно, как к боли, Сергей Сергеевич относился к старости. Он ценил в ней как жизненный опыт, так и повседневное усилие по исполнению жизненных обязанностей. В принципе человек мог отказаться и от того и от другого и, тем самым, обеспечить себе непочтенную старость. Но Аверинцев исходил из презумпции противоположного: "Вот если я взрослый человек, это значит, что я прошел через детство, отрочество и юность, что весь опыт этих ступеней жизни — при мне; не что иное, как опыт и память об опыте, и делает меня взрослым. С исторической памятью — то же самое"⁵.

По причине частых недомоганий и в силу постоянной занятости Аверинцев очень мало мог вести общественный образ жизни и быть, как тогда говорили, "в курсе" культурной жизни. Он существовал в автономном культурном пространстве, по своей воле (а не прихоти) обустроивая его поэзией Вячеслава Иванова, эссе Честертона, сказками Клайва С. Льюиса и поэзией Нелли Закс. Никто из перечисленных выше авторов не был в моде в 70 — 80-е годы, и невероятным незаслуженным счастьем было приобщиться к его миру в унылую пору развитого социализма. Позже, в период перестройки, некоторые избранные Сергеем Сергеевичем авторы "вернулись" к народу, а некоторые, как, например, Шарль Пегг, так и остались только его героями.

Учитывая все эти обстоятельства и зная о глубокой религиозности Сергея Сергеевича, можно представить его себе эдаким иноком-отшельником, вззирающим на мир из окна своей кельи или же через призму средневековых трактатов. Ничего подобного в действительности не было. На келью еще как-то была похожа его первая квартира в одном из переулков старой Москвы, но какие только вольнодумцы (в том числе и еврейские диссиденты) не прошли через эту квартиру! А на немецкого коллегу там как-то посыпались книжки с полки, потому что в квартире было очень тесно, и разводить руками надо было с осторожностью. Зато когда семья Аверинцевых купила просторную квартиру на Юго-Западе, и у каждого появилась своя комната, а на кухне за круглым столом можно было усадить шесть человек и более — гости в доме не переводились. Наталья Петровна готовила всегда на семью "со товарищи" — и это явно радовало Сергея Сергеевича. В одном из своих интервью он говорил о том, что простое общение людей — это вещь, важнее которой вообще ничего не может быть. И не раз возвращался к мысли об испытании общением. Например, смирение и терпение в монастыре, по его мнению, осуществлялось прежде всего в отношениях между послушниками, а не в отношении каждого из них ко Всевышнему.

Если мы вспоминаем здесь о друзьях, то нельзя обойти стороной главного друга и сподвижника — старшего (хотя ненамного) коллегу Аверинцева Михаила Леоновича Гаспарова. Они вместе учились на отделении классической филологии филфака МГУ, вместе работали в Институте мировой литературы АН СССР, оба в период перестройки были избраны в Российскую Академию Наук. (Добавлю тут, что в эту пору, когда Сергей Сергеевич приобрел известность не только филолога, но и "духовного учителя", его пригласили в МГУ прочесть не-

большой курс лекций по истории культуры.) И когда Сергей Сергеевич уехал преподавать в Вену, Михаил Леонович тоже покинул долгое время возглавлявшийся им сектор античной литературы и перешел в Институт русского языка РАН. Они занимались одной областью литературы, хотя и пользовались различными методами. Казалось бы, какая замечательная почва для соперничества, как легко превратиться в непри-

миримых противников. Но эти двое никогда не позволяли ни обществу, ни системе сказать им — "на первый — второй рассчитайся!". Как два сверхплотных физических тела, они закружались вокруг себя пространство и не позволяли вторгаться в него непосвященным. Это был цех мастеров или обитель смиренных, но государство со своим уставом сунуться туда не могло.

Испытание известностью Сергей Сергеевич несомненно выдержал: не купился на похвалы поэтов (Андрея Вознесенского, например) и журналистов, не культивировал собственную популярность, а сбежал от нее в Вену, где все пришлось начинать почти сначала. Есть и другие испытания, которые служат пробным камнем личности. Героям Достоевского, например, редко удавалось преодолеть испытание красотой: обладать ею или разрушить ее — в этом проявлялся "основной инстинкт". Вспомните, как герой романа "Подросток" хочет бросить и растоптать букет потому, что "слишком уж красивый"; убийство Настасьи Филипповны из того же ряда. В какой-то момент у Сергея Сергеевича появилась аспирантка из Болгарии — красивая, как сказочная принцесса. Она, конечно, тоже была приглашена домой, ловила каждое его слово и замирала от восторга. Я помню, как Сергей Сергеевич с каким-то радостным изумлением сказал мне: "Смотри, какая она красивая: дети сразу идут к ней на руки и перестают плакать". Способность удивляться, радоваться, восхищаться была в высшей степени присуща Сергею Сергеевичу и запечатлена на фотографиях, например, в его взгляде на Софию Киевскую. Способность бескорыстно радоваться прекрасному без "обладания" или без стремления к нему "приобщиться" была счастливым даром Сергея Аверинцева.

Я намеренно не хочу рассуждать здесь о самом главном, о том, что делает Аверинцева Аверинцевым (равным самому себе, как сказал бы он). О широте

Наст,
Минь,
Наташа
"Винь"
В жизни поклоняюсь и
просьбой удивляюсь за
пропущенные детали
10. кн. 81.
С. Аверинцев

Дарственная надпись на книге "Поэтика древнегреческой литературы"

его научных интересов: от античной риторики до современного христианства в полном его объеме, а не только в православной традиции. Об оригинальности и глубине его научных исследований; об отличии его восприятия Византии от восприятия выдающегося византиниста А.П. Каждана, с которым (и с его сыном, математиком и раввином) Сергея Сергеевича связывала крепкая дружба. О красоте и точности его поэтических переводов. Даже о его влиянии на развитие иудаики в России (когда Еврейский университет в Иерусалиме проводил конференцию на эту тему, имя Аверинцева повторялось чаще всех), хотя перевод книги Иова и статья "Греческая "литература" и ближневосточная "словесность"" открыли заново еврейскую тематику после долгого молчания и вместе с тем возобновили традицию русской библеистики. Об этом наверняка напишут в России, а, может быть, и в Израиле (Сергей Сергеевич бывал здесь, читал лекции, был хорошо знаком с Хаимом Тадмором⁶) люди, более способные обсуждать его научные заслуги. Мне же досталось немного света его личности и тепла его семьи — об этом и пытаюсь рассказать.

Рассказ получился отрывистым и бессвязным: нет в нем ни хронологической последовательности, ни тематической организации. И единственное, что просматривается мне сквозь неровную ткань повествования, — это перечень трактатов Цицерона:

- О презрении к смерти.
- О преодолении боли.
- Об утешении в горе.
- О страстях.
- О самодовлеющей добродетели.
- О старости. О дружбе. Об обязанностях.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Аверинцев Сергей. Попытки объясниться. М., "Правда", 1988.

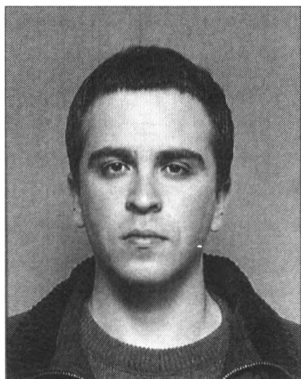
² Hesse Herman. Die Morgenlandfahrt. Gedichte. Märchen. Kleine Prosa. V. Progress, 1981, pp.366 — 388.

³ "Литературная газета", 16.11.1974.

⁴ Бедные сестры, милые боли, разве вы не дар Божий? Но никто вас не хочет. Поселитесь же в моем сердце!

⁵ Аверинцев С. Попытки объясниться. сс. 15 — 16.

⁶ Ассириолог и историк древнего Ближнего Востока, вице-президент израильской Академии наук.



Денис Соболев (1971) — культуролог, литератор. Доктор филологии. Родился в Ленинграде. В Израиле с 1991 года. Занимается английским модернизмом и общей теорией литературы.

Денис Соболев

ДЕРЕВО И ПАЛЕСТИНА

Я сразу увидел перед собой глухую станцию, запасные пути, занесенные рельсы, трупы лошадей, из которых собаки с крякающим звуком вырывали внутренности, скудный свет железнодорожных фонарей, в котором вился и сыпался мелкий снег, — в морозном и единственном в мире воздухе моей родины.

Гайто Газданов

I

На монетах времен британского мандата было изображено дерево; на обороте же было написано: "Палестина". У меня случайно оказалось несколько таких монет. Два или три раза, бродя по старым иерусалимским улицам, я слышал, как, подкидывая современные израильские шекели, дети говорят, вопросительно глядя друг на друга, "эц о пали?", что значит "дерево или Палестина?". Вероятно, в эти минуты орел и решка казались им взаимоисключающими, несовместимыми, как жизнь и смерть; на самом же деле все оказалось несколько иначе. Я нашел эти монеты, разбирая свои вещи, вернувшись в Иерусалим после трех лет отсутствия — я прожил почти два года в Лондоне, потом около года на севере — но теперь все было иначе, и земля расступалась под ногами. Я бродил по его улицам, и видел, что они совсем не изменились, и не узнавал их. Я чувствовал себя чужим и потерянным в этом городе, среди его тесных переулков, низких домов, вьющихся стен, кустов каперса, разлапистых деревьев и фасадов, облицованных чуть желтоватым камнем. Здесь, говорили мне знакомые, взорвалась машина, и

здесь тоже был взрыв, а вот там еще один; взрывы на углу улицы Короля Георга и улицы Яффа, на Французском холме стали предсказуемыми и неизбежными, как зимние дожди. Похороны и телевизионные репортажи слились воедино, а смысл дальнего воя сирен стал прост и понятен. Я ходил по его мостовым и думал о том, что над этим осажденным городом висит чуть прозрачная тень смерти; точнее, чувствовал ее присутствие в самом воздухе города. И только особый иерусалимский запах, ни на что не похожий запах иерусалимских трав — мирта, фенхели и розмарина — оставался неуловимым и неизменным. И еще — я неожиданно заметил, что в переулках старого города, теперь уже совсем опустевших, пахло жасмином. Иногда я ездил гулять в окрестные леса — среди их пологих склонов, тонких стволов сосен, густого снега цветущего миндаля, тимьяна и асфоделей, волнистых дневных теней, мусора и следов пикников, — и эти горы, сухие и окровавленные горы Иудеи, начинали казаться прозрачными, хрупкими и иллюзорными.

Долгое время я чувствовал себя посторонним, чужим; но потом прошло и это. Мне казалось, что улицы перестали касаться моих ног, как бывает, когда стены движутся навстречу — но не вслед за шагом, а следуя за невидимым скольжением камеры, некогда бывшем и воскрешенном на киноэкране. Множество магазинов и кафе закрылось, в других же было пусто, но ночные клубы оказались переполненными; впрочем, на дверях одного из них я как-то увидел табличку "вернемся после войны". Разговоры постоянно возвращались к взрывам, безработице, экономическому кризису и безденежью; а, оказываясь на прибрежной равнине, я все чаще обнаруживал, что там, на берегу теплого моря, среди шумной музыки и песка, мысль об Иерусалиме вызывает скуку и раздражение, постепенно превращаясь в бессмысленное и непонятное бремя: все меньше оказывалось тех, кто хотел за него воевать. Дорога на запад постепенно становилась перевалом через невидимую границу. То, что казалось нам войной, они называли политическим кризисом, но и здесь, и там все больше ощущался терпкий запах страха, смерти, безнадежности, нищеты. Все больше становилось тех, кто с гордостью, с надеждой на взрыв тайной зависти уезжал на вождельный материк по ту сторону океана; и все же это обычно оказывались те, от чьего отсутствия земля становилась чище. Остававшиеся же здесь все острее ощущали бессмысленность и безнадежность сделанного выбора, но и все чаще осознавали себя детьми этого ужасного и прекрасного города. Как это ни странно, мы даже стали лучше понимать друг друга, окруженные молчанием. Я ходил по его улицам и думал о том, что я тоже хотел быть; хотел быть.

Именно тогда, в один из таких дней, ко мне и пришло это чувство ожидания, настойчивого и неуловимого, как если бы ночной горизонт озарился тонкой полосой рассвета, утра, кровавого марева. Впрочем, я не могу сказать, что я начал чего-то ждать, осознанно или напряженно, скорее чувство ожидания стало незаметно сливаться с самим иерусалимским пейзажем, как если бы я шел по узкой каменной тропе, про которую я бы точно знал, что она куда-то ведет. Я редко думал обо всем этом, и все же это чувство ожидания было постоянно со мной, ускользающее и неотступное; постепенно сквозь его присутствие высветилось по-

нимание того, что именно я жду: я ждал встречи, хоть и не мог сказать, идет ли речь о встрече со знакомым или незнакомым, радостным или пугающим, наполненным смыслом или вызывающе бессмысленным, с человеком, вещью или самим существованием. И, разумеется, я не знал, где именно эта встреча должна произойти. Это чувство было столь странным, прозрачным и прекрасным, что я не решался его прогнать, и в то же время в глубине души я боялся, что оно может превратиться в навязчивое душевное состояние, в тайный психоз, и по мере сил старался о нем не думать. Вся разумная и рациональная часть моей души восставала против него. Оно было странным предчувствием насущного и невозможного, находящегося за гранью бытия, болезненным и едва ли не патологическим явлением — искушением, которому было необходимо противостоять, противопоставить всю твердость, рациональность, осознание конечности мироздания и абсолютной, непреодолимой, фатальной невозможности ее преодолеть. Таким было это искушение встречей, искушение пониманием в городе отчуждения, прозрачности, веры, войны и смерти.

В те дни я стал снова думать о молчании, о немоте. Да, конечно, мысленно повторял я, если невозможно говорить, следует молчать; уже давно это казалось мне непреложным и почти самоочевидным. Но почему-то именно теперь тяжелый туман сомнений стал опускаться все ниже и проникать в эту последнюю иллюзорную ясность. На поверку линии мысли оказывались тонкими и размытыми. Не следует ли из этого, добавлял я, что говорить нельзя ни о чем, поскольку истина существования едва ли способна высветлиться в его удушие, в его пустоте. Не является ли потребность во взгляде с высот смысла, с высот избавления, неизбежным отрицанием любой речи, а не только речи об истинном, несуществующем и невыразимом. Или, может быть, все обстоит совсем иначе, и нам следует изначально отказаться от желания сказать; и только тогда возможность говорить окажется в гармонии с бесконечным, случайным и удушающим миром вещей. Но при этом, добавлял я, в этом мире существует множество вещей, кажущихся видимыми, нефантастичными, выразимыми; тяжелые, бессмысленные, опустошенные и кровавые они нависают над нами в своей неизбежности, последней и непреложной истинности, тяжести бытия. Но, возможно, продолжал я тогда, в который раз возражая самому себе, что их непричастность миру истины и есть то зеркало, в котором отражается молчание. Более того, возможно, что говоря о вещах, в их данности, бессмысленности и конечности, и именно о них, мы можем избежать того фальшивого многокрасочного молчания, которое становится позой и словесным трюком, болтливостью мистиков и придворных проповедников. Может быть, говоря о мире отчуждения, боли и пустоты, мы оказываемся способны взглянуть — если не на отраженный свет, то хотя бы на освещенное им место — темнеющее и сливающееся через долю секунды с удушающей пустотой мироздания. Но гораздо более вероятно, что в пустоте может отразиться только пустота; и говорящий говорит именно о том, о чем он говорит, и о чем, в большинстве случаев, он говорить не способен, а молчащий в пустоте выбирает не истину, но снова, в который раз, окружающую его пустоту. Таким в этом городе было сомнение: искушение словом, искушение молчанием.

II

Раз в неделю я делал вид, что ищу работу. По вторникам в одиннадцать утра я приходил в Здание общих вопросов, поднимался на лифте, поворачивал направо и по длинному пустому белому коридору с кондиционерами и навесными потолками попадал в одну из комнат Биржи труда для лиц с высшим образованием. Ее комнаты были совершенно неотличимы, и я часто их путал; всюду сидели одинаковые равнодушные посетители на одинаковых кожаных стульях и листали одинаковые желтые папки с предложениями работы. Я отрывал номер и усаживался на один из стульев; где-то через полчаса подходила моя очередь и, даже не пытаясь изобразить какую-либо деятельность, клерк сообщал мне, что на этой неделе для меня работы нет. Потом он возвращал мне регистрационную карточку, и я уходил. Все это было не очень приятно, но за эту нехитрую церемонию я получал вполне достойные деньги, равные приблизительно средней зарплате по стране, и меня это устраивало. О том же, что будет, когда мои права на это пособие кончатся, я старался не думать; гораздо больше меня интересовала та встреча, которой я ждал и боялся, и которая, скорее всего, вообще никогда не должна была произойти. В любом случае, это не было тем, на что я мог хоть как-то повлиять.

В один из таких дней я встретил Межеричкого, и он предложил мне зайти к нашим общим знакомым. Обычно в таких случаях я объяснял, по какой именно причине я никак не могу это сделать, но на этот раз, то ли из-за того, что мне было нечем заняться, то ли из-за смутного нависающего ожидания, я согласился. "С тех пор как ты их видел в последний раз", сказал Межеричкий, "у них родился второй ребенок, и ему уже три года". "Ага", сказал я, "я чувствую, что много потерял". Мы подъехали к их дому, поднялись по бетонной лестнице с крашеными перилами и позвонили. "Привет", сказала Марина, открывая, а потом посмотрев на меня, "привет; сколько лет ты у нас не был". Если уж быть совсем точным, я не был у них никогда, хотя и был в десятках других, точно таких же, безликих и неотличимых квартир. "А ежичку, между прочим, уже три года", добавила она, "хочешь на него посмотреть?". "Да", сказал я, "очень"; и, разумеется, пошел и посмотрел. Впрочем, никаких существенных отличий от других существ того же пола и возраста я не заметил, но, возможно, его родителям было виднее. Закончив демонстрацию ребенка, она показала нам и другие приобретения, появившиеся за последнее время: новую спальню, сушильную машину и какие-то мелочи, которые я не запомнил. "Да", сказал Межеричкий, "очень классно". Потом мы сели в салоне, получили по чашке чая из пакетиков и заговорили про ее ребенка и мужа Костю, которого, впрочем, не было дома; потом поговорили про его работу. Довольно быстро я заметил, что Марину плохо слышно из-за шума работающего телевизора. "Ты еще увидишь, что Рикардо достанется мне со всеми его акциями", сказала темноволосая девица с хищным взглядом, ухмыльнулась и потянулась за сигаретой. Задний план немедленно изменился, обозначив бедный и скромный дом. "Не может быть", прошептала девушка с юным и нежным лицом, обращаясь к старой негритянке, "не может быть, я никогда не поверю, что Рикардо мог мне изменить. Это все Ракел; она

пытается нас разлучить, но наша любовь сильнее ее злобы". Она вытянула руки, заплакала, потом уткнулась лицом в ладони. Негритянка обняла ее; "не плачь, мой ангел", ответила она, "дон Мигель не даст нас в обиду".

— А может ты его выключишь? — спросил я.

— Зачем, — она недоуменно на меня посмотрела, — это же телевизор.

На этот раз настала моя очередь удивляться.

— И что? — сказал я.

— Так зачем же его выключать? Он тебе что, мешает?

— Ну вроде того; да и тебя плохо слышно.

— Так бы и сказал с самого начала, — она взяла пульт дистанционного управления и уменьшила громкость.

— Он у них всегда работает, — объяснил Межелицкий.

— Зачем? — сказал я, втайне развлекаясь получающейся игрой.

— Там в последнее время такие прикольные передачи, — сказала она, — и фильмы такие славные. Ты "За стеклом" смотрел?

— И что, он совсем, совсем всегда работает? — спросил я.

— Ну да, — удивленно посмотрела на меня, — а что его выключать. Ты же телефон или мобильник не выключаешь.

— А голова не болит?

— Да нет; а если что не нравится, так всегда можно переключиться. Там столько разных передач и каналов; всегда есть возможность выбрать. На любой вкус; а ты бы мог еще и на других языках смотреть.

— Ну... — пробормотал Межелицкий с некоторым сомнением, вытягивая вперед нижнюю губу. Мне показалось, что он готов стать на мою сторону.

— Никакое ни ну, — ответила она, — к счастью, в современном западном мире всегда есть, что выбрать. Каждый делает, что хочет, и то, что ему нравится. Это тебе не средние века. И не Советский Союз.

— Ну, в общем, да, — сказал я, подумав, — пожалуй, ты права. Главное — что есть возможность выбора; можно посмотреть "Коснуться счастья", а можно и "Любовь за углом". А можно и еще что-нибудь.

— Или новости, — явно обрадовалась она, что так легко меня переубедила, — ты же вроде политикой интересуешься.

— Да нет; не очень.

— Так ты же как-то говорил, что тошно, это точно твое слово, от всего, что происходит.

— Точно-то, конечно, да; только политику я все же не сильно люблю.

— А, — сказала Марина, — Понятно; а я думала, что ты весь в политике. Мы-то политикой особо не интересуемся. У нас между прочим есть более серьезные занятия; дом, семья, дети, работа; сам понимаешь. Времени ни на что не хватает, это тебе не игры.

— Понятно, — ответил я, в свою очередь.

— С другой стороны, — продолжила она, — если они не наведут порядок, и все это будет продолжаться, придется в Канаду уезжать; вон все уезжают. На самом деле, мы бы давно уехали, только Костеньке там такую работу не найти.

И правда, подумал я, ну что я от нее хочу; если бы она могла перепрыгнуть через себя, она была бы уже с другой стороны.

...Я неожиданно обнаружил, что мне не хочется возвращаться домой, и уже в сумерках я продолжал ходить по полупустым иерусалимским улицам, пока не вышел к зданию "Терра Санта" на Французской площади. Статуя девы Марии на его крыше посмотрела на меня холодно и укоризненно, но, как всегда, промолчала. И тогда я подумал, что Лифшиц, вероятно, еще на работе; так и оказалось; он сидел в одиночестве, в окружении бесчисленных папок, фотографий и чертежей. "Ты еще работаешь?", спросил я; "нет", ответил он и достал бутылку джина, пару чайных чашек. Мы выпили джина из чашек, потом выпили еще; вышли на балкон выкурить по сигарете над ночным городом. "Ну и что ты про все это думаешь?", спросил он; я выругался, налил нам обоим, и мы выпили еще; вернулись назад в комнату.

— Мне все чаще кажется, — сказал он, — что Морозов был прав, хоть и сидел то ли в Шлиссельбурге, то ли в Алексеевском равелине. Ничего этого не было, ни Вавилон, ни Иудеи, ни Греции, ни Рима. Это все придумали невежественные монахи от скуки и безделья.

И мы выпили за Морозова, и за Вавилон, которого не было.

— Ты серьезно так думаешь?

— Я серьезно думаю об этом, — ответил он, — а как еще можно об этом думать? Вся эта история может быть только плодом больного воображения; ты на нее только посмотри.

Я попытался это сделать, но мне не удалось.

— Интересно чье, — сказал я.

Тогда мы выпили за Клио, потом Уранию, и за большое воображение, неизвестно чье.

— А что же было? — добавил я, подумав.

— А хрен его знает. Что-то, наверное, было. Но было как-то иначе, только мы не знаем как. А может и вообще ничего не было.

— Но монахи-то, по крайней мере, были? — спросил я.

— Может и были, но скорее всего их тоже кто-нибудь придумал; а может это они себя сами. Так же как и мы себя придумываем.

И мы выпили за монахов, потом за монашек.

— А что было? — спросил я.

— Да ничего не было, — ответил он, — да, кстати, ничего, собственно, и нет.

Мы еще некоторое время пили за ничто, а потом отправились по домам. Лифшиц долго собирал бумаги, запирали шкафы, потом вышел на Французскую площадь и замер на высоких ступеньках. Вдохнул холодный ночной воздух, посмотрел на небо. "А за Уранию мы пили?", спросил он. "Пили", сказал я. "Это хорошо", ответил он, снова посмотрел на звезды, а потом добавил: "Надо было давно сюда вылезти, а не сидеть в душной комнате. Так и надо жить". "Как?", спросил я. "Ну так", и развел руками. Потом положил портфель на тротуар у ступенек, лег на асфальт, на бок, чуть подобрал ноги; "заночевать", сказал он и уснул. Я довольно долго его будил, потом остановил такси и довез до дому; он жил недалеко от меня.

III

Весь следующий день я проспал. А потом я познакомился с девушкой по имени Алиса, как выяснилось, она занималась йогой и рейки; через несколько дней она сказала мне: "А ведь здесь в Иерусалиме есть тайный семинар по магии, тайным учениям и каббале; было бы так здорово туда попасть". "Откуда ты о нем знаешь?", спросил я. "Мне говорила моя подруга; но ее туда никогда не пускали, потому что они думали, что она глупая. А это не так, точнее не совсем так. Там бывают самые главные маги". "Ну хорошо", ответил я, "давай же туда поадем". Я позвонил Брату Оленю и сказал, что снова приду к нему на крышу; про Алису я дипломатично промолчал. "Семинар возродился, и ты на него снова ходишь", сказал он, "Замкнулся малый круг; но ведь ты же придешь не только для того, чтобы напиться?". "Нет", ответил я, и это было чистой правдой. Он объяснил мне, что на ближайшем семинаре появится верховный жрец Вавилонa и зачитает 67 правил восхождения на зиккурат. "Он либо шарлатан, либо сумасшедший", сказал Олень, "но, как ты понимаешь, это не имеет значения; дух дышит, где хочет; даосы тоже были шарлатанами, но переморили нескольких императоров". Как мне кажется, он верил в то, что граница между истиной, магией и шарлатанством будет окончательно видна только с высот избавления; до семинара же оставалось ждать три недели. "А правда ли", спросила меня Алиса, когда осталось только два дня, "что, как говорят, во время семинаров Брат Олень летает по комнате?". "Не всегда", ответил я, "в зависимости от настроения. Иногда просто поднимается над креслом, одергивает себя и сразу плюхается назад, а часто и вообще ничего не происходит. Так что, скорее всего, ты не увидишь ничего необычного". Она обиделась; "Не такая уж я и слепая", сказала она, "у меня, между прочим, вторая степень по рейки". Честертон как-то писал, что когда уходит вера в Бога, появляется вера во все, что угодно.

Я пришел минут на сорок раньше, и все это время мы с Братом Оленем сидели на кухне и вспоминали все те места, где мы вместе пили; этих мест было довольно много, и мы медленно скользили вдоль стен города: гора Скопус, ботанический сад, пьяный дворик в Нахлаоте, Сад Независимости, предместье Неве-Яков в дальнем медвежьем углу города, брошенная арабская деревня Лифта у въезда в город и разные флэты — за эти годы их было довольно много. Потом мы стали вспоминать первых посетителей семинара, неустроенных, бездомных, длинноволосых, чья собственность обычно ограничивалась узлом с вещами и парой коробок книг; они часто поселялись там, куда приходили. "Ты помнишь", спросил Брат Олень, "как у меня жил целый бродячий театр и еще два художника?". Мы засмеялись и выпили. "А ты помнишь", спросил я, "почему мы тогда никогда не ходили в кафе?". И мы засмеялись снова; это было потому, что ни у кого из нас тогда не было денег на кафе; это было ужасно давно. Даже на бутылки "Хеврона", дешевого вина неизвестного происхождения, нам приходилось скидываться. Мы были нищими, как дворовые псы, и экономили на автобусных билетах. Я не уверен, что и теперь мы смогли бы заплатить такую цену за право жить так, как считали нужным, и делать только то, что любим. А может быть и

смогли бы, подумал я. "А помнишь, как мы ночью разгружали коробки с неизвестно чем?", сказал, входя, Толстый Вепрь; это было летом, было темно, жарко и душно, и мы вымокли с ног до головы; отчаянно устали, и от нас воняло потом. Мы заработали ужасно много, и нам даже хватило на хорошее вино; это было совсем не то, что мы пили обычно. То, что мы пили обычно, пить было и вообще невозможно; это потом у нас у всех как-то нашлась работа. "А ты помнишь", сказал Вепрь, "как мы угнали эту Хонду и оставили ее прямо у полицейского управления?". "Да", сказал я. "А ботанический сад?". "Да". "А эту девицу, которая клялась, что видела там розовых страусов?". "А ты помнишь?", сказал Брат Олень. "Да", сказал я еще раз, "конечно, помню".

А потом настало время идти встречать Алису, и я ушел; мы вернулись минут через двадцать; Брат Олень посмотрел на нее с кислой миной, но ничего не сказал; он был самым деликатным из всех известных мне оленей. Когда мы вошли, он был уже облачен в длинную мантию мага с широким черным кантом. Начали собираться гости. Почти все они были мне знакомы; и почти все изменились. Последним появился Зеленый, лучший из иерусалимских самогонщиков; он принес три большие бутылки "Ушей Голема", в просторечье называвшихся "Големовка". В "Ушах" было градусов сорок пять — пятьдесят, но благодаря многочисленным травам, специям и добавкам они почти не чувствовались, точнее, чувствовались с некоторым опозданием. По крайней мере, так всем нам когда-то казалось; он действительно умел это делать. Брат Олень жил на последнем этаже, и рядом с его квартирой находилась ржавая железная дверь, ведущая на крышу; она была всегда открыта. Мы расстелили матрасы по кругу, расставили бутылки, зажгли свечи; в ночной темноте огни Иерусалима лежали под нашими ногами, скатываясь вдоль холма, поднимаясь на соседние склоны, растворяясь вдалеке; мы долго рассматривали созвездия: "Орион", "Близнецы", "Стрелец", "Кассиопея". Сидели на матрасах, пили вино, дешевый джин, "Уши Голема" и самодельные настойки, разговаривали о звездах.

А потом появился верховный жрец Вавилона. Он был лысым и загорелым, и тусклый свет свечей отражался от его лысины. Долго усаживался, исподлобья смотрел на нас; Брат Олень представил его. "Вся еврейская мистика", начал жрец торжественно и неожиданно, "вышла из Вавилона". Но не только она. Еврейский календарь, добавил он, еврейская ангелология и демонология, даже Библию евреи написали в Вавилоне для того, чтобы оправдать свою инаковость, сохранить себя среди чужих племен. И поэтому в Библии множество отзвучков истинного вавилонского знания; это может показать даже самое простое и поверхностное сравнение; и уж тем более — в Талмуде. Даже еврейский Новый Год — это на самом деле вавилонский Новый Год; и точно также обстоит дело с христианской, исламской и индийской мистикой. В основе всего лежит Вавилон, в основе всего лежит Вавилонское изгнание, но не изгнание из Палестины в Вавилон, а, наоборот, изгнание из Вавилона, родины всякого истинного знания. Этого знания можно было достичь поднявшись на зиккурат; впрочем, у каждого в душе свой зиккурат, сказал он торжественно. "А что нужно съесть, чтобы туда подняться?", спросила Юшка, но верховный жрец Вавилона ее проигнорировал.

Сейчас он зачитает самое главное, сказал он, шестьдесят семь правил восхождения на зиккурат; это очень важно, поскольку ни один человек, нарушивший хотя бы одно из этих правил, никогда не сможет удостоиться мистического откровения. Я увидел, как Брат Олень выпрямился, потер переносицу; его взгляд стал снова напряженным и сосредоточенным. Верховный жрец зачитал свои правила; среди них было предписание вдыхать ветер вечных равнин, указание смотреть под ноги при любом духовном восхождении и запрет на общение со слишком разговорчивыми духами. Потом он рассказал, как в одном из своих предыдущих воплощений он предал проклятию Ассирию, и Ассирия исчезла. Он говорил медленно, задумчиво, чуть торжественно. Тоже самое я сделал с Британской империей, добавил он. Алиса смотрела на него потрясенным и зачарованным взглядом. "И эта Ассирия действительно исчезла?", спросила она меня чуть позже, шепотом.

Потом верховный жрец ушел, и мы начали обсуждать Вавилон и древнюю мистику Междуречья. Брат Олень, как всегда, выглядел разочарованным; "опять мимо", сказал он мне тихо, приложив ладонь к губам. Многие окна уже погасли; холмы стали чернее; яснее и отчетливее обозначились ленты дорог. Я смотрел на луну, большую, белую, с пятнами гор.

— А почему он ничего не сделал? — спросила меня Алиса.

— Кто именно? — ответил я, не понимая.

— Ну верховный жрец; что-нибудь сверхъестественное, мистическое, хотя бы полетал, а?

— Он слишком важный маг, — сказал я, — чтобы показывать фокусы или заниматься подобными глупостями.

— Ты что, не веришь в то, что он рассказал? — ее голос прозвучал как-то расстроено и жалобно, — а вот твой друг, между прочим, верит.

— Да нет, что ты, — успокоил я ее, — конечно же, верю. Я даже духов немножко умею вызывать.

— Ну, тоже мне редкость, вызывать духов и я умею; мы еще в школе вызывали. К нам пришел дух Бен-Гуриона, и очень ругался.

— Очень ругался?

— Ну да; по-русски и матерно.

Я смотрел на луну, и она медленно скользила навстречу ветру; на ее поверхности высвечивались рваные контуры невидимых земных облаков. Было холодно, мы сидели, прижавшись друг к другу, допивали "Уши Голема" и собирались расходиться. Кто-то уже ушел. Алиса выясняла у Юшки, не страшно ли ей жить в Гило, "по нему же стреляют почти каждый день". "Да нет, прикольно", ответила Юшка, "и вид красивый. А когда я трахаюсь, я все равно перестаю что бы то ни было слышать". У нее были разноцветные, раскрашенные пряди, разбросанные по плечам. И тут она стукнула себя по макушке: "слушайте, народ, я чуть было не забыла — у Майкла брата шарахнуло, надо будет поехать его навестить". "Серьезно задело?", спросил Толстый Вепрь. "Да нет", ответил Брат Олень, "Вроде нет; в основном, взрывной волной, а так царапины". "Поехали сейчас", сказала Юшка, но потом она вспомнила, что уже поздно. "Но все рав-

но надо будет оторганизоваться", продолжила она решительно, "завтра же утром едем в Адассу его проводить". Ну вот, уже есть и программа на завтра, подумал я. "Завтра все вместе едем в Адассу", объяснила Юшка и кивнула сама себе. А потом Вера встала и сказала, а поехали сейчас купаться на Мертвое Море, оно-то еще не закрыто; и мы ответили, да, конечно, поехали купаться. "Вы что, с ума сошли", закричала Алиса испуганно, "там же и днем теперь небезопасно, а по ночам и вообще вся дорога простреливается". Мы встали, и белая луна скользила над Иерусалимом. "Там же территории совсем рядом", добавила она; мы довезли ее и еще одну пару до центра города и выехали на дорогу, ведущую на восток.

На часах было около двух ночи; мы проехали мимо армейского блокпоста с бетонными заграждениями, и усталый солдат посветил фонариком в лобовое стекло, мимо почти невидимых в темноте пустых каменных холмов Иудейской пустыни, мимо скал, подступающих к дороге. Потом, оставив по левую руку Иерихон, самый древний город на земле, начали быстро спускаться к Мертвому Морю, миновали пещеры Кумрана, припарковались чуть в стороне от обочины и в полной темноте вышли из машин. Позади нас, тяжелым, почти невидимым сомкнутым строем стояли скалистые, безлесые горы Иудеи; в блеклом свете луны проступали высокие обрывы над ущельями и дальние скальные выступы. С левой стороны над нашей стоянкой нависала скала; вдоль нее вниз, к еле заметной береговой линии, убегала тощая каменистая тропка. По ней мы спустились к воде, и я снова увидел, что над Мертвым Морем, на бескрайнем черном небе, висит эта белая холодная незамутненная луна. В отличие от Иерусалима, здесь было тепло, и вода была тоже теплой, очень соленой, густой, маслянистой на ощупь; низкие волны подползали к берегу, тихо плескались, распластывались на прибрежных камнях. Мы разделись и вошли в воду, стараясь держать голову над ее безжизненной плотной соленой массой. "Здесь слишком солено", сказала Юшка, "надо было ехать на Средиземное". Но здесь было хорошо, тепло и уютно; нас окружал шелест воды, приглушенный шум редких машин, потом донеслись дальние звуки выстрелов, наполнившиеся горным эхом. Звезды тут горели еще ярче, чем над крышами Иерусалима. Мы купались довольно долго, а потом сидели на берегу, смотрели на это невидимое соленое море, слушали шорох ветра и тихо разговаривали ни о чем.

IV

Я помню, как в одну из ночей того лета я долго не мог уснуть, вышел на балкон, выкурил сигарету, сидя в низком продавленном кресле, потом вернулся в постель; закрыл глаза. Но сон так и не пришел, и я медленно погрузился в прозрачное пространство между бодрствованием и тишиной, пространство воображения, вымысла и света, где воля еще свободна, но образы достигают уже той, или почти той, степени реальности, которая обычно становится возможной только во сне. В последние дни я много думал о свободе, ее неуловимости, спрашивал себя и не отвечал, и снова думал о пространствах свободы. Теперь же мысли обретали плоть, и вот одно из этих пространств лежало передо мной:

ощутимое, воображаемое и неизбежное. Время вздрогнуло, напряглось и остановилось, распавшись на свои незримые составляющие, замерев на самом краю желтой степной пустоты. Я шел вдоль реки по узкой тропке, разделяющей заросли камышей и высокие травы откоса; смотрел на землю, на медленное светящееся течение воды, на спящего пастуха, на взлетающих черных аистов. Сумерки медленно скользили вдоль земли, по контуру недавнего следа, вдоль лебеды, полыни, тысячелистника, густой щетины степи, уходящей к далекой и твердой коже горизонта. Ветер принес запах дальних, невидимых костров, а в небе, пустой скользящей чашей, отпечатался черный след полета безымянных птиц.

А потом я увидел город, стоящий на двух берегах Великой Реки, широкой, медлительной и торжественной, покрытой мозаикой вечерних бликов; степь подходила к его стенам. "Итиль", тихо сказал я самому себе, "Итиль". Я вернулся назад, отвязал коня и поехал навстречу городу, вдоль уклончивости тускнеющего света. Золотистые капли вечернего солнца отразились на его белых башнях; но когда я подъехал к воротам, на стенах уже зажигали факелы. Негромко переговаривались, варили смолу, и даже снизу я хорошо чувствовал ее запах. Еще немного, подумал я, и белесые пятна облаков покроют черноту неба. А на другой стороне реки лежал уже почти невидимый Хазаран, его рынки, бани, постоялые дворы, синагоги, церкви и мечети; он рано просыпался, и его шум разносился над водой; здесь было тесно, предсказуемо и неуютно; я не любил его. Он был наполнен торговцами, проститутками и бродячими проповедниками. Становилось все холоднее. Я шел вдоль улиц Итиля, было тихо и безлюдно; весной, сразу после Пасхи, его жители уходили в степь и возвращались домой к Новому Году, когда природа наполнялась осенью, холодом и увяданием. Здесь не было торговцев. "Итиль", сказал я себе, "мой Итиль, город свободы". Его белые башни выступали на фоне ночи, замыкая невидимый круг, прячась за темными силуэтами домов. А утром я стоял на берегу Великой Реки и смотрел на красный дворец кагана, расположенный на маленьком острове напротив города; к нему вел длинный узкий мост. Тень дворца отражалась в воде, и вода подступала к ногам, глухо ударяясь о берег. Зимой в этот город возвращались мои немногие друзья, и мы пили сладкое вино, сидя у огня, глядя на неровное карминное дрожание пламени.

"У библиотеки кагана теперь новый хранитель", сказал мне один из стражников, "он говорит, что знал самого Хасдая ибн Шапрута, самого блистательного из придворных халифа Абд эль Рахмана". Я почувствовал легкий и едва ощутимый вкус неприязни на языке, и то странное сосущее чувство под ложечкой, какое бывает после многодневного голода или когда спускаешься с высоких снежных гор к югу от Балажана. Но здание библиотеки, как и раньше, было простым и просторным, прохладным даже в душные летние дни; я вошел, поднялся по лестнице; книги скользили мимо меня. У одной из полок я увидел человека с холемым и лукавым лицом.

— Ты ли новый хранитель библиотеки кагана? — спросил я.

Он промолчал.

— Ты ли новый хранитель библиотеки кагана? — спросил я снова. Я подумал, что на простые вопросы должен быть простой ответ, да или нет, все же остальные вопросы не стоят того, чтобы быть заданными.

Но он сказал мне:

— Знание ускользает от скачущего по степи; а ищущие свободы ищут своей гибели. Смотри же, в странах лучших, чем наша, евреи проводят свои дни над священными книгами и реестрами товаров, и ни одна запятая не уклоняется от их внимательного взгляда. За это творец мира и награждает их: они умны, их дома роскошны, титулы полновочувственны, семьи крепки и живут в изобилии.

— Изобилии чего? — с изумлением спросил я, поскольку так и не смог понять, что этот человек делает в библиотеке.

— Но главное даже не в этом, — продолжил он, — ибо ничто не заменит для ученого близости ко двору и уважения знающих.

— Но и ты, — ответил я, — живешь не столь уж далеко от двора, и из окон библиотеки ты можешь увидеть дворец кагана.

— Разве это двор, — воскликнул он, взмахивая руками, — разве это дворец, разве это библиотека?

— Я вижу, — сказал я, — что ты видел и другие дворы, другие дворцы, другие библиотеки.

— Да, — ответил он, — я был в разных землях, и понял, что наша — ничтожнейшая и невежественнейшая из всех.

— Почему же ты не остался там? — недоуменно спросил я.

— Потому что не мне тягаться с имеющими знания, и я вернулся умирать в этой бесплодной степи.

— Чем же восхитили тебя придворные евреи? — продолжил я тогда, чуть подумав.

— У них есть особые большие книги, — ответил он, — и там написано, как надо понимать все остальные; они учат их от рассвета до заката, и сомнение не проходит рядом с их душами. Ты же живешь так, как будто вся степь принадлежит тебе, и сомневаешься даже когда смотришь на свою тень.

— Разве у придворных евреев нет теней?

— Есть, но они их уже не чувствуют, потому что знают о них все. А еще они знают о создании мира, о тайне колесницы, они умеют подчинять течения, живущие в теле, читать судьбу по внутренностям животных и звездам над головой. Для них каждая звезда имеет имя, а каждое имя дает силы и власть. Ты же живешь под бесконечным небом, не имеющим имени.

— Разве нужно давать имена звездам, чтобы увидеть небо? — спросил я.

— Ты невежественен, каждый год ты строишь свой дом заново, и хорошая девушка не останется с тобой больше недели, потому что у тебя нет ничего кроме коня, лука, нескольких книг и дороги на запад.

Я подумал над его словами, но не ответил. Библиотека кагана была тиха и прекрасна, с ровными рядами полок вдоль стен, я незаметно взял пару книг и положил их в сумку, пристегнутую к седлу. Я подумал, что верну их, когда вернусь. В тот день, уезжая из города, я зашел в большую итильскую синагогу; она

была белой и просторной, с высокими каменными сводами; когда я вошел, они уже пели, и их пение было прозрачным, стройным и торжественным. Сквозь высокие синагогальные окна на пол падали лучи солнца. Но потом я все же побывал в Хазаране, купил еды на семь дней пути и несколько больших, чуть подгоревших, листов хазарского хлеба. Я долго скакал на запад, вдоль тонкого выходящего луча тропы, чувствуя себя одиноким и счастливым на бескрайнем теле степи, на земле цвета охры, под бесконечным небом, отразившимся в вечности. Я ночевал на траве, подложив под голову седло. Через несколько дней пути я снова оказался у реки, вышел на отмель. Течение было сильным, но вдоль берега тянулись густые заросли камыша с многочисленными протоками и заводями; было слышно, как плещется рыба. Там же, у самого берега реки, я и заночевал, проснулся на рассвете и вышел на откос, потом еще раз спустился к отмели. Над степью, у меня за спиной, восходило чуть красноватое весеннее солнце и отражалось в струящейся речной воде. Я искал раздвоенный белый столп у слияния черных рек; от него начиналась тропа, вычерченная на карте кагана. Каган дал мне двадцать лун, чтобы ее найти; но, сказал он, я думаю, что ее найти невозможно. Я попытаюсь, ответил я.

В те дни я часто оказывался у маленьких озер, затянутых ряской; слушал шелест кустов, пенье птиц, кваканье лягушек. А потом я все чаще ночевал в деревнях, на земле лежащей между двумя морями; и я знал, что к югу от нее, по ту сторону великих снежных гор, лежат земли, где женщины прячут лица и искусны в любви, а мужчины молятся пророку. Здесь же к самой тропе подступали сады, и память об алычовом цвете надолго наполняла душу; когда я думаю о той весне, я вспоминаю запах пламени в холодном воздухе, пение ос, цветущую сирень, пепел, разносимый ветром. Я думаю, что простота вещей, их незамутненного чистого присутствия в прозрачном воздухе бытия, и была тем, что охраняло душу от усталости и отчаяния на пути к этому неуловимому, ускользающему, молчаливому камню у слияния черных рек. Впрочем, окружавшие меня вещи, травы и звери не были красивыми в том холодном отстраненном смысле, который красота требует от души идущего, но еще в меньшей степени они были ключом к потаенной и недостижимой истине карты кагана. Они просто были, и они были наполнены весенним светом. Я смотрел на дроф и журавлей, летящих над степью, на изогнутых цапель, стоящих по колено в воде, на пятнистые шкуры коз.

По ночам было еще холодно, иногда шли дожди, и я старался ночевать в домах, каменных укрытиях, чуть позже в пещерах, под покровом леса. Я спрашивал о пути к черной реке, старики недоуменно разводили руками, и девушки степи поили меня кумысом. Как-то раз я заночевал в маленькой пещере с неровными влажными стенами; от нее начиналась высокая каменная осыпь. Под моими ногами лежат камни, подумал я и посмотрел на небо. Накануне того дня я остановился на хазарской стоянке, где пекли такой же хлеб, как и у нас в Итиле; он был круглым, плоским, чуть подгоревшим. И сейчас, сидя в темноте, на камне, над почти невидимым осыпным склоном, я достал из седельного мешка последний ломоть, и душа наполнилась горечью горелого домашнего хлеба. Я запил

его вином из маленького деревянного кувшина. Иногда я кидал хлеб птицам и смотрел, как они падают вниз, и сразу же испуганно возвращаются к спасительной пустоте воздуха, но потом, осмелев, собирают крошки, осторожно расхаживая по земле. Именно в эти моменты на них было проще всего охотиться; так говорили мне в детстве. Тогда, в детстве, меня учили читать знаки темноты, шелест веток и далекий плеск воды; ходить по земле, не оставляя следов в море звука и почти не отбрасывая тени. Я подумал, что весь мой путаный путь к слиянию черных рек и есть такой шаг навстречу обманчивым и правдивым знакам темноты. А еще я когда-то любил смотреть, как цветет тина.

V

Я никогда не знал, что в этом городе у меня столько знакомых, подумал я; я встречал людей, которых никогда не терял из виду, людей, о которых почти забыл, и людей, которых могло бы и не существовать вовсе. Но мне были интересны они все; не только из-за лежавшей на них печати войны, страха, спокойствия или равнодушия, но и потому, что где-то вдалеке, красноватым силуэтом, как горы Заиордания в ясный солнечный день, маячило предчувствие встречи, неизвестно с кем и неизвестно для чего, встречи, которую я ждал и в которую я не верил.

Я довольно долго шел пешком, смотрел на однообразные фасады домов, на балконы, закрытые ставнями; потом доехал до центра. И уже там я неожиданно встретил Рогодера. Он стоял на перекрестке и молча смотрел на меня чуть близорукими серыми глазами; потом увидев, что я его заметил, улыбнулся. "Привет", сказал я; "привет", сказал Рогодер. "Что нового?"; "да", ответил он, "и правда давно не виделись". Действительно, давно. Мы зашли в кафе, сели на высокие табуретки у стойки. "Н-да", продолжал он, "вот такие дела". Я тоже оглянулся; вокруг было пусто. Кафе стали слишком часто взрываться, и постепенно в них перестали заходить. Мы заказали по чашке кофе. "Похоже, что ты прав", сказал я, подумав, и добавил: "Мне как-то неловко, что меня здесь так долго не было". "Да ладно", ответил он, "тоже мне потеря". Мы поговорили про войну, но было понятно, что говорить про нее особенно нечего.

— Вон у Майкла, — сказал Рогодер, — здесь недалеко брата задело. До сих пор в больнице.

— Понятно, — сказал я, — понятно. А как остальные?

— Да все также. Почти также. Вот Серега, например.

— Сергей все также, — согласился я, — мы с ним вроде как общаемся.

— А Дина переехала, — сказал он.

— Куда?

— В Бейт а-Керем. Теперь у нее народ там тусуется.

— А у Чайников, — спросил его я, — все еще флэт в Нахлаоте?

— Нет, — ответил он, — долго же тебя не было. Здесь с тех пор столько всего изменилось. Чайники уже давно разбежались; Чайник живет с Ирккой в Неве-Якове, а Маришка и вообще уехала в Тель-Авив. А знаешь, кто еще разошелся?

— Кто?

— Гинзбурги. Можешь себе это представить; никто не мог поверить.

— А, — сказал я.

— А Китаец, не поверишь, женился, и у него скоро кто-то там родится. И еще занялся бизнесом, чем-то там торгует. Правда, пока в убыток.

— Понятно, — сказал я.

— А Грузчик теперь живет в Кирыят-Арбе, там совсем дешево. Так что если нужна будет вписка, считай, что всегда есть.

— Это хорошо, — сказал я.

— Верка рамотская теперь тусуется с Чемоданом, — добавил он.

— Ясно, — я вдруг заметил, что тру подбородок, — а что это Маришка уехала в Тель-Авив?

— Да так; сам точно не знаю. Не спрашивал. Хотя знаешь, когда ее подругу убило, она очень расстраивалась.

— А я и не знал; у меня как-то Чайники совсем потерялись, или я у них. Грустно все это; а что за подруга?

— Да была такая хиппушка, совсем без крыши. Светлая; волосы цвета соломы. Она в общаге жила совсем недалеко от тебя. Училась на археологии.

— Цвета соломы, без крыши, — сказал я, — это не очень понятно.

— Да точно ты ее видел, — ответил Рогодер, — она всюду тусовалась. Невысокая такая, с фенечками и шрамом на ладони, кажется на левой. Она еще спала с кем попало.

— Ясно; в смысле ясно, о ком ты говоришь.

— Ты ее помнишь?

— Ну, типа того, а что произошло?

— То же, что и со всеми. Ехала на автобусе, а он возьми и взорвись.

— Понятно, — я подозвал официантку, — ты что будешь пить?

— Честно говоря, у меня совсем нет денег.

— А у меня еще пособие; так что решай, что будешь.

— Слушай, мне неловко.

— Я хочу выпить за тех, кого убили, — сказал я и вздрогнул от фальшивости сказанного; потом повернулся к официантке.

— Ну, и мне виски, — ответил Рогодер.

Мы выпили.

— Все это не очень хорошо, — сказал я.

— Да уж, так себе, — согласился он.

Мы еще помолчали.

— Тебе куда? — спросил он.

— Сам не знаю, а что?

— Я думал, ты меня проводишь до остановки.

— Нет, — ответил я, — я еще здесь посижу.

— Ну, пока.

— Пока. Заходи.

— Да и ты; я по вечерам много бываю дома.

Рогодер ушел; я заказал еще виски.

"Интересно, какой она стала", подумал я, и еще: "интересно, какой бы она стала". Из динамиков, поверх темного дерева и толстых пустых стаканов с желтыми бликами, на меня лилась грустная, прозрачная музыка, выплескивающаяся откуда-то из прошлого, из темного пространства небытия. Но не успела, подумал я. Фенечки и тонкий шрам вдоль ладони; она так мне и не рассказала, откуда он взялся. Свет над стойкой вспыхнул и погас, потом зажегся снова. Но не успела, подумал я, похоже, что не успела. Я знал, что хипы часто становятся образцовыми обывателями; так что я, в принципе, мог бы себе представить, как она ищет богатого мужа, или сытную синекуру, или и то, и другое. Но вот так получилось, что не успела. Я помню, как когда-то мы сидели в дешевом кафе, в дальнем углу под аляповатым граффити, и курили кальян. Дым с яблочным вкусом наполнял легкие; он был густым, как утренний лай собак. Тогда она была пострижена ежиком, непрерывно курила и тихо смеялась. Ее смех заметал следы мыслей, и, спрашивая себя, о чем же мы говорили, она недоуменно пожимала плечами и отвечала, что ловит себя за косичку. "Но у меня нет косичек", повторяла она недовольно. Свет отражался на ее коже, под пепельными колочками волос. Когда она приходила ко мне в комнату, она рассказывала какие-то странные, совершенно неправдоподобные истории, но могла и просто тихо сидеть на кровати, поджав ноги и положив книгу на колени. Иногда я замечал, как она поднимала глаза и долго смотрела куда-то в пространство. Она и вообще не любила шум; даже траву курила как-то незаметно, без показного удовольствия, так, как могла бы перебирать четки. Впрочем, обычно я не позволял ей курить у себя в комнате, и мы шли гулять в университетский ботанический сад. Сад был разбит на несколько секторов: австралийский, латиноамериканский, европейский; а еще там было озеро и деревянная беседка над ручьем; мы садились на дощатый пол и свешивали ноги.

Но был и другой путь; мы поднимались в сторону университетских корпусов; здесь росли сосны и огромные цветущие кусты. А прямо за Французским Домом была большая треугольная лужайка; я любил на ней лежать; иногда с книгой, иногда просто так, глядя в бездонное, счастливое, светлоголубое иерусалимское небо. Она тоже могла часами лежать на спине, подложив руки под голову, и смотреть в небо. Я не могу сказать, что хорошо ее знал, но, наверное, все же лучше, чем все остальные, с кем она спала. Иногда она пропадала, потом снова появлялась; когда она мне мешала работать, я ее прогонял, и она не обижалась. Она обижалась только тогда, когда я ее спрашивал, где она была все то время, что мы не виделись; мне кажется, она думала, что я ревную. Я же просто боялся, что с ней что-нибудь произойдет. Как-то раз я пришел к ней и увидел, как она открывает и закрывает дверь холодильника; потом открывает ее снова, снова закрывает, задумчиво на нее смотрит, снова открывает, закрывает. "У тебя был прекрасный продукт", сказал я тогда; и она улыбнулась. А теперь она уже не сможет лежать на траве и смотреть в голубое иерусалимское небо. Я еще выпил, потом еще немножко. "Это уже шестой виски", сказала официантка, "вообще-то обычно мы больше не приносим". "Но вы же видите, что я совершенно трезв", ответил я. Она с сомнением на меня посмотрела. "У вас что-нибудь произошло?",

спросила она с сочувствием; в этом городе у всех что-нибудь происходило. "Да нет, не волнуйтесь, у вас просто очень хороший виски; я еще немного выпью и спокойно поеду домой". И вдруг я заметил, что за окном совсем темно; горят фонари, а у стойки бара появился еще один посетитель. Сейчас было бы хорошо лежать на газоне, подумал я, колючем и чуть влажном, и смотреть в голубое небо; но она не успела.

VI

Я помню, что в тот вечер я стал снова думать о прекрасной, свободной и счастливой, навеки утраченной, земле Хазарского каганата. Солнце стояло высоко; и небо было жарким, как дыхание огня, и голубым. Я продирался сквозь заросли бурьяна, а потом, остановившись, смотрел на тысячелистник, из которого мы делали настойку от ран, дурной памяти и навязчивой горечи обид, долго вслушивался в течение тонких невидимых ручьев. Солнце стояло высоко; и как капли крови тех дней, в душе остались запах палёной шерсти, вкус утренней родниковой воды, мед и подгнившая деревенская алыча. И еще я помню прозрачный жар земли, возвращающей небу, сквозь густой покров необожженных весенних трав, жар своего тела. Безлюдные, бесформенные озера со счастливой, светящейся водой были разбросаны вдоль этой земли; я часто ночевал на их берегах, и меня будили рассветные крики птиц. Иногда я наткался на могильные курганы; они были заметны издали, потому что хазар, сохранивших честь своего свободного имени, полагалось хоронить вместе с конями. И все же теперь, когда прощание уже достигает дна воспоминаний, и земля горит под ногами, я знаю, что и у этих берегов не было того слияния черных рек, о котором говорил каган, также как его не было нигде. Только раз я остановился, у самого края воды, увидев спускающееся по косогору стадо черных коз с длинной шерстью и настойчивым взглядом; и, взглянув на меня, она опустила глаза. Именно так, сказал я себе потом, и начинает мерцать та уклончивая прозрачность памяти, которая кажется нам твердой, надменной и равнодушной.

Но все это было в других местах, потому что от отрогов Великих гор, где снега земли нависали над подножием неба, пирамидальных столпов, закрывающих мир от раскаленного, алчного и ненасытного юга, я вернулся к нашей прекрасной реке, широкой и бескрайней, как весенний свет, скользящей с плеском и шелестом, а потом ветвящейся на рукава дельты, перед впадением в Хазарское море. Я помню, как в детстве, посадив на круп коня, меня возили смотреть на священные курганы ее островов. Они были сухими и пугающими; но от их прикосновения душа наполнялась изумлением и терпкой иллюзией бесконечности. Теперь же я скакал на восток, оставляя их в стороне, огибая дельту и ее бесчисленные острова, к землям мадьяр, печенегов и авар; навстречу солнцу. Становилось все жарче, но восток каганата не был похож на его запад. Дни здесь были длиннее, степь свешивалась в пустоту через тонкий край горизонта, а бремя земли было весомым и ощутимым, как никогда. Ржание коня смешивалось в этих местах с хрипом ветра и воем волков; шорохи, шелесты, привкус крови наполняли воздух. Человек был здесь только телом, обернутым в ткань пространства,

обычая и старения; глаза сверкали страхом, страстью и усталостью. Сладкий дым поднимался над стоянками, шатрами, покосившимися частоколами, воротами, украшенными ссохшимися головами пленных врагов. Они приносили мне тяжелые мехи с вином, глиняные кувшины с кумысом, широкие плоские блюда, горький хлеб; и я говорил себе, это мой любимый, бесформенный, чуть подгоревший горький степной хлеб.

И все же я не понимал их слов; вокруг меня, на моем пути, лежали страны язычников: печенегов, повторял я, пробуя слово на вкус, как листья мяты; но только пугающий и светлый привкус их магии, чудовищной, страстной и многословной, оставался на языке вместе со вкусом кумыса и степного ветра. Впрочем, ее поток струился мимо меня, оставляя лишь слабые оттиски на камнях, траве, стенах шатров, украшениях их женщин; лишь изредка воплощаясь непонятным, пульсирующим ритуалом, наполнявшим тела безумием и иллюзорным слиянием с землей, прекрасной и равнодушной к их чарам, к их словам, к их колдовству, как и к любому другому смыслу, который земле неведом. Я был для них всего лишь одним из нации повелителей, непонятных, опасных и чужих; и я видел, как скрытая неприязнь заставляла их прятать взгляды в рукавах. Но однажды девушка с прямыми черными глазами, которая напоила меня кумысом, не пустила к себе в дом и осталась со мной под высокими звездами степи, сказала на своем ломаном языке, что ей подчиняются силы земли. Хищные, чарующие и непредсказуемые, подумал я. Когда поднималось солнце, она разрезала ладонь тонким ножом, и ее кровь закапала мне на лицо; она откинула волосы и сказала: "Когда будет гореть твой город, ты будешь жить". Она улыбнулась в рассветных лучах, и я так и не узнал, было ли это благословением, словами защиты или проклятием. Но, по всей вероятности, это было чем-то иным, понятным и невыразимым, для чего в моем языке, в отличие от ее, уже не осталось слов. А потом она уснула.

Таким был вкус степи, пространства и тысячелистника, сухого ветра, мяты и чебреца, но лето двигалось к закату, и я уже скакал среди жестких выжженных трав. Впрочем, я знал, что где-то там на севере степь кончается и начинаются бескрайние непроходимые леса, которые тянутся до самого края мира. На юге же, за белой стеной великих гор и бескрайними пустынями, за землями исмаилитов, лежит центр земли, великий и разрушенный город Иерусалим. Я же скакал на северо-запад, приближаясь к безлюдным лесам севера, но и возвращаясь к Итилю, и спрашивал о черных реках, но и здесь, разумеется, никто не знал о них. Я постоянно подгонял себя и мечтал научиться спать в седле. Время, которое дал мне каган, становилось короче с каждым моим движением и с каждой моей неподвижностью. Я снова встречал знакомые взгляды хазар, степь, спящих ослат и сонные морды коз. В тот день я тоже увидел одинокую козу; отбившуюся от стада, подумал я тогда. Я остановился у самого края воды, и чуть позже заметил стадо черных коз, спускающееся по косогору; у них была длинная шерсть и упругие настойчивые взгляды. Взглянув на меня, она опустила глаза; в ее движениях была легкость ласточки, свет, нежность и пустота. Солнце отражалось от ее ладоней.

И тогда я подумал, время все равно течет к смерти, так не все ли равно по каким холмам ему течь; не все ли равно, течет ли оно в сторону воли кагана или вопреки ей. Я подошел к ней и спросил о слиянии черных рек; она ответила, что ничего об этом не знает. Но я и так был уверен, что ей ничего о них не известно. "Ты ищешь слияние черных рек?", спросила она тогда. Я кивнул; я не ожидал, что она об этом спросит и не знал, что ответить. "Ты хочешь их найти?", спросила она. Я снова кивнул, потому что снова не знал, что ответить. "Ты должен их найти", подытожила она, посмотрев на меня с сомнением и сочувствием. И я остался. Она достала из мешка лист хлеба, сливы и козий сыр. По моим расчетам, я был уже не так далеко от Итиля и снова подумал, так ли уж необходимо проскакать еще тысячу миль по степи, чтобы убедиться в том, что невозможно найти то, чего нет. Месяц злуль медленно желтел и скатывался в сторону тишерея. Она любила лежать на земле, раскинув руки, или на свежескошенных травах, ладонями прикрывая глаза от солнца; а целуясь, кусала губы, шею и плечи. Трудно было сказать, чего в ее поцелуях больше: нежности или самозабвения. А еще у нее были длинные ногти, и они оставляли на моей коже длинные пламенеющие следы. Она быстро мерзла и быстро согревалась; любила смотреть на белую поверхность кумыса, переливающуюся на солнце, и на речные волны, разбивающиеся о камни берега.

Становилось все холоднее, и я узнал, что она любит греться у костра; треск хвороста смешивался с шелестом счастья. И тогда я снова вспомнил слова кагана, его узловатые руки и холодный усталый взгляд. "Птицы летают теперь слишком низко", сказал он мне при прощании, "и небо все чаще наполняется кровью. Никто не может устоять перед Его волей, когда Он решает погубить тех, кто пытается быть ему верен. Ты должен найти раздвоенный белый столп у слияния черных рек". От стыда я сжал губы, встал и обошел вокруг огня; подбросил веток и сухой травы. Костер начал искрить. "Я скоро вернусь", сказал я. "Ненавижу отсрочки", ответила она, "давай прощаться так, как будто прощаемся навсегда". "Но я же вернусь", ответил я. "Тебе незачем возвращаться; я тебя не люблю, и когда ты вернешься, уже выйду замуж". Мы оба замолчали. "К тому же ты предал кагана; предал то, ради чего отправился в путь, то, ради чего рожден", добавила она и подбросила влажной травы в огонь. Едкий осенний дым наполнил глаза; я отошел от костра. "Я не пойду тебя провожать", сказала она на следующее утро, "отправляйся искать свои реки, которых не существует". Она повесила мне на шею обломок небесного камня; "у меня больше ничего нет, чем бы я дорожила", объяснила. Чуть позже, оглянувшись, я увидел, что она стоит на вершине холма и машет обеими руками; крохотная черная фигурка на фоне огромного сероголубого неба. "Я скоро вернусь", прокричал я. В Итиль я возвращался долго, забирая все дальше на северо-запад, подступала осень, и я слышал крики диких гусей, доносившиеся с болот. Тина и ряска медленно наполняли пространство памяти. А потом, сам не знаю почему, в душе все как-то вздрогнуло, сжалось и потемнело. Я посмотрел на небо, на низкие серые облака, вглубь его холода и пустоты, и попытался представить себе этот взгляд, невидимый, от которого ликовала душа и сжималась кожа, медленно направленный из недвижения.

VII

На следующий день мы с Верой сидели в кафе; она непрерывно курила, приоткрывая тонкие ненакрашенные губы, и ее взгляд был направлен в невидимую точку, где пересекались ее мысли. Она была красива той красотой, которая не греет и все же высветляет ушедшее время и тишину. Вокруг нас незаметно наступила осень. Я подумал, что мы не виделись с нею с того самого вечера на крыше у Брата Оленя; но разговор вился медленно и упруго, как змея, выползающая из норы среди желтых камней пустыни. Заметно похолодало.

— У меня тут есть одна подруга, — сказала она, вдруг встрепенувшись, — которая пытается написать книгу об Ибн Габироле. Я думаю, что, наверное, тоже хотела бы написать роман.

— И о чем же?

— Да какое это имеет значение. Ты же понимаешь; разве ты не понимаешь?

— Не очень, — честно сознался я.

Она задумалась; но потом продолжала.

— Ты знаешь, на самом деле, я очень люблю постмодерн; даже восхищаюсь. И каждый раз по-новому. Они ужасно изобретательны. Мне всегда становится жутко обидно, что я их почти не читаю.

Мне же, подумал я, большая часть их книг напоминала девушек из Катамонов; они легко читались, и было нечего вспомнить.

— А почему же ты их не читаешь? — сказал я, — Это как раз и есть самое интересное.

— Вот об этом я всегда себя и спрашиваю. Не знаю; они ведь такие изобретательные.

Мы помолчали, и она посмотрела на меня.

— Может быть, именно поэтому, — спросил я, и она почесала за ухом; совсем как герой мультфильма; совсем не пытаюсь нравиться.

— Может быть, но я не уверена. И к тому же у них все так гладко получается, так цельно. Они замечательные рассказчики; они рассказывают историю, и она затягивает в себя все, что встречается на своем пути. Абсолютно все.

— И все становится таким ясным и прозрачным, — чуть ехидно добавил я; и она кивнула, — но все как-то не о чем.

— Да, да; похоже, что именно в этом дело, — согласилась она, — это как если бы человек сказал, что раз истины все равно нет, то он расскажет нам, как она могла бы выглядеть. Это будет и развлечением, и успокоением, и утешением среди крови.

— Ну да, — пробормотал я, — это и вообще часто бывает успокоительным.

— Ты не прав, — ответила она, — это не ложь. Это скорее нечто, что существует по ту сторону истины и лжи; цельность рассказа, цельность истории и понятности. Не зря постмодернистов читают и те, кто не читает ничего больше.

— Читают, разумеется, — сказал я и задумался; а потом спросил себя: "а о чем это я, собственно, думаю", и продолжил, — На самом деле, я думаю, что вы-

бора у них практически и не было. После того, как из мира исчезла вера в возможность смысла, желание удивлять, вымыслы и изобретательность — это и есть то последнее, что им остается.

— Но это же нелепо, — сказала она грустно, а потом вдруг облизала губы.

— Что нелепо?

— Нелепо пытаться победить бессмысленность новизною; это же и ежу ясно; это надо же быть полным идиотом. Ну как ты не понимаешь. Новизна приедается, а бессмысленность остается. Неспособность любить, кстати, тоже.

— Почему? — ответил я, немного подыгрывая ей, и еще чуть-чуть самому себе, — собственно, и в жизни поступают точно так же — ну посмотри же вокруг — пытаюсь искать в новом, неожиданном, некогда запретном, — во все новых ощущениях — спасения от пустоты.

И подумал: "пытаюсь удивить собственное равнодушие".

— И не могут, — закричала она и захлопала в ладоши, — потому что если можно все, кроме того что вредно для здоровья, то все, все равно, становится пресным и бессмысленным. И в этом их наказание. Даже секс с лошастью.

— А ты пробовала?

— Нет; но не думаю, что это поможет.

Мы выкурили еще по сигарете, под голубым небом ранней осени. "Пепел", подумал я, "как много пепла".

— А теперь представь себе обратное, — продолжала она уже совсем серьезно, — литературу, которая бы пыталась быть верной истине, или, точнее, поиску истины. Это невозможно; это, собственно говоря, противоречие в понятиях.

— Почему? — спросил я, предвидя ее ответ, но как-то нечетко, как бы сквозь прозрачный туман, — я вполне могу попытаться ее представить.

— Потому что наша жизнь фрагментарна, разнородна и непоследовательна. Потому что между книгами, которые мы читаем, и людьми, с которыми мы общаемся, нет абсолютно никакой связи, и в большинстве своем они эти книги никогда не прочитают и, уж тем более, никогда не поймут. Потому что после наших с тобой разговоров про истину и литературу ты включишь телевизор, чтобы узнать, что нового произошло в этом свинском мире, и там среди потоков вранья ты сможешь плавать как на плоту, или на маленькой лодке.

— Не включу, — ответил я довольно решительно.

— Да не в этом же дело. Это все куски, которые никак не склеиваются. А в книге у тебя будет вполне видимая цельность: цельный сюжет, цельный стиль, цельный характер.

— Э-э, — сказал я, — а во-вторых, почему у меня?

— Не "э", а будет; не отмазывайся. Я, например, не могу представить книгу без сюжета и стиля; стиль — это же торговая марка автора, совсем как "пепси-кола".

— А я, между прочим, и не говорил, что для того, чтобы быть правдивой, книга должна быть лишена стиля; каждый из нас все равно приносит в пространство своего существования некое подобие связности, а то и единства. Я просто не очень знаю, как это назвать: единства мысли, восприятия мира, чувств.

— Вот именно что "некое подобие". Но не сюжета: завязка, развязка, начало, конец, главы, причины и следствия, подробные объяснения, последовательность и непрерывность. Скажи мне, какой сюжет в твоей жизни?

— Но подобные связи, — возразил я, уходя от вопроса, — все равно существуют, так же как и некая связность мироощущения; несмотря на всю фрагментарность; хочешь ты того или нет.

— Хочу; я просто мечтаю о том, чтобы все стало цельным и осмысленным. Только не могу. Это надо выколоть себе глаза и залить уши воском. Или податься в ортодоксы; только, скорее всего, нам с тобой и это не поможет.

— Ну, хорошо. Тогда будем считать, что мы пришли к компромиссу.

— Хорошо — согласилась она, — а в-третьих, в отличие от книги, люди не прозрачны для самих себя. То есть то, что они о себе думают, имеет отношение к делу лишь очень частично. Обычно более чем частично. А литератор, он же мечтает быть демиургом, он же все понимает. А что не понимает, то немедленно поймет.

— И тоже не всегда.

— Почти всегда; да и читатель тоже хочет все понимать. Незнание его злит и гнетет; а если он с ней еще и остается, то считает себя одураченным.

— Допустим.

— А судить такую книгу будут, исходя не из истины, а из законов жанра; потому что мы смотрим на мир сквозь эти законы, а не наоборот. Только подожди, не возражай; я сейчас приведу пример.

— Приводи, — сказал я.

— Оглянись вокруг себя и ты увидишь, что люди перемешаны, как рыбы в кастрюле с ухой; причины, которые их объединяют, лежат не между ними, а внутри них самих или в мире вокруг них. Посмотри, — добавила она, — на то, что они называют своей любовью, и ты увидишь комплексы, амбиции, скуку, страх одиночества, интересы, планы на будущее, расчет, все что угодно — кроме чувств. Или чувства как производную от всего перечисленного; между прочим, иногда очень сильные чувства. Знаешь какой сильной бывает любовь к деньгам, или к чужой машине, или к большому кулаку?

— Я с тобой не совсем согласен, — ответил я, — но допустим.

— А я и не имела в виду, что ты со мной должен полностью согласиться. Но теперь представь себе, что вместо того, чтобы рассказывать вымышленную историю вымышленной страсти, ты бы посмотрел на все это под микроскопом.

— И что?

— Да ничего. Любой нормальный читатель спросит, а что же связывает твоих героев; почему они здесь, почему они знакомы, почему они вместе; и будет прав. Совершенно прав. Потому что внимательный взгляд угрожает иллюзии того, что мы прозрачны для самих себя; а без этой иллюзии мы, собственно, и не можем жить. Нам же хочется видеть себя последовательными, а мир понятным.

— И что же дальше?

— Да нет же; ты не дослушал. Все еще хуже; мы же еще и по-разному непоследовательны. Если предположить — хотя я в этом совсем не всегда уверена —

что у нас в душе есть некий стержень, то мы ускользаем от него по-разному, и на разный угол. А с этим примириться еще сложнее.

— Так что же дальше? — снова спросил я.

— А дальше, — ответила она грустно, — то, что я уже сказала. Распад иллюзий, непрозрачность бытия, неоднородность, непоследовательность, фрагментарность, случайность, излишность, отказ от сюжета и единого стиля. Продолжить список?

— Да нет, понятно.

— И ты думаешь, все это можно перенести на бумагу? Хотя бы теоретически?

— Я думаю, что да, — ответил я, — по крайней мере, стоило бы попытаться.

— А я думаю, что нет; я уже пыталась. И кроме того, никто не станет это читать. И вообще, я же тебе говорю, не факт, что с этим можно жить.

— А я думаю, что вопрос о том, кто что будет читать, и вообще не имеет никакого отношения к делу. Так же как и вопрос, как с этим жить. Все равно следует говорить правду. Ты же знаешь, — добавил я, подумав, — я не разделяю всех этих теорий насчет привлекательности утешительной и прекрасной лжи — даже украшенной табличкой "не верьте ни единому моему слову". Истина стоит того, чтобы попытаться ее увидеть; даже если ее и нет.

— Хм, — сказала она, — ты так говоришь, потому что никогда не пытался ничего написать.

— В этом ты права, — ответил я, — действительно не пытался. Но я думаю, что говорить надо правду.

Мы выпили еще по чашке чая и разошлись. Она никогда не была моим близким другом, но с ней всегда было интересно. Мы разошлись, и я стал думать о честности, о прямоте, об истине. "У меня вызывает подозрения человек", писал как-то Ницше, "которому нужны основания для собственной честности". Думать так было очень приятно, легко. О прямоте было легко думать, но чем больше я о ней думал, тем быстрее понимал, что в ней нет ничего прямого, почти ничего. Часто, когда я говорил то, что казалось мне правдой, я чувствовал — что бы я ни говорил о ней, — что я продолжаю нуждаться в точке опоры, точке, с которой я мог бы посмотреть на все сказанное, на бывшее, посмотреть взглядом твердым и упрямым, той точке, которая бы находилась в недостижимом пространстве истины, по ту сторону простой правдивости сказанного. А это, в свою очередь, вызвало к жизни вторую мысль, еще более лукавую и искусительную; само желание говорить правду начинало требовать оправдания, ускользая от простоты самоочевидности, ясности. И тогда я вспоминал Ницше; но и это как-то не помогало. Сама идея истины лишалась контуров самодостаточности, растворяясь в тумане сомнений и неуверенности.

Но еще хуже обстояло дело с тем, чью истину я, в любом случае, не мог бы доказать; я даже не знал, как говорить о ней. И тогда я представил себе человека, который думает, что помнит — помнит о тени смысла и истины, нависающей над простой явленностью существующего, помнит вопреки самому существованию и его глухим адептам. Он бы сказал себе: все они помнят части, я же пом-

ню больше, чем часть; но я не знаю — правда ли это. Такой человек никогда бы не смог доказать бытие этой истины, прояснить ее смысл, смысл ее смысла, не впадая в словесные игры в тени того, что никогда и никем не может быть сказано. И все же, подумал я, он бы знал, чувствовал глубинной и мучительной основой своей души ее присутствие; ему бы казалось, что существование, лишенное света иллюзорной, недостижимой и недоказуемой истины, оказывается без остатка делимым на свои страхи и желания, на вечный круг корысти, насилия и рождения. И если бы в этом делении, в этом круте, был остаток, то таким остатком оказался бы он сам; в любом случае, для него это была бы плохая арифметика. Очень плохая. Но не будет ли тогда его неизбежным уделом, спросил я, тоска по забвению, по молчанию, по покою. И тут же ответил. Неизбежным нет, вероятно нет; хотя он и будет часто спрашивать себя, помнит ли он истинное или вымышленное, или ни то, ни другое; не бродит ли он кругами среди бесчисленных отражений собственной меланхолии, и еще — не лучше ли забыть о том, чего нет. Правда ли то, что он помнит, что он думает, что помнит. Правда ли то, что он помнит, что я помню, то что пытаюсь помнить. Я посмотрел на разноцветную толпу, струящуюся вдоль улицы; она могла бы быть чем угодно, могла бы быть всем или ничем. Возможно, что по ту сторону того, что есть, и вообще ничего нет, продолжил я; но все же следует говорить правду. Я не знаю почему, но все же так; наверное, так нам будет легче оправдаться. Я так думаю.

VIII

Почему бы и нет, подумал я в то утро, почему я так уверен в том, что не окажусь в числе мертвых. Мы все почему-то убеждены в том, что умрем не завтра; вот и она тоже погибла, а ведь мы лежали на траве и смотрели в небо. Точно так же, добавил я, мы все склонны думать, что находимся на стороне ангелов, но ведь может оказаться и иначе. И первый раз в жизни предчувствие смерти, беспричинное и неизбывное, опрокинулось на меня, пролилось мелким весенним дождем; впрочем, оно не было приступом удушающего страха, или горечи несбывшегося, оборвавшегося пути, но скорее прозрачным покрывалом отстраненности, как если бы я вдруг посмотрел на мир сквозь тонкий белый тюль или с высоты птичьего полета. Это было мгновенным и неожиданным чувством прощания, нечто подобное тому странному ощущению, которое я иногда испытывал на вокзале, у самого края перрона, перед тем как сесть в поезд. В таких случаях я иногда говорил себе, ну вот, через месяц я снова здесь буду; или наоборот — любопытно, окажусь ли я в этом городе еще раз, когда-нибудь. Но на этот раз я подумал, интересно, с чего бы это, с чего бы все это, и снова посмотрел на повестку с призывом на резервистскую службу. Это еще не причина, сказал я себе, и это действительно не могло быть причиной; резервисты гибли так же, как и все остальные, но ничуть не больше. И тем не менее, предчувствие прощания и смерти, прозрачное, странное и беспричинное, окружило меня, наполнило город, иллюзорное пространство моего бытия.

По многим и вполне понятным причинам мне не хотелось оставаться наедине с этим чувством, но у меня не было тех, с кем бы я мог о нем заговорить; я

сел в машину и поехал на юго-запад, в сторону горных деревень, сосновых лесов и оливковых рощ. С двухполосного скоростного шоссе я свернул на узкую боковую дорогу, потом на проселок; пахло зеленью, деревьями, навозом; чуть дальше оказалось, что проселок превращается в джиповку, я загнал машину на обочину и вышел. Пройдя несколько шагов, я увидел, что прямо передо мной дорога изгибается неровной дугой вдоль каменистого края холма, обнажая широкую зеленую долину и дальние горы. С обеих сторон меня окружали каменные склоны, темно-желтые с мелкой коричневой сыпью, медленно исчезающие в сосновом лесу; пахло землей, горным воздухом и хвоей. Я любил эти горы, запах мяты и тимьяна; когда я приезжал сюда весной, они были покрыты белым снегом цветущего миндаля; потом зацветали нарциссы, орхидеи, асфодели, цикламены, маки и горные розы. Но и сейчас небо было синим и счастливым, бездонным, почти вечным, с двумя маленькими пушистыми облаками, зависшими над дальним холмом. Следуя за разбитым проселком, я миновал поворот и вышел на узкий отрог холма; дальше, тонкой неровной лентой, дорога струилась вдоль его гребня. Миновав холм, я спустился в долину; вдалеке, сквозь зелень, высветились белые стены домов; чуть позже, с левой стороны, к самой дороге подступили серебристые оливковые рощи. Впрочем, я знал, что вблизи оливы всегда оказывались не серебристыми, а скорее светло-зелеными, хотя и с белесым, серебряным отливом. Они тянулись вдоль склона холма ровными светящимися рядами, вдоль коричневатой разрыхленной земли, с огромными просветами между рядами. Только с очень большой натяжкой их можно было назвать рощами; шумели цикады.

Это был один из тех моментов, когда прозрачная телесность и простота бытия опрокидывались на меня в своей ясности, видимой несомненности, как горечь зеленых маслин, как запах жасмина или ладана. Простота этой сухой земли, камней, прозрачного воздуха, запаха хвои, седых прядей оливковых рощ; они вычерчивали вокруг меня странный, почти магический круг, замкнутый стрекотом кузнечиков и настырными голосами цикад. Но такой же могла быть и простота моря, его белесой пены, тяжелых приливов и отливов, быстротечных закатов; или зимой — тепло дома, грубой шерсти носков, варенья из стеклянной банки. Это могло быть и прикосновение губ, и бутылка вина. В такие моменты радость случайного и преходящего казалась вполне самодостаточной, поднимаясь до иллюзорной полноты бытия, до счастья; в эти минуты мне казалось, что нужно забыть про все, что могло бы находиться по ту сторону простой единичности, по ту сторону счастливой телесности мироздания. Я вспомнил о своих мыслях, о навеки утраченной стране хазар. Даже быт, просвеченный простотой, наполнялся тусклыми искорками души. И все же все это не решало один вопрос, всего лишь один, только один; вопрос о том, кто всегда молчит. Собственно говоря, даже вопросом его было трудно назвать; какие могут быть вопросы к тому, кто никогда не отвечает. Я не думаю, что решился бы сказать, что любил его, но ведь и это не имело значения; в конечном счете, нет никакой разницы, любить или не любить того, кто всегда молчит; молчит, что бы ни произошло. Да и дело было не в неразделенной любви, а в самом молчании.

Медленным шагом я вернулся к машине, но вместо того, чтобы повернуть назад в сторону Иерусалима, поехал дальше и довольно быстро оказался на берегу моря, чуть севернее Тель-Авива и Герцлии. Слева от меня, на самом берегу, стояла небольшая полуразрушенная крепость, построенная еще крестоносцами на месте греческого поселения Аполлония, а направо тянулась рваная береговая линия с высокими желтыми скалами, нависающими над морем. Я оставил машину около дороги и начал спускаться к воде; под моими ногами море билось о камни и песок, разбрасывая клочья белесой, чуть сероватой, пены. Я спустился вниз и сел на бурый камень у самой воды; море лежало у моих ног, голубое, бескрайнее, покрытое бликами и дальней рябью; оно уходило на запад и сливалось с небом. Это было пространство грусти, неподвижности, меланхолии, прозрачной тоски; душа наполнилась светом и тишиной. Чувства сливались с чуть слышной музыкой его биения. Я попытался представить себе иные страны, лежащие там, за западным морем, но так и не смог; для меня эти страны находились совсем в другом месте, по ту сторону белого здания аэропорта, из стекла и бетона, бесчисленных прилавок с электронными весами. Вероятно, что это море, пошутил я с самим собой, ведет в иные страны, или, добавил я, в никуда; возможно, что по ту сторону него ничего и нет. Тогда это море, которое ведет в никуда.

Оно было белесым и тяжеловесным, солнце спускалось все ниже, вода медленно темнела. В душе что-то сжалось, заныло; и я почувствовал, как на меня падает неожиданный груз вязкой, многомесячной усталости, отчуждения, удушающей невозможности быть. Было бы хорошо, подумал я, если бы существовало место, куда мы могли вернуться, но его нет, или, в любом случае, до него гораздо дальше. "Сквозь дырку в сердце видно только море". И тогда мне захотелось, чтобы у меня была лодка с дощатыми бортами и одним парусом, сетью, запасом еды; и я бы, ни с кем не попрощавшись, отвязал ее от пирса, поднял якорь, потом парус, закурил и медленно направился навстречу волнам, навстречу краснеющему горизонту, на запад, к тем странам, по ту сторону великого западного моря, из которых не возвращаются. Не возвращаются, потому что в этом нет необходимости, но и потому, что это страны любви и покоя, страны, в которых ждут, страны, которых не существует, из которых невозможно вернуться. Я долго сидел так, прикуривая сигарету от сигареты, пока камень подо мной не стал холодным, а красный диск солнца, тяжело нависавший над водой, не коснулся линии горизонта. Постепенно я привык к шуму волн и перестал его замечать; вечерело, молчание опустилось на скалистый берег, на дальнее красное небо, на кровавые полосы заката, на море, покрытое сумеречной кровью. Это было великое молчание западного моря, молчание того, кто никогда не отвечает. Повеяло холодом; чтобы согреться, я сделал несколько намеренно резких движений, согнул и разогнул ладони. Но неожиданно предчувствие смерти, окружавшее меня весь день, исчезло; исчезло столь же неожиданно, как и появилось, растворившись в молчании, холоде, беспричинности. Я снова представил себе эту лодку с дощатыми бортами и одиноким парусом, и подумал, сегодня, да и не только сегодня, я шел вдоль самого края западного моря,

загадочного и влекущего, чуть пугающего, скользил вдоль тихой неровной музыки его дыхания, смотрел на небо, на пенную воду, песок под ногами, подбирал черные ракушки.

IX

Рано утром я был на распределительной базе; солнце еще висело над горами совсем низко, набрасывая на них темные красноватые тени; как обычно, сначала резервисты приезжали на машинах сами, но потом подошел армейский автобус, пришедший с места сбора. Вокруг было довольно много знакомых; с некоторыми я даже перекинулся парой слов; мы пожали друг другу руки, спросили "ну как, все как обычно?". Часто оно так и было, иногда не совсем. Впрочем, в любом случае, я понял, что они хотят перетасовать нас как-то по-новому; потом меня довольно долго инструктировали. "Вы будете охранять поселение Зоар Бет", сказал мне майор, "там сейчас пять резервистов, вы должны их сменить"; "вообще-то мы называем его Зоар Зайн", добавил он, "но это так, между нами". "А кто охраняет Зоар Алеф?", спросил я. "Зоара Алеф не существует". Я подумал, что Зоара Бет, наверное, тоже, но ошибся; он стоял на сером безжизненном холме посреди Самарии в окружении каменной пустоты и невидимых арабских деревень. Когда мы приехали на место, лейтенант, командовавший резервистами, которых мы сменили, рассказал мне историю создания Зоара Бет. В самом начале второй интифады некий Зоар Альперон из Натании поехал в арабскую деревню под Рамаллой, вроде бы для того, чтобы дешево починить машину, но по дороге сбился с пути, заехал в лагерь беженцев, где его и расстреляли прямой наводкой какие-то палестинские боевики. На этом история Зоара Альперона собственно и кончается. Армия повторила запрет на въезд на территории, а поселенцы, которые как раз собирались основать новое поселение недалеко от места теракта, назвали его именем погибшего. На вершину холма были привезены два каравана, в одном из которых поселились три ешиботника.

Правительство, как обычно, сочло поселение незаконным, и уже через полгода его ликвидировали; поселенческий совет заявил протест, на защиту Зоара приехало несколько десятков молодых людей в кипах и футболках навыпуск, но, в общем и целом, эвакуация прошла вполне мирно и бескровно. Однако тишина оказалась обманчивой. Уже через неделю после эвакуации на соседнем холме возникли два новых каравана и четыре ешиботника, назвавшие себя Зоар Бет. Со временем к ним прибавились несколько солдат, их охраняющих. Решения о ликвидации поселений временами принимались, но Зоар Бет они как-то не задевали; было похоже, что даже армия смирилась с его существованием. Так что в настоящий момент он состоял уже из четырех караванов, обнесенных беспорядочным забором из листов жести и колючей проволоки; в одном из караванов жили ешиботники, в другом — молодая семья из Нетивота с двумя детьми; два оставшихся поступали в наше полное распоряжение. Из других полезных сооружений в поселении имелся полупустой сарай из листов рубероида, прибитых к деревянному каркасу, и железная будка около подъемного бревна, изображавшего шлагбаум. В дополнение ко всему этому, наши предшественники выстроили

ли между караванами три высоких каре из мешков с песком; в случае нападения это было все же лучше, чем ничего. Судя по карте, нас окружали четыре арабские деревни, но только одну из них было видно, остальные прятались где-то за холмами. "Тут чувствуешь себя так же уютно", сказал мне лейтенант на прощанье, "как кусок баранины на сковородке".

Наши функции были достаточно просты и однообразны. С утра до вечера мы должны были смотреть на окрестные каменные холмы, дальнюю арабскую деревню, на обрывок шоссе, теряющегося между высотками, и неровную грунтовую дорогу, ведущую от него к Зоару Бет. В случае подозрительного движения нам следовало немедленно докладывать о нем по рации и ждать дальнейших указаний. Впрочем, в простых случаях можно было действовать и самим. По ночам же поставленные перед нами цели упрощались еще больше; нам было предписано не позволить террористам пристрелить себя и спящих поселенцев; подобный приказ показался мне вполне логичным. "Это очень важный участок территорий", сказал мне тогда майор, "именно поэтому мы и приняли решение усилить вашу группу". И действительно, теперь нас было семеро, и у нас было два бронжилета. К тому же нам пообещали привезти вращающийся прожектор, о котором просил еще уехавший лейтенант. Но главное было не в этом. Главное было в том, что невидимый жребий, деливший поток резервистов на группы, выпал неожиданным и странным образом; поскольку, как оказалось, я знал всех шестерых вверенных мне солдат; и некоторых из них, подумал я тогда, я знал даже чуть лучше, чем они сами. Возможно, что это было решением неких таинственных невидимых психологов, но подобное объяснение не показалось мне правдоподобным. Скорее, вопреки, а может быть, следуя теории вероятности, случайная комбинация из семерых выпала, и выпала несмотря на свою близость к невозможности. Они стояли передо мной — все те, кого я не видел уже столько лет — повзрослевшие, постаревшие, все еще удивленные, неулыбающиеся. "Ну вот, мы и в сборе", сказал я, "но уже октябрь, и белые ночи, похоже, кончились". Они засмеялись; я выставил двух часовых, и мы пошли устраиваться в караванах.

Потом мы познакомились с ешиботниками и семьей из Нетивота. Ешиботники были нам рады, отчаянно жестикулировали; семейная пара встретила нас холодно, подозрительно и равнодушно. Мы не стали допытываться о причинах и отправились обедать. У каждого из нас много что произошло за это время. "Говорят, что ты женат", сказал я тому, которого не видел особенно давно. "Уже нет", ответил он. "А что же так быстро?", спросил я. "Да так, залетел в психушку, вот жена и бросила; а теперь, как началось все это безобразие, она и вообще взяла Иланку и уехала в Канаду". "Понятно", сказал второй из нас, "это знакомо". "А что?", спросил я. "Да у меня подруга тоже мечтала о Канаде, пока я от нее не сбежал". "А теперь не мечтает?". "Понятия не имею; она девушка разумная, и одна туда не поедет". Мы начали сосредоточенно двигать челюстями, но потом он все же с легким сожалением добавил: "Я помню, у меня как-то умер знакомый антиквар, и я задержался. Я думаю, что по-своему она меня любила". Еще один поднял глаза и молча кивнул; он так и остался тонким юношей, хотя и

был лишь немногим младше нас всех; говорили, что он написал гениальную работу по математике, не нашел работу, очень бедствовал; рассматривая его, я заметил тонкие серебриющиеся нити седых волос. Я попросил первого из них сменить часового, стоявшего на другом конце поселения. "Никакого "по-своему" не существует", ответил четвертый, исполнявший во время обеда обязанности часового с нашей стороны, "я тут пытался написать роман про рабби Элишу, про Ахера, и, пока писал, понял, что по-своему не бывает; бывает либо да, либо нет". "По-моему, только по-своему и бывает", ответил пятый, доставая из рюкзака банку с кукурузой и пакет с травой; я мрачно посмотрел на него, и пакет он убрал. "Даже умираем мы все как-то по-своему", добавил он; я знал, что года полтора назад у него погиб близкий друг, и не стал с ним спорить. "По-моему", вмешался шестой, подходя к нам, "вы оба говорите одно и то же, хотя и по-разному". "А по-моему, не совсем", сказал я.

Конечно не совсем, мысленно повторил я чуть позже, и все-таки в каком-то смысле и одно и то же. Как мне кажется, каждый из нас, сознательно или на ощупь, добровольно, но часто и вынужденно, пытался найти этот ускользающий образ бытия в мире, где утрачена смысловая основа существования, почти полностью прервана преемственность культурных традиций, где всевластные идеологии называют себя свободой, фантомы маскируются под природу и рациональность, а вера давно уже выродилась в фанатизм, сектантство или чистую орнаментальность. Впрочем, не знаю, насколько мы в этом преуспели; не знаю, насколько в этом и вообще можно преуспеть. День незаметно перевалил на вторую половину. Мы встали и отправились осматривать поселение, окрестные серые холмы, потом спустились в долину. Внизу, у самого подножия холма, была невысокая каменная гряда, представлявшая собой естественное укрытие; надо будет на нее поглядывать, подумал я, если туда кто заползет, потом будет не выбить. Мы вернулись назад, и я прочитал краткую лекцию об окрестностях, потом пообещал бороться с алкоголем, травой и уже возникшим бардаком. Солнце медленно опускалось; дно долины и противоположный склон начали темнеть. "Здесь красиво", сказал кто-то из них. Мы стояли почти на вершине холма; перед нами, впереди и по сторонам, до самого горизонта, лежала эта серая бесплодная земля, каменистая, с редкими низкими кустами и пучками колючек, пробивающихся среди камней. "Наверное", сказал я, "так выглядит мир под взглядом ангела, когда на все смотришь дважды, изнутри и сверху, и это всегда одновременно; без всякого утешения, без способности забыться". Я посмотрел на них, и мне вдруг показалось, что никто из них почему-то не понял того, о чем я пытался говорить. Возможно, время еще не настало, сказал я себе, возможно, что это время никогда не настанет. И все же они знали, что я имел в виду. Всегда изнутри и извне, здесь и сверху, без утешения, без возможности сказать: "я — это то, что вокруг меня". И тогда я вспомнил жар юности, неясные пульсирующие мечты, ожидание неизвестного, несбывшиеся предчувствия, солнце, наполненное пламенем. Я вспомнил тот день утренних сумерек, день тумана; вспомнил, как эта земля лежала перед нами — юная, бесформенная, уродливая и влекущая. Мы стали разъезжаться в разные стороны — к морю, в долины, к даль-

ним горам — но мне не было страшно; и жизнь нависала над нами с неизбежной чарующей безнадежностью, пустотой.

Теперь же, в очень многих смыслах, следование долгу и было тем последним, что нам оставалось; впрочем, подумал я, это был, разумеется, долг внутренний, то небольшое, что мы могли противопоставить удушающей хватке смерти, удушающей хватке их жизни. Это было предстояние существованию, противостояние всевластности, которое образовано от того же самого мысленного корня, что и древняя стоя. Читать книгу и слушать музыку на фоне войны, не думать о будущем, заглядывать в каждую минуту, как в прозрачную каплю падающей воды, видеть рваную береговую линию и серебристый снег оливковых рощ было тоже частью долга, как я его понимал; впрочем, я знал, что его можно понимать и иначе. Сохранять вокруг себя тонкое пространство свободы, ускользать от власти вещей, людей и слепых страстей было, по-видимому, той частью долга, которую понимали мы все. Быть на этом холме, расставлять часовых, курить, смеяться с ешиботниками, спать в караване — вероятно тоже. И все же интересно, подумал я, кого мы защищаем — эту прекрасную страну, многострадальный народ, отвратительную власть? Или и то, и другое, и третье? Это был вопрос, на который не могло быть ответа. Я хотел спросить об этом вслух, но не решился; а потом повторил, беззвучно шевеля губами, прекрасную страну, многострадальный народ, отвратительную власть. Мне стало грустно; я обошел поселение еще раз; было слышно, как молятся ешиботники, горы окончательно потемнели. Я взглянул на то, как меняются часовые, вернулся в караван. Мы сидели, пили чифирь из пластмассовых кружек, говорили о том, какими были когда-то, и о том, какими не будем никогда, о том, что делали в последние годы, и о том, что думаем про то, что вокруг нас; ко мне медленно подступала грусть. Мне было как-то неспокойно, я вышел взглянуть на наших часовых, на ночную Самарию, закурил; бескрайняя темнота разбивалась об одинокие желтые окна наших караванов, голубела луна, холодный ветер скользил вдоль земли, внутри души было грустно и прозрачно. Наверное так, подумал я снова, выглядит земля под взглядом.

Х

Резервистская служба была не слишком обременительной. В перерывах между дежурствами на часах мы спали, читали, разговаривали, достраивали заграждения из мешков с песком; рядом с поселением арабы появлялись достаточно редко, да и они, на поверку, оказывались вполне случайными; и уже на третий день я начал делать наброски, пытаюсь записать то, какой я видел гибель Хазарского каганата. По всей вероятности, он пал под двойным ударом: славян-язычников с севера и мусульман с юга; и если взятие Саркеля Святославом упоминается в первом своде древнерусских летописей, то о разрушении Итиля и Хазара не известно почти ничего. Возможно, их тоже разрушил Святослав, но возможно, что и нет. Этого не должно было произойти, сказал я себе, страна размером с западную Европу не должна была уйти под воду, как Атлантида; но все же, добавил я, ее не стало. Она была истощена бесконечной войной на три фронта, отсутствием союзников, изобилием врагов, внутренними раздорами; может быть,

в этом была своя историческая неизбежность. Вполне возможно, что на ее месте осталось небольшое зависимое государство, просуществовавшее до двенадцатого века; по крайней мере, сохранились свидетельства, позволяющие так считать. Но, в любом случае, эта посмертная история не слишком меня интересовала; я думал про горящие дома Итиля, про переулки Хазарана, усталые телами, вытопанные виноградники Семендера, сожженные поля, кровь, текущую по земле. Ибн Хаукаль пишет, что в Семендере, где до войны было сорок тысяч виноградников, после нее не осталось "ни виноградины". Святослав не варил мяса и спал в седле, но не только он был причиной гибели Хазарии. "Я стоял на холме", записал я, "и смотрел на великую реку, на багровое зарево горящего Итиля".

Я увидел его огни издалека, мерцающей точкой на невидимой линии ночного горизонта. Оказывается, Итиль ближе, чем я думал. Но потом я понял, что это огонь отражается высоко в небе; похоже, в Итиле пожар, добавил я. За несколько дней до этого мне сказали, что беспорядочное языческое воинство, неожиданно появившееся из лесов и болот севера, осаждает Саркель. "Саркелю потребуется помощь?", спросил я тогда. "Да нет, вряд ли", ответил мой собеседник, презрительно скривившись, "обычные лесные бандиты-конокрады, откуда они только взялись. Настоящая опасность грозит нам с юга". И все же, вероятно, мы их недооценили, подумал я, и вот уже их лазутчики подожгли Итиль, город на великой реке. И это значило, что мне еще только предстояло узнать правду. Я узнавал ее постепенно, увидев смятый кустарник и искаленную землю, следы множества прошедших людей, заметные даже в темноте. Похоже, что здесь на помощь осажденному Саркелю, прошла армия кагана; но почему именно здесь, добавил я, и почему так. Но потом я почувствовал тяжелый запах и объяснил себе: здесь долгое время стояли лагерем, и это было еще более странным. Мне показалось, что над головой кружатся ночные птицы. А еще чуть позже я увидел первый труп, странное тело незнакомого воина со стрелой, пробившей горло, — сравнительно недавний, еще не разложившийся, первый среди многих, устлавших землю. Я спешил и, взяв коня под уздцы, медленно пошел вдоль тропы; надо мною нависал тяжелый трупный запах. Меня окружили трупы хазар; похоже, что тела своих погибших нападавшие, по языческому обычаю, уже успели сжечь на погребальном костре. А это, в свою очередь, и было ответом на вопрос об исходе битвы. Судя по расположению тел, бились на равнине перед городом, потом бились у самых стен Итиля.

Впрочем, теперь это уже было не вполне точным, потому что никакого Итиля больше не было. Хазарана не было тоже. Я стоял на холме и смотрел на великую реку, на багровое зарево горящего города, отражающееся в черном небе. Но было тихо; и это было самым страшным. Я долго прислушивался, но не услышал ни ликующих криков победы, ни пьяных возгласов, ни плача жертв, ни голосов труб, ни шума грабежа. И все же, когда я подошел поближе, до меня донесся далекий шелест пламени, колышущегося в мертвой ночной тишине. Итиля больше не было. Желтым, почти полным диском, горела луна. Я отошел подальше от стен и заночевал в узкой каменной лощине. На следующее утро я вернулся к пожарищу, медленно и осторожно, пригибаясь к земле, опасаясь часовых; но часо-

вых не было тоже. Город уже догорал, белые надвратные башни были покрыты копотью; черная пелена дыма лежала над землей. Земля к северу от городских стен была превращена в кровавую кашу, и по ней мало что можно было прочитывать. Впрочем, непогребенные тела хазар во многом проясняли ход битвы. Они лежали вповалку, скорчившиеся и неестественно прогнувшиеся, изрубленные и изувеченные, раздувшиеся от трупных газов. Со многих были сняты шлемы и кольчуги, иногда одежда; со всех — украшения. По тому где и как они лежали, было видно, что армия кагана вышла из города, чтобы встретить северян на прибрежной равнине, но потом была вынуждена вернуться в город; похоже, что отступление было беспорядочным и кровавым.

Все это было крайне странным, но обогнув город с востока, я понял причину: с юго-востока подошла вторая армия, ударившая с тыла; в грязи и траве, истоптанных конскими копытами, я нашел несколько мелких вещей с тонкой вязью языка пророка. Мне стало ясно, что каган попытался разбить врагов поодиночке, но не успел. Еще более странным было то, что, подойдя к воротам, я увидел только следы пожара, но не следы штурма; это выглядело так, как если бы ворота открыли изнутри. На улицах было много трупов, искалеченных, израненных, обгоревших, но часто и узнаваемых. Я увидел множество женских и детских тел; мне пришло в голову, что перед смертью их вытаскивали из домов. Сила ужаса была такова, что душа онемела, и мысль оставалась ясной, парализованной и прозрачной. А к югу от городских стен лежали многочисленные тела беженцев, пытавшихся, по всей видимости, спастись от неожиданно свершившейся бойни. Я часто замечал на них следы стрел, но еще чаще — следы от беспорядочных ударов мечами. Многие были почти полностью раздеты; чтобы снять кольца, у них отрубали пальцы; вокруг них, рядом с холщовыми мешками, были разбросаны какие-то случайные вещи, явно собранные второпях. Было видно, что победители тщательно перетрясали их скарб. И только закончив начатое, они подожгли город.

А отойдя чуть дальше, я увидел коня, привязанного к дереву, и рядом с ним одинокую фигуру, склонившуюся над одним из трупов. На нем были неудобные и чужие одежды, хазары такие не носят. Увидев меня, он побежал в сторону коня, но я выстрелил издалека и пробил ему ногу; мародер упал. В тот момент я не хотел его убивать, мне казалось, что я просто собирался с ним поговорить. Впрочем, он так и не смог мне объяснить, как и зачем он сюда вернулся; вероятно, ему показалось, что награбленное поделили несправедливо. Я не знаю, что еще он надеялся найти на полураздетых и обобранных телах. Но, в любом случае, это не было тем, о чем я хотел его расспросить, хотя он и почти обезумел от страха. Я спросил его. "Так нам говорили", ответил он мне, когда смог заговорить, "потому что наша цель не взять этот город, а выиграть войну". Города отстраиваются, объяснил им командир, и тогда войны можно переиграть заново, как партию в нарды; их же цель в том, чтобы эту войну нельзя было переиграть уже никогда. Никогда. "Это очень хорошая цель", задумчиво добавил их командир. "Знаете ли вы", спросили у них тогда, "как отстроить город?". И один из его товарищей объяснил: "Города восстанавливаются, когда в них возвращаются

люди. Но от нас, именно от нас, зависит, чтобы этот город никогда не восстановился, потому что в него будет некому вернуться". Я подумал, что вероятно он прав, и вернуться сюда будет действительно некому. А значит, Итиль уже никогда не будет восстановлен, и растворится среди трав, песка, островов и откосов великой реки. "Куда вы пошли потом?", спросил я; "куда-то на юг", ответил он неопределенно, и я перерезал ему горло.

Все последующие дни я скакал на юг, вслушиваясь в далекие шорохи и шумы, настороженные крики птиц, пытаясь предупредить наступающих, огибая их предполагаемый кровавый путь по большой неровной дуге. И все же поначалу я наткнулся на следы пожарищ и беспорядочно разбросанные тела, обнаруживая, раз за разом, что предупредить мне уже некого. Но потом я все чаще начал находить брошенные деревни и утоптанную траву на месте недавних стоянок; я больше не видел мертвых и понял, что обогнал их. Жители стоянок уходили в леса на юге и в долины великих гор. Наконец, настал день, когда я встретил первый хазарский конный разъезд, потом еще один; несколько раз я повторил рассказ про гибель Итиля, но, за исключением деталей, они уже все знали. И тогда я понял, что сделал то, что был должен; душа же все эти дни билась, кровоточила и изнывала, капля за каплей, устремляясь на север. Я повернул навстречу зиме, мимо редких лесов, заводов, поперек рек, холмов и косогоров. Я проходил путь крови в обратную сторону, от пустых деревень к следам пожарищ, трупы смотрели на меня своими пустыми выклеванными глазницами; и все же день ото дня тел становилось все меньше, а те, что я встречал, оказывались все более и более бесформенными, растерзанными птицами и дикими зверями. Во многие деревни уже возвращались уцелевшие жители, хоронили убитых, на новых местах возникали стоянки.

А потом я увидел этот холм, на котором она стояла и махала обеими руками, хрупкая одинокая фигурка на фоне чудовищного пустого неба. Я мог бы узнать этот холм среди десятков тысяч других. Их стоянка была сожжена и разграблена дотла; было похоже, что они стали одной из первых жертв этой войны — вскоре после того, как я ее бросил; да и в эти места пока еще никто не рискнул вернуться, чтобы похоронить убитых. Впрочем, трупов было не так уж и много: возможно, им удалось спастись; возможно, их просто угнали в рабство. Я долго искал ее тело, но так и не нашел и заночевал на пепелище, среди мертвых; а утром я все же увидел ее. Она лежала в стороне, как и жила; мне показалось, что она пыталась бежать, так что обе стрелы попали ей в спину. Я отнес ее к реке и похоронил около большого серого камня, на косогоре, совсем рядом с водой, там где впервые ее увидел — со стадом длинношерстных черных коз. Мне хотелось похоронить ее по хазарскому обычаю, вместе с лошастью, но вокруг было пусто. Я провел там много дней, в оцепенении и пустоте. Холода неожиданно отступили; днем было жарко, и солнце стояло высоко; воздух был наполнен запахами осенних трав. А потом я пришел на ее могилу в последний раз, разжег костер, поднес руки к огню и начал раскидывать горящие головни в высокие желтые степные травы. Я смотрел, как степь медленно загорается, сел на коня и сказал себе, что хочу проверить, смогу ли я ускользнуть от расплзающегося

степного пожарища. Была уже осень, влажно и прохладно, несмотря на солнечные дни; я слышал треск огня за своей спиной, но мой конь, отдохнувший за долгие дни похорон, был быстрее огня. Вскоре он оставил его далеко позади. Я поднялся на вершину плоского желтого холма, остановился и долго смотрел на медленно подступающее море огня, на багровое зарево горящей степи.

XI

Меня разбудили около двух часов ночи; с юга, из густой темноты Самарии, уже пару минут доносился дальний, беспорядочный, непрерывающийся шелест выстрелов. Потом я услышал глухие взрывы гранат, похожие на кашель. Но к этому моменту все уже были на ногах. Впрочем, девушка на армейском коммутаторе не могла ничего мне объяснить, кроме того, что там, по всей видимости, шел бой; но это было понятно и без нее. Мы заняли позиции по периметру Зоара Бет и разбудили ешиботников. Потом по коммутатору я услышал, как вызывают группу поддержки; чуть позже совсем недалеко от нас простреляли вертолеты. Бой стих. Я еще раз спросил, можем ли мы помочь в прочесывании местности, но получил отрицательный ответ; я знал, что они предпочитают это делать без участия мелких и разрозненных групп резервистов — тем более ночью. Через пару часов картина проявилась. На маленькое поселение к западу от Зоара Бет, которое точно также охраняли несколько резервистов, напали боевики, как кажется, из "Исламского джихада"; они пробрались под прикрытием кустов, растущих вдоль гребня холма. Штурм был достаточно удачным; первым погиб часовой, стоявший на воротах; потом их командир, выбежавший первым. Было ли это результатом оплошности, или хорошей подготовки боевиков, или того и другого, было неясно, да и в данный момент не имело значения. Еще два солдата и один поселенец были ранены; но боевики отступили. Труп одного из них вскоре нашли; а группы поддержки и специальные части до утра прочесывали местность, но, впрочем, безуспешно. "Интересно", почему они полезли туда, а не к нам", задумчиво спросил один из нас — тот, что пытался писать роман про рабби Элишу, "там что, медом намазано". В ответ я выругался.

Утро было нервным и беспорядочным, но к середине следующего дня суматоха улеглась; после бессонной ночи хотелось спать, и я вышел к ограде поселения — на ту сторону, где вчера шел бой. Его подробности, которые меня очень интересовали, были ясны еще не до конца. Я закурил, сел на камень. Было очень тихо; передо мной лежали бесконечные серые холмы, бледные, обесцвеченные солнцем, с белесыми пятнами и бурыми прожилками. Я поднялся и медленно пошел вдоль ограды, небольшими шагами, пока мой взгляд не остановился снова на обрывке невидимой дороги, из пустоты в пустоту, исчезающей среди холмов. "Неужели это и есть та самая дальняя дорога", подумал я, "а этот караван — тот самый казенный дом". "Но едва ли", ответил я себе. Неожиданно стало слышно, как за моей спиной молятся ешиботники; я поднял треугольный серый камень и подбросил его на ладони. Когда стало смеркаться, я сменил одного из часовых и отправил спать всех, кого смог. "Давай считать", сказал я себе тогда, "что сегодня террористы уже не придут". Солнце уже давно

исчезло в море, почти погасли огни дальней арабской деревни, и темнота Самарии, густая, вязкая и немного пугающая, подползала к самым ногам. Месяц был тонким, бледным и осенним, чуть белесым, бесформенным от невидимых облаков. Холод прикоснулся к коже сквозь ткань куртки, а где-то там за моей спиной лежал вечный город Иерусалим.

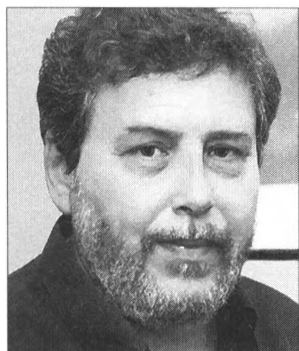
Мне на секунду пришло в голову, что возможно, в каком-то высшем и особом смысле, он и есть весь этот мир, как светящаяся капля соленой воды, в которой отражается океан. И все, несмотря ни на что, подумал я, он сохраняет свою неизбывную инаковость, чуждость, недостижимость профанного; и чем ближе подходишь к этой невидимой, недоступной, несуществующей оси мира — тем рельефнее и острее обнажается его пустота. Было бы хорошо так думать, так думать. И высокие звезды горели над головой. Дети этого города, подумал я, и вот мы снова в сборе, как тогда; но сейчас почти все они спали; я оглянулся на старый караван за моей спиной. А вокруг лежали невидимые холмы Самарии: смертельные и торжественные. Мне стало одиноко, я позвал своего давнего друга, стоящего на другой стороне незаконного поселения Зоар Бет. Он ответил, и я вспомнил, что он уже третий день обещает рассказать мне о средневековой исповеди человека, который отправился искать реку Самбатион. Самбатион. Да, подумал я еще раз, кто же мог знать, что эта встреча будет такой; что именно сюда, к полупустым караванам, сараю из листов рубероида, разбитому шлагбауму и жестяной будке посреди каменной пустыни, я так стремился. Но, с другой стороны, вот мы все здесь и в сборе, и за спиной лежит вечный город, погруженный в безумие, кровавый хаос истории и молчание.

А потом меня тоже сменили, и я пошел спать. Расстелил спальник и сразу же уснул, едва успев вытянуться. Я думаю, что довольно долго я спал без сновидений, но потом мне начали сниться какие-то тропинки, низкие сосны, мостовые, кусты каперса, узкие переулки Иерусалима, облицованные камнем. Я помню коричневую, чуть влажную землю под ногами и тротуары, мощенные булыжником; я долго блуждал среди них. А потом я вышел на дорогу, которая постепенно становилась все шире; мне показалось, что она ведет к башне Давида, Сионской горе и бассейну Султана, но, оглянувшись, я обнаружил, что у меня за спиной больше нет города. Чуть позже дорога незаметно развернулась вдоль каменистого склона, и я увидел перед собой, на той стороне долины, Иерусалим: его башни, стены, высокий воздух и прозрачное голубое небо этого города. Я не сразу понял, что изменилось; но его стены больше не были окрашены в желтоватый цвет иерусалимского камня; передо мною был белый город на холме — над долиной, по которой текла широкая, бурная река. "Река", подумал я; и еще: "я всегда думал, что в этом городе должна быть река". Дорога, по которой я шел, тонким солнечным лучом скользила в сторону белых стен города, превращаясь в широкий мост со стрельчатыми пролетами, поднятыми высоко над водой.

Я помню, как душа наполнилась изумлением, тоской и нерешительностью, чуть позже оцепенением, и я остановился у края моста, потом сделал несколько шагов вперед и заглянул, через высокую чугунную ограду, в глубину воды. Река была широкой и торжественной, но течение — сильным, оно несло белую пену

и огромные, бесформенные глыбы льда. "Кажется, пошел лед", подумал я, "как холодно". А передо мной, с той стороны моста, стоял этот неподвижный, светящийся белый город, пронизанный светом, наполненный молчанием. Я вздрогнул от счастья и снова заколебался. И тут я услышал негромкий голос, обрушившийся на меня, окрасивший воздух своим дыханием; "Шемхазай", сказал голос спокойно, отчетливо и решительно. Мне показалось, что он обращается ко мне, и душа наполнилась счастьем, светом; я ускорил шаг, а потом, не отрывая взгляда от белых стен, вдыхая холодный воздух реки, побежал вдоль моста. Но мост неожиданно пришел в движение. Дорога, нависающая над его центральным пролетом, над рекой, разомкнулась, и ее створки начали медленно подниматься в воздух. Я добежал до самого края; держась за перила, стоя на наклонном каменном луче, посмотрел вниз. Подо мною скользила река, прекрасная и величественная, наполненная гигантским крошевом льда. Напротив меня, по ту сторону холодной пустоты, в голубом мареве счастья, озаренный солнечными лучами, стоял вечный, ускользающий и недостижимый город Иерусалим.

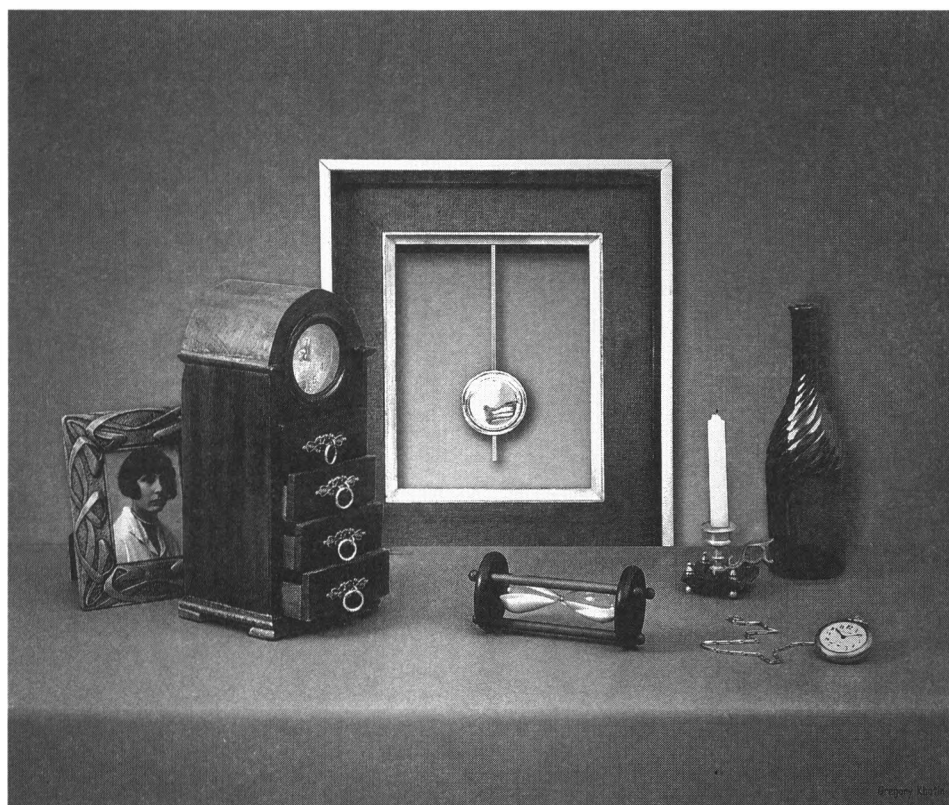
Я проснулся; было холодно; пахло ночью, влагой и темнотой. Я долго думал о своем сне, потом встал, аккуратно сложил спальник, чтобы в мое отсутствие в него не смогли забраться скорпионы; из термоса налил чашку горячего чая, доел вчерашний бутерброд. На улице было еще холоднее, чем внутри каравана; я вернулся и поддел свитер под куртку; прошелся по кругу, по тропе вдоль ограды поселения, перекинулся парой слов со стоящими на часах, потом снова вышел к тому камню, на котором сидел вчера. Закурил. Над головой горели высокие и яркие звезды неба Самарии. Неожиданно до меня донесся странный скрипящий звук, одинокий, как эта страна, растворившийся в тишине. Я насторожился, потом понял, что это был всего лишь скрип двери. Время повторялось, замыкало свое смутное течение, но обрывка дороги видно не было. Я смотрел на землю под моими ногами и небо над головой. Мир, эта страна, Самария, незаконное поселение Зоар Бет и даже мои руки, держащие сигарету, были погружены в непроглядную предрассветную темноту. Повернулся лицом к востоку; где-то там, подумал я, за невидимым обрывком дороги и невидимыми холмами, течет невидимый Иордан. Я думал о нем и вдруг заметил, что черное небо окрасилось тонкой, едва заметной, розовой патиной; потом проявилась красная, кровавая линия восхода. В первых лучах восходящего солнца высветилась земля, проступили ее смутные и иллюзорные контуры; пространство неба над тонкой кровавой линией стало медленно наполняться синевой. Это рассвет, подумал я. И еще: снова кровь. Я спрашивал себя и не знал, что ответить. Я мог сказать себе: это кровь; или: это рассвет. Я мог бы спросить себя и о другом. Но у меня не было ответа.



Григорий Хатин

Григорий Хатин (1947) — фотограф, фотохудожник. В Ленинграде работал в фотолаборатории, в реставрационной мастерской. Сотрудничал с издательствами "Аврора", "Искусство", "Музыка" и др. Участвовал в создании более 50 альбомов и книг. Был участником многих выставок. В Израиле — с 1999 г. Живет в Иерусалиме

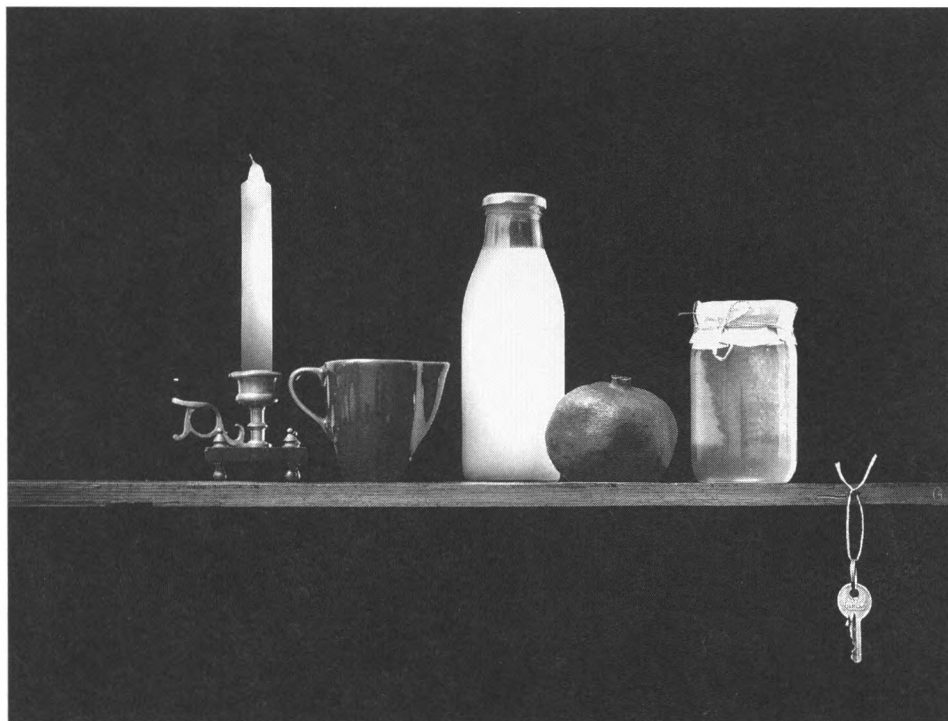
СОКРЫТЫЙ СВЕТ



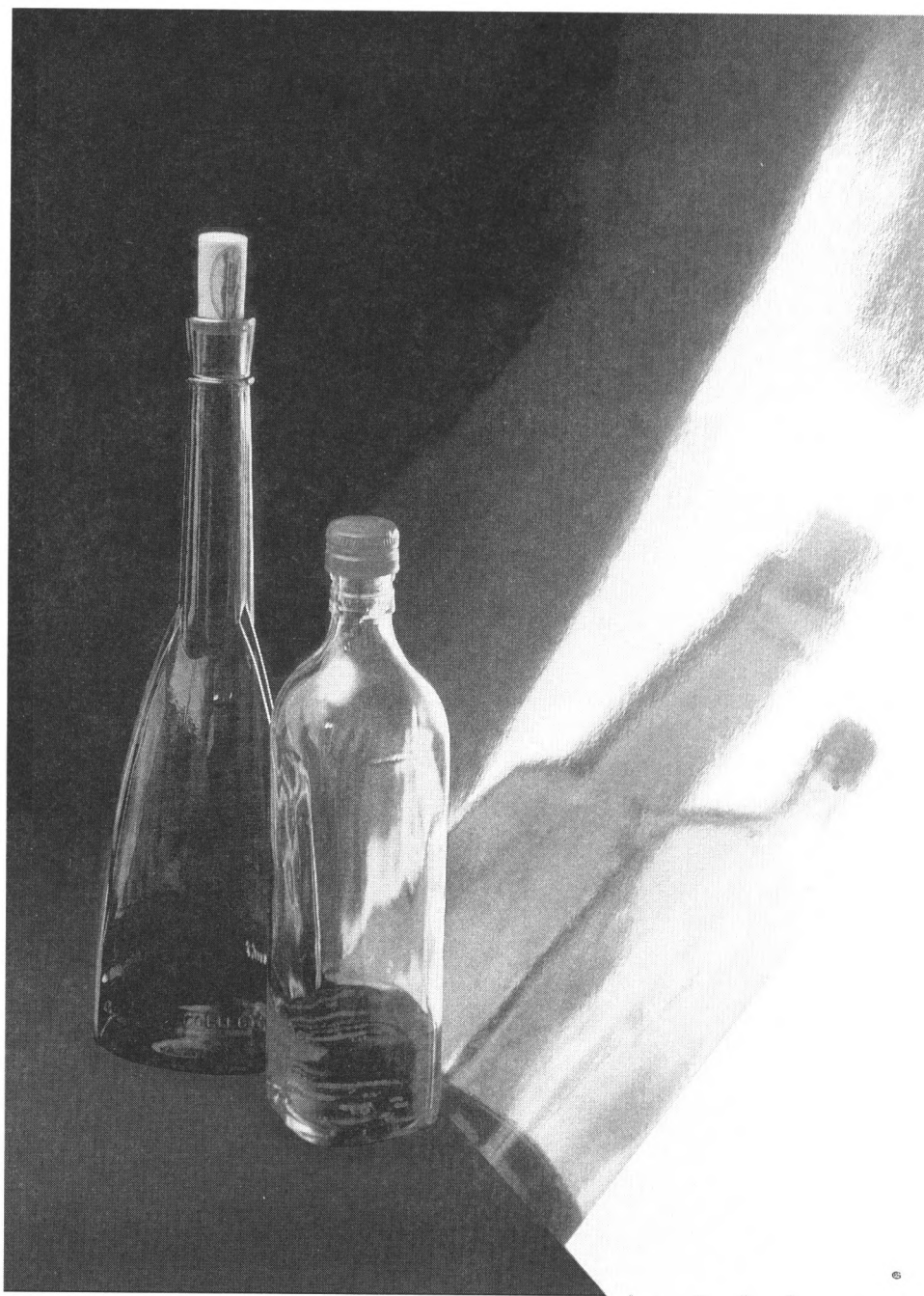
Ящик воспоминаний



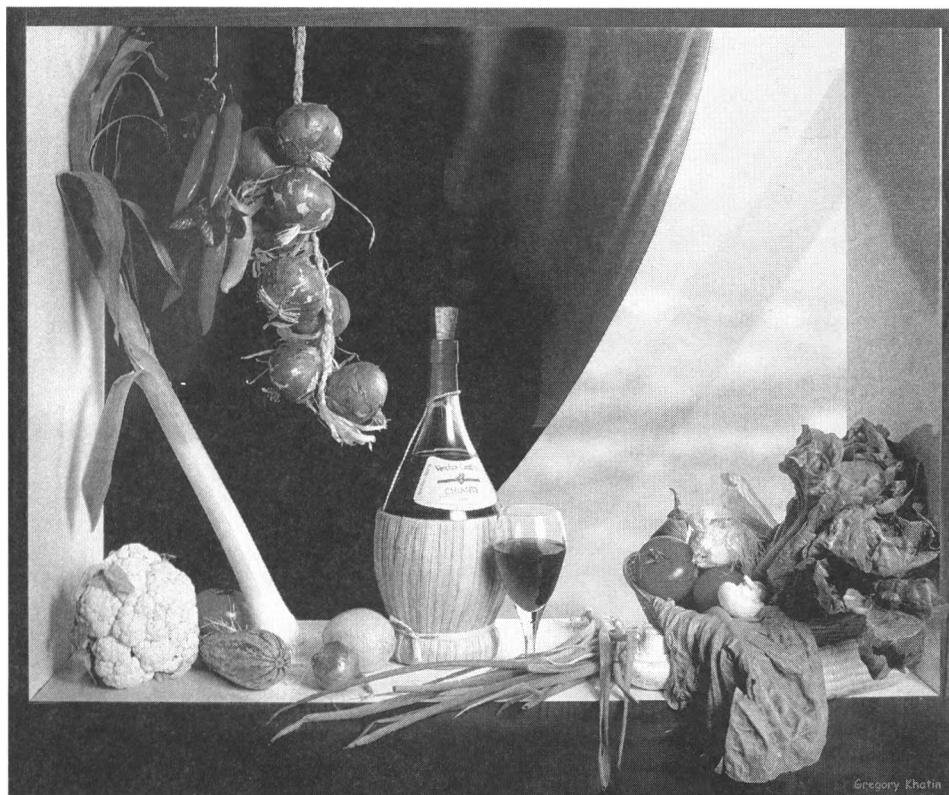
Свечот Торы



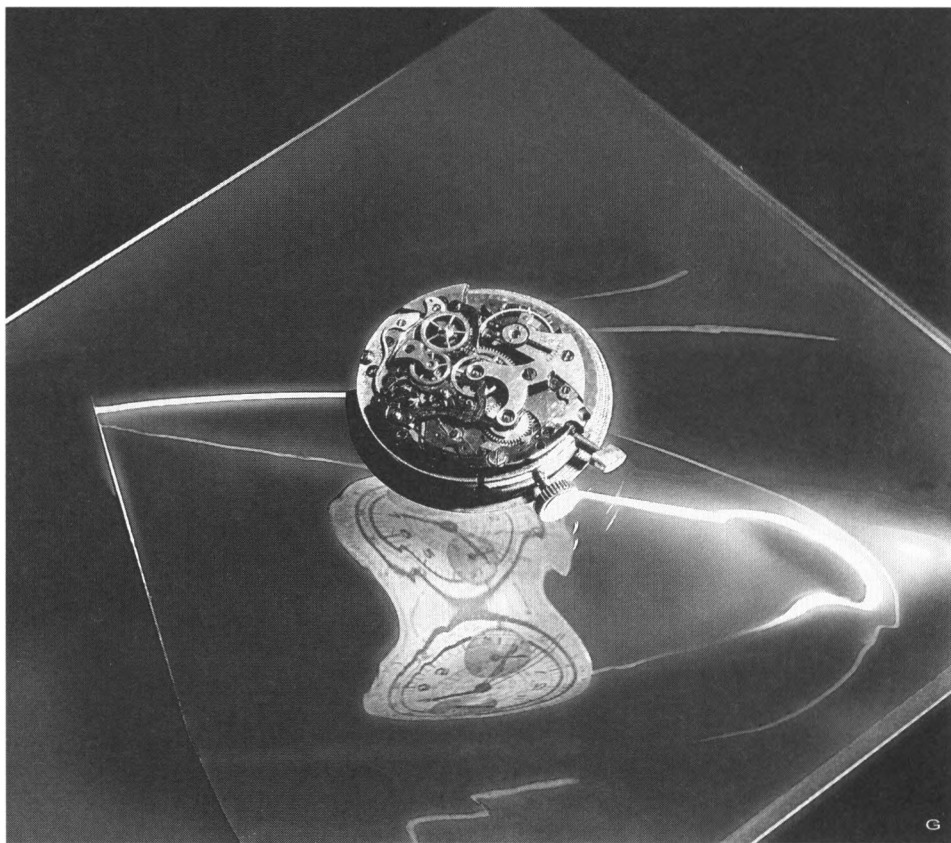
Молоко и мед



Отражение-1



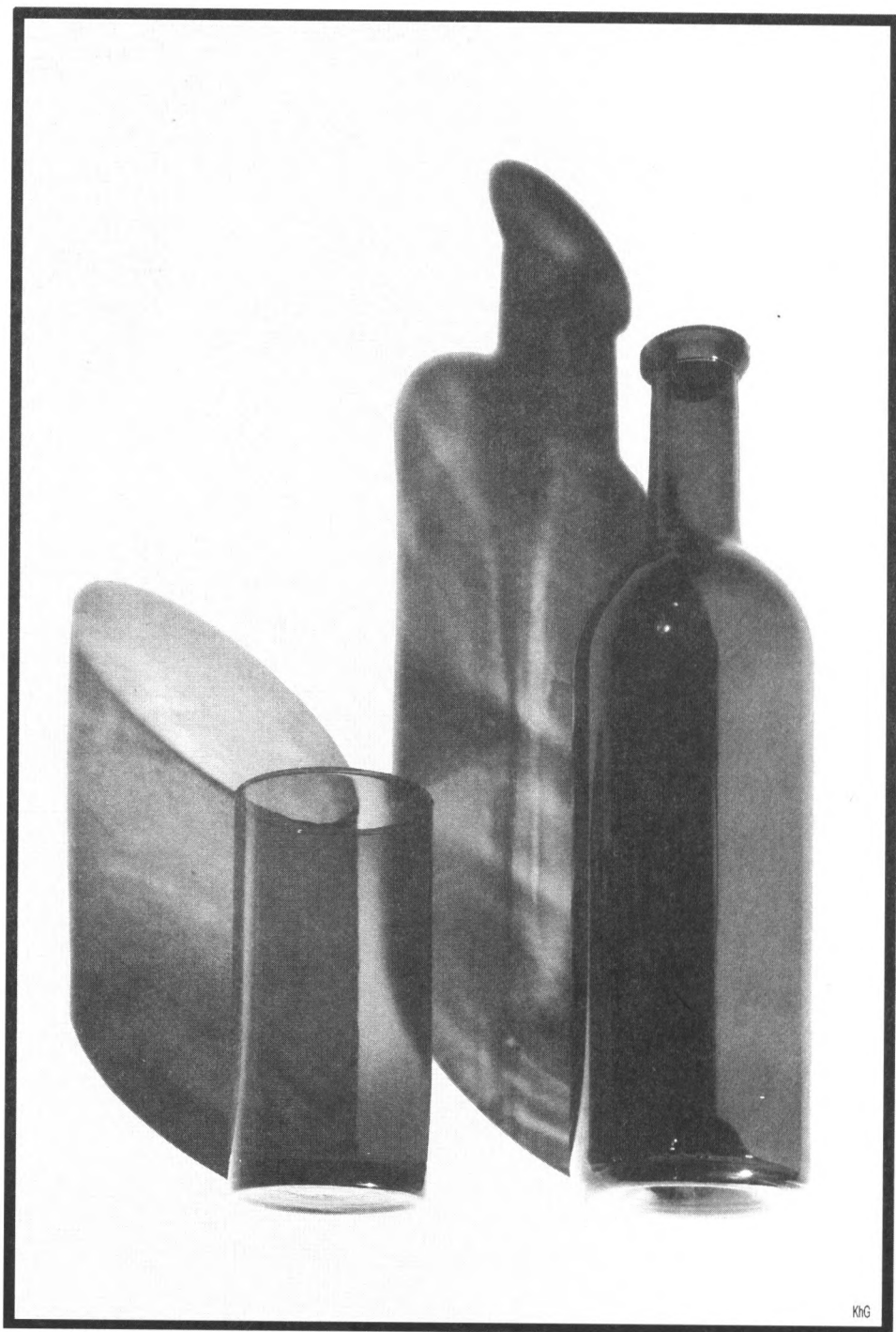
Окно в пустыню



Отражение-2



Отражение-3



KLG

Без названия



Без названия

Gregory Khatin



Женщина в овальной раме

RESUME

ISRAEL AND EUROPE

Miki Erlikh. *New civil religion.*

The author reflects on the factors and circumstances, which led to deterioration in the relations between Israel and European countries in the last decades. The author states that, in order to change the situation, Israel must take into account the latest developments in the public agenda in Europe, and especially that the problems of human rights and non-violence are of top priority today in the European public opinion

BUILDING HYPOTHESIS

Felix Filtzer. *On the origin of the Jewish custom of separation meat and milk.*

An original treatment of the famous prohibition on eating meat and dairy products together is presented in the article. The author reaches the conclusion that the Biblical phrase, from which the prohibition is derived, is not connected to gastronomy. He proposes that this formula presents, in fact, an ancient proverb and its original meaning was quite different.

TOWARDS NONVIOLENT WORLD

Vili Petritzki. *The ethical and ecological imperative by Albert Schweitzer.*

The concise biography of the great humanist A. Schweitzer is presented in the article. The author also underlines the actuality of Schweitzer's doctrine of "reverence of life" in the contemporary world.

Ella Slivkina, Leonid Juniverg. *Anna Vildikan — comrade-in-arms of Albert Schweitzer.*

The article introduces the reader to the image of Dr. Anna Vildikan, and describes the main stages of her rich biography, including a long period work at A. Schweitzer's hospital in Lambarene and her following fruitful activities in Israel.

IN THE FOCUS

Alexander Yakobson, Amnon Rubinstein. *Either Jewish, or democratic?*

The publication presents two chapters from the book "Israel and the Family of Nations". The authors argue that the combination of the words "Jewish and democratic", as defining the State of Israel, is not controversial, satisfies the norms of international law and does not damage the rights of the Arab minority in Israel.

"I usually walk along the line of maximal resistance".

An interview with the Rabbi Michael Rivkin, a constant contributor to our journal, on the occasion of his 50th anniversary, is published in the issue. M. Rivkin also reflects at length on the necessity of "New thinking", which will enable overcoming the dichotomy of Faith and Knowledge

Olga Rivkina. *From the book "Roads inseparable".*

O. S. Rivkina tells in this fragment about her childhood friendship with Svetlana Alilujeva and reflects on the difficult fate of this exceptional woman.

POLITICS / POLEMICS

Alexander Eterman. *Sector at the seaside.*

The author argues that the Gaza Strip, with its innumerable demographic, economic and social problems, constitutes a heavy and dangerous burden for Israel. One should rid oneself of it as soon as possible.

Ephraim Lavie. *Road map: political solution versus national narratives confrontation.*

The reasons for the failure of the Camp-David negotiation process in 2000 are analyzed in the article. The author considers that the main reason was the inability of both sides to free themselves of incompatible national narratives that reduced the negotiation process to "zero sum game". The token of success is, in his opinion, orientation of both sides towards the advantages, which will follow from the future political settlement.

ACTUAL PAST

Anatolij Kardash. *Mental Hospital.*

The publication comprises a fragment from the new book by A. Kardash "Near black sea". The author narrates on rescuing the Jews in Odessa Mental hospital during the years of occupation, of the heroic activities of Professor Shevaliov and his family in this field. The process of awarding the title of Righteous of the World to both father and son Shevaliovs is also described here.

NEWS FROM RUSSIA

Samuil Lurie. *Looking from Saint-Petersburg.*

The publicistic notes by a famous Saint-Petersburg literary critic S. Lurie create an expressive, at times sharply critical picture of public life in Russia during the last year

HUMANITARIA

Mark Amusin. *Feuchtwanger in the changing world.*

The article, timed for the 120th anniversary of a famous German-Jewish writer, analyses Weltanschauung and the artist manner of Lion Feuchtwanger. The author also discusses the question whether Feuchtwanger's work is still topical.

Natalya Daragan. *In memory of Sergey Averintsev.*

N. Daragan, who was personally acquainted with the famous Russian philologist and thinker, describes in her essay some traits of S. Averintsev's character, of his private and public life.

LITERARY SECTION

Dennis Sobolev. *Tree and Palestine.*

The story combines the description of contemporary Israeli daily life and philosophical reflection on the crucial questions of human existence.

IMAGES

Grigoriy Khatin. *Photographs.*

אפרים לביא. מפת הדרכים: פתרון מדיני במקום תחרותם של הנרטיבים הלאומיים. המחבר מנתח את סיבות הכשלון של המו"מ בקמפ-דוויד בשנת 2002. הסיבה העיקרית לכך, לדעת המחבר, היא חוסר היכולת של הצדדים להשתחרר מעול הנרטיבים הלאומיים, שאינם דרים בכפיפה אחת והופכים את המו"מ ל"משחק עם סכום אפסי". התנאי להצלחה הוא שאיפת הצדדים ליתרונות שיצמחו מחסדר מדיני.

העבר האקטואלי

אנטולי קרדש. בית חולים לחולי נפש. קטע מספרו החדש של א. קרדש "ליד הים השחור". הוא מספר על הצלת יהודים בבית חולים לחולי נפש בעיר אודסה בעת השואה, על-ידי פרופ' י. שבליוב ובני משפחתו, ועל תהליך הענקת התואר "חסידי אומות העולם" לפרופ' שבליוב ובנו.

איגרות מרוסיה

שמואל לזריא. במבט מסנט-פטרבורג. מסות של מבקר הספרות והפילולוג המפורסם יוצרות תמונה חיה וביקורתית של חיי החברה הרוסית בשנה האחרונה.

רוח

מרק אמוסין. פויכטוונגו בעולם התמורות. במאמר שנכתב לרגל מלאת 120 שנה מהולדת הסופר הגרמני-יהודי המפורסם, מנתח המחבר את השקפת עולמו ואת סגנונו היצירתי של ליאון פויכטוונגר. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לשאלה אם יצירותיו של פויכטוונגר נשארות אקטואליות בימינו.

נטליה דרגן. לזכר סרגיי אברניצב. המחברת שהכירה אישית את הפילולוג והפילוסוף הרוסי הדגול, מתארת כמה מתכונות אופיו וכן כמה מפרטי חייו.

וכל השאר האו הספרות

דניס סובולב. עץ ופאלי. הסופר הצעיר משלב בסיפורו את תיאור החיים העחשוויים בארץ עם הרהור פילוסופי על שאלות היסוד של הקיום האנושי.

דמויות

גריגורי חטין. תצלומים.

תקצירים

ישראל ואירופה

מיקי ארליך. הדת האזרחית החדשה.
המחבר דן בסיבות שגרמו להדרדרות היחסים בין ישראל למדינות אירופה בעשורים האחרונים. לדעתו, כדי לשנות את המצב, על ישראל לקחת בחשבון את השינויים שחלו בתקופה זו בתודעת הציבור באירופה, ובפרט את העובדה שנושאי זכויות האדם והמאבק נגד אלימות תופשים בה את המקום המרכזי היום.

השערות

פליקס פילצר. שורשי ההפרדה בין בשרי לחלב.
המחבר מציע הסבר מקורי לאיסור הערבוב של בשר עם חלב. הוא מניח כי הפסוק שעליו מתבסס האיסור ("לא תבשל גדי בחלב אמו") אינו אלא פתגם שלימים נשכחה משמעותו. הפסוק במקורו אינו מתייחס לתזונה.

לקראת עולם לא אליים

וילי פטריצקי. תורתו המוסרית-אקולוגית של אלברט שווייצר.
המאמר מסכם את חייו ואת תורתו של ההומניסט הגדול אלברט שווייצר ומנמק כי תורתו בדבר קדושת החיים חיונית במיוחד עבור העולם העכשווי.

אלה סליבקין, לאוניד יוניברג. ד"ר אנה וילדיקן - חברה לקרב של אלברט שווייצר.
המחברים מתארים את דמותו של ד"ר אנה וילדיקן ומספרים על חייה. במשך שנים רבות היא עבדה בבית-החולים של א. שווייצר בלמברנה (גבון), ולאחר מכן חיה ופעלה בישראל.

מיקוד

אמנון רובינשטיין, אלכסנדר יעקובסון. חברה לקרב של אלברט שווייצר.
פרסום זה הנו שני פרקים מתוך הספר "ישראל ומשפחת העמים". המחברים מגיגים על תיאור מדינת ישראל כי-"מדינה יהודית ודמוקרטית", וטוענים כי אין בצירוף זה סתירה פנימית, וכמו כן אינו סותר נורמות בינלאומיות ואינו פוגע בזכויות המיעוט הערבי בישראל.

"אני חולך בדרך כלל בכיוון ההתנגדות המירבית".
לרגל היובל של הרב מיכאל ריבקין, אחד המחברים הקבועים של כתב העת, אנו מפרסמים ראיון עם הרב ריבקין וכן מאמרו בדבר חשיבותה של חגיה חדשה המשלבת דת ודעת.

אולגה ריבקין. קטע מתוך ספר "דרכים נסתרות".
הקטע מספר על ידידותה של המחברת עם סבטלנה אלילוייבה (בתו של סטלין) בעת נעוריהן, ועל גורלה הקשה של אישה בעלת שיעור-קומה זו.

פוליטיקה / פולמוס

אלכסנדר אטרמן. הרצועה על שפת הים.
המחבר מוכיח שרצועת עזה עם אין-ספור הבעיות שלה - הדמוגרפיות, הכלכליות והחברתיות - היא נטל כבד ומסוכן לישראל, ויש להיפטר ממנה מהר ככל האפשר.

ג
לכל זמן ועת לכל-חפץ תחת השמים: א

ועת למות	עת ללדת	ב
ועת לעקור נמוץ :	עת למצת	
ועת לרפוא	עת להרוג :	
ועת לבנות :	עת לפרוץ	
ועת לשחוק	עת לבכות	ד
ועת רקוד :	עת ספור	
ועת בנים אבנים	עת להשליך אבנים	ה
ועת לרחק מחבק:	עת לחבוק	
ועת לאבד	עת לבקש	ו
ועת להשליך :	עת לשמור	
ועת לתפור	עת לקרוע	ז
ועת לדבר :	עת לחשות	
ועת לשנא	עת לאהב	ח
ועת שלום :	עת מלחמה	

מה-יתרון העשה באשר הוא עמל: ראיתי את-הענין
 אשר נתן אלהים לבני האדם לענות בו: את-הכל
 עשה יפה בעתו גם את-העלם נתן בלבם מבלי אשר
 לא-ימצא האדם את-המעשה אשר-עשה האלהים מראש
 יב ועוד-סוף:

